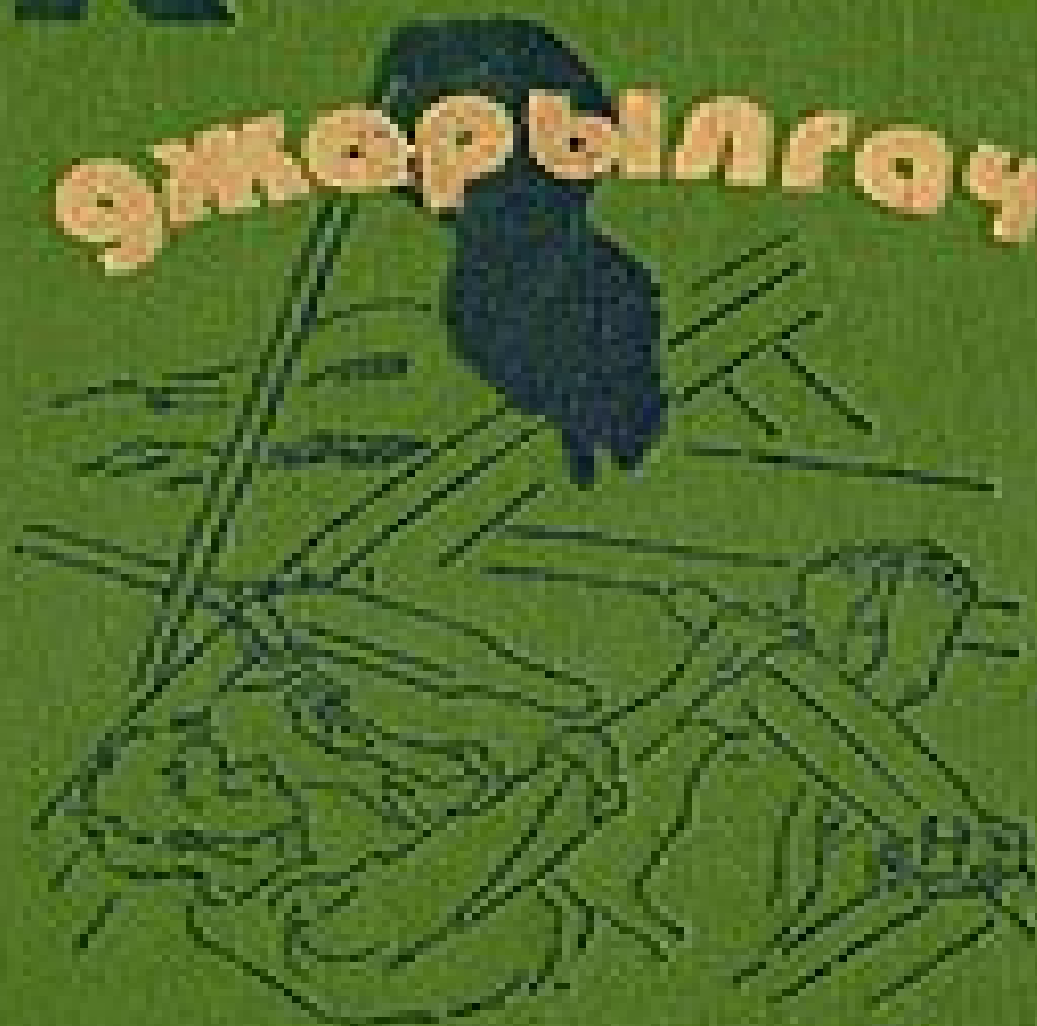


# Борис Житков

ЭЖЕРЫЛГОЧ



ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

## Annotation

В сборник рассказов и повестей известного детского писателя Бориса Степановича Житкова вошли произведения «Веселый купец», «Черные паруса», «Коржик Дмитрий» и другие.

Рисунки художников А. Брея, Е. Лансере, Н. Петровой, Павла Павлинова, Петра Павлинова, Н. Тырсы.

<http://ruslit.traumlibrary.net>

---

- [Борис Степанович Житков](#)
  - [Рассказы и повести](#)
    - [Пудя](#)
    - [Веселый купец](#)
    - [Черные паруса](#)
    - [Джарылгач](#)
    - [Урок географии](#)
    - [Над водой](#)
    - [Шквал](#)
    - [Под водой](#)
    - [Коржик Дмитрий](#)
    - [Компас](#)
    - [Черная махалка\[27\]](#)
    - [«Мария» и «Мэри»](#)
    - [Вата](#)
    - [Николай Исаич Пушкин](#)
    - [«Мираж»](#)
    - [Механик Салерно](#)
    - [«Погибель»](#)
    - [Волы](#)
    - [Ураган](#)
      - [Глава I](#)
      - [Глава II](#)
    - [Дяденька](#)
    - [Метель](#)
    - [«С Новым годом!»](#)

- [Пекарня](#)
- [Утопленник](#)
- [Клоун](#)
- [Элчан-Кайя](#)
- [История корабля](#)
- [Храбрость](#)
- [Орлянка](#)
- [«Сию минуту-с!..»](#)
- [Тихон Матвеич](#)
- [Кенгура](#)
- [Беспризорная кошка](#)
- [Мышкин](#)
- [Б. Житков и Б. Шатилов](#)
  - [Адмирал](#)
- [notes](#)
  - [1](#)
  - [2](#)
  - [3](#)
  - [4](#)
  - [5](#)
  - [6](#)
  - [7](#)
  - [8](#)
  - [9](#)
  - [10](#)
  - [11](#)
  - [12](#)
  - [13](#)
  - [14](#)
  - [15](#)
  - [16](#)
  - [17](#)
  - [18](#)
  - [19](#)
  - [20](#)
  - [21](#)
  - [22](#)

- [23](#)
  - [24](#)
  - [25](#)
  - [26](#)
  - [27](#)
  - [28](#)
  - [29](#)
  - [30](#)
  - [31](#)
  - [32](#)
  - [33](#)
  - [34](#)
  - [35](#)
  - [36](#)
  - [37](#)
  - [38](#)
  - [39](#)
  - [40](#)
  - [41](#)
  - [42](#)
  - [43](#)
  - [44](#)
  - [45](#)
  - [46](#)
  - [47](#)
  - [48](#)
  - [49](#)
  - [50](#)
  - [51](#)
  - [52](#)
-

**Борис Степанович Житков**  
**Джарылгач**

# **Рассказы и повести**

## Пудя

Теперь я большой, а тогда мы с сестрой были еще маленькие.

Вот раз приходит к отцу какой-то важный гражданин.

Страшно важный. Особенно шуба. Мы подглядывали в щелку, пока он в прихожей раздевался. Как распахнул шубу, а там желтый пушистый мех и по меху все хвостики, хвостики... Черноватенькие хвостики. Как будто из меха растут. Отец раскрыл в столовую двери:

– Пожалуйста, прошу.

Важный – весь в черном, и сапоги начищены. Прошел, и двери заперли.

Мы выкрались из своей комнаты, подошли на цыпочках к вешалке и гладим шубу. Щупаем хвостики. В это время приходит Яшка, соседний мальчишка, рыжий. Как был: в валенках вперся и в башлыке.

– Вы что делаете?

Таня держит хвостик и спрашивает тихо:

– А как по-твоему: растет так из меха хвостик или потом приделано?

А Рыжий орет как во дворе:

– А чего? Возьми да попробуй.

Таня говорит:

– Тише, дурак: там один важный пришел.

Рыжий не унимается:

– А что такое? Говорить нельзя? Я не ругаюсь.

С валенок снег не сбил и следит мокрым.

– Возьми да потяни, и будет видать. Дура какая! Видать бабу...

Вот он так сейчас, – и Рыжий кивнул мне и мигнул лихо.

Я сказал:

– Ну да, баба, – и дернул за хвостик. Не очень сильно потянул: только начал. А хвостик – пак! и оторвался.

Танька ахнула и руки сложила. А Рыжий стал кричать:

– Оторвал! Оторвал!

Я стал совать скорей этот хвостик назад в мех: думал, как-нибудь да пристанет. Он упал и лег на пол. Такой пушистенький лежит. Я

схватил его, и мы все побежали к нам в комнату. Танька говорит:

– Я пойду к маме, реветь буду, – ничего, может, и не будет.

Я говорю:

– Дура, не смей! Не говори. Никому не смей!

Рыжий смеется, проклятый. Я сую хвостик ему в руку:

– Возьми, возьми, ты же говорил...

Он руку отдернул:

– Что ж, что говорил! А рвал-то не я! Мне какое дело!

Потер варежкой нос – и к двери.

Я Таньке говорю:

– Не смей реветь, не смей! А то сейчас спрашивать начнут, и все пропало.

Она говорит и вот-вот заревет:

– Пойдем посмотрим, может быть, незаметно? Вдруг незаметно?

Я держал хвостик в кулаке. Мы пошли к вешалке. И вот все ровно-ровно идут хвостики, довольно густовато, а тут пропуск, пусто. Видно, сразу видно, что не хватает.

Я вдруг говорю:

– Я знаю: приклеим.

А клей у папы на письменном столе, и если будешь брать, то непременно спросят: зачем? А потом, там в кабинете сидит этот важный, и входить нельзя.

Танька говорит:

– Запрячем, лучше запрячем, только скорей! Подальше, в игрушки.

У Таньки были куклы, кукольные кровати. Нет, туда нельзя. И я засунул хвостик в поломанный паровоз, в середину.

Мы взялись за кукол и очень примерно играли в гости, как будто бы на нас все время кто смотрит, а мы показываем, как мы хорошо играем.

В это время слышим голоса. Важный гудит басом. И вот уж они в прихожей, и горничная Фрося затопала мимо и говорит скоренько:

– Сейчас, сейчас шубу подам.

Мы так с куклами и замерли, еле руками шевелим.

Таня дрожит и бормочет за куклу:

– Здравствуйте! Как вы поживаете? Сколько вам лет? Как вы поживаете? Сколько вам лет?



Вдруг дверь к нам отворяется: отец распахнул.

– А вот это, – говорит, – мои сорванцы.

Важный стоит в дверях, черная борода круглая, мелким барашком, и улыбается толстым лицом:

– А, молодое поколение!

Ну, как все говорят.

А за ним стоит Фроська и держит шубу нараспашку. Отец нахмурился, мотнул нам головой. Танька сделала кривой реверанс, а я что было силы шаркнул ножкой.

– Играете? – сказал важный и вступил в комнату. Присел на корточки, взял куклу. И я вижу, в дверях дура Фроська стоит и растянула шубу, как будто нарочно распялила и показывает. И это пустое место без хвостика так и светит. Важный взял куклу и спрашивает:

– А эту барышню как же зовут?

Мы оба крикнули в один голос:

– Варя!

Важный засмеялся:

– Дружно живете.

И видит вдруг у Таньки слезы на глазах.

– Ничего, ничего, – говорит, – я не испорчу.



И скорей подал пальчиками куклу. Поднялся и потрепал Таню по спине. Он пошел прямо к шубе, но смотрел на отца и не глядя стал попадать в рукава. Запахнул шубу; Фроська подсовывает глубокие калоши.

Не может быть, чтобы отец не заметил. Но отец очень веселый вошел к нам и сказал смеясь:

– Зачем же конем таким?

И представил, как я шаркнул.

В этот день мы с Танькой про хвостик не говорили. Только когда пили вечером чай, то все переглядывались через стол, и оба знали, что про хвостик. Я даже раз, когда никто не глядел, обвел пальцем по скатерти, как будто хвостик. Танька видела и сейчас же уткнулась в чашку.

Потом мне стало весело. Я поймал Ребика, нашу собаку, зажал его хвост в кулак, чтоб из руки торчал только кончик, и показал Таньке. Она замахала руками и убежала.

На другой день, как проснулся, вспомнил сейчас же хвостик. И стало страшно: а ну как важный только для важности в гостях и не глядит даже на шубу, а дома-то небось каждый хвостик

переглаживает? Даже, наверно, наизусть знает, сколько их счетом. Гладит и считает: раз, два, три, четыре... Вскочил с постели, подбежал к Таньке и шепчу ей под одеяло в самое ухо:

– Он, наверное, дома пересчитает хвостики и узнает. И пришлет сюда человека с письмом. А то сам приедет.

Танька вскочила и шепчет:

– Чего ж там считать, и так видно: вот какая пустота! – и обвела пальцем в воздухе большой круг.

Мы на весь день притихли и от каждого звонка прятались в детскую и у дверей слушали: кто это, не за хвостиком ли?

Несколько дней мы так боялись.

А потом я говорю Таньке:

– Давай посмотрим.

Как раз никого в квартире не было, кроме Фроськи. Заперли двери, и я тихонько вытянул из паровоза хвостик. Я и забыл, какой он хорошенький, пушистенький.

Таня положила его к себе на колени и гладит.

– Пудя какой, – говорит. – Это собачка кукольная.

И верно. Хвостик в паровозе загнулся, и совсем будто собачка свернулась и лежит с пушистым хвостом.

Мы сейчас же положили его на кукольный диван, примерили. Ну, замечательно!

Танька закричала:

– Брысь, брысь сейчас! Не место собакам на диване валяться! – и скинула Пудю. А я его Варьке на кровать.

А Танька:

– Кыш, кыш! Вон, Пудька! Блох напустишь...

Потом посадили Пудю Варьке на колени и любовались издали: совсем девочка с собачкой.

Я сейчас же сделал Пуде из тесемочки ошейник, и получилось совсем как мордочка. За ошейник привязали Пудю на веревочку и к Варькиной руке. И Варьку водили по полу гулять с собачкой.

Танька кричала:

– Пудька, тубо!

Я сказал, что склею из бумажек Пуде намордничек.

У нас была большая коробка от гильз. Сделали в ней дырку, Танька намостила тряпок, и туда посадили Пудю, как в будку. Когда

папа позвонил, мы спрятали коробку в игрушки. Забросали всяким хламом. Приходил к нам Яшка Рыжий, и мы клали Пудю Ребику на спину и возили по комнате – играли в цирк. А раз, когда Рыжий уходил, он нарочно при всех стал в сенях чмокать и звать:

– Пудя! Пудька! – И хлопал себя по валенку.

Прибежал Ребик, а Яшка при папе нарочно кричит:

– Да не тебя, дурак, а Пудю. Пудька! Пудька!

Папа нахмурился:

– Какой еще Пудька там? – И осматривается.

Я сделал Яшке рожу, чтобы уходил. А он мигнул и язык высунул. Ушел все-таки.

Мы с Таней сговорились, что с таким доносчиком не будем играть и водиться не будем. Пусть придет – мы в своей комнате запремся и не пустим. Я забил сейчас же гвоздь в притолоку, чтобы завязывать веревкой ручку. Я завязал, а Таня попробовала из прихожей. Здорово держит. Потом Танька запиралась, а я ломился: никак не открыть. Как на замке. Радовались, ждали – пусть только Рыжий придет.

Я Пуде ниточкой замотал около кончика, чтобы хвостик отделялся. Мы с Таней думали, как сделать ножки, – тогда совсем будет живой.

А Рыжий на другой же день пришел. Танька прибежала в комнату и шепотом кричит:

– Пришел, пришел!

Мы вдвоем дверь захлопнули, как из пушки, и сейчас же на веревочку.

Вот он идет... Толкнулся... Ага! Не тут-то было. Он опять.

– Эй, пустите, чего вы?

Мы нарочно молчим. Он давай кулаками дубасить в дверь:

– Отворяй, Танька!

И так стал орать, что пришла мама.

– Что у вас тут такое?

Рыжий говорит:

– Не пускают, черти!

– А коли черти, – говорит мама, – так зачем же ты к чертям ломишься?

– А мне и не их вовсе надо, – говорит Рыжий, – я Пудю хочу посмотреть.

– Что? – мама спрашивает. – Пудю? Какого такого?

Я стал скорей отматывать веревку и раскрыл дверь.

– Ничего, – кричу, – мама, это мы так играем! Мы в Пудю играем. У нас игра, мама, такая...

– Так орать-то на весь дом зачем? – И ушла.

Рыжий говорит:

– А, вы, дьяволы, вот как? Запираться? А я вот сейчас пойду всем расскажу, что вы хвостик оторвали. Человек пришел к отцу в гости. Может, даже по делу какому. Повесил шубу, как у людей, а они рвать, как собаки. Воры!

– А кто говорил: «Дерни, дерни»?

– Никто ничего и не говорил вовсе, а если каждый раз по хвостику да по хвостику, так всю шубу выщипаете.

Танька чуть не ревет.

– Тише, – говорит, – Яша, тише!

– Чего тише? – кричит Рыжий. – Чего мне тише? Я не вор. Пойду и скажу.

Я схватил его за рукав.

– Яша, – говорю, – я тебе паровоз дам. Это ничего, что крышка отстала. Он ходит полным ходом, ты же знаешь.

– Всякий хлам мне суешь, – заворчал Рыжий.

Но хорошо, что кричать-то перестал. Потом поднял с пола паровоз.

– Колесо, – говорит, – проволокой замотал и тычешь мне.

Посопел, посопел...

– С вагоном, – говорит, – возьму, а так – на черта мне этот лом!

Я ему в бумагу замотал и паровоз и вагон, и он сейчас же ушел через кухню, а в дверях обернулся и крикнул:

– Все равно скажу, хвостодёры!

Потом мы с Таней гладили Пудю и положили его спать с Варькой под одеяло. Танька говорит:

– Чтоб ему теплей было.

Я сказал Таньке, что Рыжий все равно обещал сказать. И мы все думали, как нам сделать. И вот что выдумали.

Самое лучшее попасть бы в такое время, когда папа будет веселый, – после обеда, что ли. Положить Пудю на платочек на носовой, взять за четыре конца и войти в столовую каким-нибудь смешным вывертом. И петь что-нибудь смешное при этом. Как-нибудь:

Пудю несем,  
Пахнем гусем.

И еще там что-нибудь.

Все засмеются, а мы еще больше запоем – и к папе. Папа: «Что это вы, дураки?» – и засмеется. А тут мы как-нибудь кривульно расскажем, и все сойдет. Папе, наверно, даже жалко будет отбирать от нас Пудю.

Или вот еще: на Ребика положим и вывезем. И тоже смешное будем петь. Рыжий придет ябедничать, а все уж и без него знают, и ничего не было. Запремся, как тогда, и пускай скандалит. Мама его за ухо выведет, вот и все.

Я еще в кровати думал, что я устрою Яшке Рыжему.

Утром мы все пили чай. Вдруг вбегают Ребик, рычит и что-то в зубах треплет.

Папа бросился к нему:

– Опять что-нибудь! Тубо, тубо! Дай сюда!

А я сразу понял – что, и в животе похолодело.

Папа держит замусоленный хвостик и, нахмурясь, говорит:

– Что это? Откуда такое?

Мама поспешила, взяла осторожно пальчиками. Ребик визжит, подскакивает, хочет схватить.

– Тубо! – крикнул папа и толкнул Ребика ногой. Поднесли к окну, и вдруг мама говорит:

– Это хвостик. Это от шубы.

Папа вдруг как будто задохнулся сразу и как крикнет:

– Это черт знает что такое!..

Я вздрогнул. А Танька всхлипнула – она с булкой во рту сидела. Папа затопал к Ребику.

– Эту собаку убить надо! Это дьявол какой-то!

Ребик под диван забился.

– Раз уж пришлось за штаны платить... Ах ты, дрянь эдакая! Теперь шубы, за шубы взялся!..

И папа вытянул за ошейник Ребика из-под дивана. Ребик выл и корчился. Знал, что сейчас будут бить. Танька стала реветь в голос. А отец кричит мне:

– Принеси ремень! Моментально!

Я бросился со стула, совался по комнатам.

– Моментально! – заорал отец на всю квартиру злым голосом. – Да свойними, болван! Живо!

Я снял пояс и подал отцу. И папа стал изо всей силы драть ремнем Ребика. Танька выбежала. Папа тычет Ребика носом в хвостик – он на полу валялся – и бьет, бьет:

– Шубы рвать! Шубы рвать! Я те дам шубы рвать!

Я даже не слышал, что еще там папа говорил, – так орал Ребик, будто с него с живого шкуру сдирают. Я думал, вот умрет сейчас. Фроська в дверях стояла, ахала.

Мама только вскрикивала:

– Оставь! Убьешь! Николай, убьешь! – Но сунуться боялась.

– Веревку! – крикнул папа. – Афросинья, веревку!

– Не надо, не надо, – говорит Фроська.

Папа как крикнет:

– Моментально!

Фроська бросилась и принесла бельевую веревку.

Я думал, что папа сейчас станет душить Ребика веревкой. Но папа потащил его к окну и привязал за ошейник к оконной задвижке. Потом поднял хвостик, привязал его за шнурок от штор и перекинул через оконную ручку.

– Пусть видит, дрянь, за что драли. Не кормить, не отвязывать.

Папа был весь красный и запыхался.

– Эту дрянь нельзя в доме держать. Собачникам отдам сегодня же! – И пошел мыть руки. Глянул на часы. – А, черт! Как я опоздал! – И побежал в прихожую.

Пудю Ребик всего заслюнявил, он был мокрый и взъерошенный, и как раз поперек живота туго перехватил его папа шнурком. Он висел вниз головой, потому что видно было сверху перехват хвостика, который я там намотал из ниток. Если б отец тогда хорошенько

разглядел, так увидал бы все и догадался бы, что все это не без нас. Да и теперь все равно могут увидеть. Как станут важному назад отсылать хвостик, начнут его чистить – вдруг нитки. Откуда нитки? А уж Ребика все равно побили...

Я сказал Таньке, чтобы украла у мамы маленькие ногтяные ножнички, улучил время, влез на подоконник и тихонько ножничками обрезал нитки. Все-таки осталось вроде шейки, и я распушил там шерсть, чтоб ничего не было заметно.

Ребик подвывал, подрагивал и все лизал задние лапы. Мы с Танькой сели к нему на пол и все его ласкали. Танька приговаривает:

– Ребинька, миленький, били тебя! Бедная моя собака! – Стала реветь. И я потом заревел.

– Отдадут, – говорю, – собачникам. Папа сказал, что отдаст. На живодерню.

И представилось, как придет собачник, накинёт Ребичке петлю на шею и потянет. Как ни упирайся, все равно потянет. А потом так, на петле, с размаху – брык в фургон со всей силы. А там на живодерне будут резать. Для чего-то там живых режут, мне говорили.

Потом мы у Фроськи выпросили мяса, – Танька под юбкой мимо мамы пронесла, – и скормили Ребику. А зачем ему есть? Ведь так только, все равно на живодерню.

И мы с Танькой говорили:

– Мы за тебя просить будем, мы на коленки станем и будем плакать, чтоб папа не отдавал.

И это все потому, что Танька выдумала к Варьке подложить Пудю. А Варькина кровать стояла на полу, в углу, на бумажном коврикe. Вот Ребик и нанюхал Пудю.

Принесли мы ему пить. Он лакнул два раза и бросил. Танька заревела:

– Он чует, чует!

А я стал ей про живодерню рассказывать. Я сам не знал, а так прямо говорю:

– Двое держат, а один режет. – И показал на Ребике рукой, как режут.

Танька залилась.

– Я скажу, я скажу, что мы!.. Скажем... Хоть на коленки станем, а скажем.



И все ревет, ревет... Я сказал:

– Скажем, скажем. Только чтоб Ребика не отдавали. Не дадим.

И мы так схватились за Ребика, что он взвизгнул.

А время обеда приближалось, и вот уж скоро должен прийти папа со службы. Мама вернулась из города с покупками.

– Не сидите на грязном полу. И не возитесь с собакой – блох напустит.

Мы встали и уселись на подоконнике над Ребичкой и все смотрели на дверь в прихожую. Решили, как папа придет, сейчас же просить, а то потом не выйдет. Таньку послали мыть заплаканную морду. Она скоро: раз-два, и сейчас же прибежала и села на место. Я тихонько гладил Ребика ногой, а Танька не доставала. На стол уже накрыли, свет зажгли и шторы спустили. Только на нашем окне оставили: на шнурке папа повесил Пудю, и никто не смел тронуть.

Позвонили. Мы знали, что папа. У меня сердце забилося. Я говорю Таньке:

– Как войдет, сейчас же на пол, на колени, и будем говорить. Только вместе, смотри. А не я один. Говори: «Папа, прости Ребика, это мы сделали!»

Пока я ее учил, уж слышу голоса в прихожей, очень веселые, и сейчас же входит важный, а за ним папа.

Важный сделал шаг и стал улыбаться и кланяться. Мама к нему спешила навстречу. Я не знал, как же при важном – и вдруг на колени? И плюнул на Таньку. Она моментально прыг с подоконника, и сразу бац на коленки, и сейчас же в пол головой, вот как старухи молятся. Я соскочил, но никак не мог стать на колени. Все глядят, папа брови поднял.

Танька одним духом, скороговоркой:

– Папа, прости Ребика, это мы сделали!

И я тогда скорей сказал за ней:

– Это мы сделали.

Все подошли:

– Что, что такое?

А папа улыбается, будто не знает даже, в чем дело.

Танька все на коленках и говорит скоро-скоро:

– Папочка, миленький, Ребичка миленького, пожалуйста, миленький, миленького Ребичка... не надо резать...

Папа взял ее под мышки:

– Встань, встань, дурашка!

А Танька уже ревет – страшная рева! – и говорит важному:

– Это мы у вас хвостик оторвали, а не Ребик вовсе.

Важный засмеялся и оглядывается себе за спину:

– Разве у меня хвост был? Ну вот спасибо, если оторвали.

– Да видите ли, в чем дело, – говорит папа, и все очень весело, как при гостях: – собака вдруг притаскивает вот это, – и показывает на Пудю. И стал рассказывать.

Я говорю:

– Это мы, мы!

– Это они собаку выгораживают, – говорит мама.

– Ах, милые! – говорит важный и наклонился к Таньке.

Я говорю:

– Вот ей-богу – мы! Я оторвал. Сам.

Отец вдруг нахмурился и постучал пальцем по столу:

– Зачем врешь и еще божишься?

– Я даже хвостик ему устроил, я сейчас покажу. Я там нитками замотал.

Сунулся к окну и назад: я вспомнил, что нитки я обрезал.

Отец:

– Покажи, покажи. Моментально!

Важный тоже сделал серьезное лицо. Как хорошо было, все бы прошло. Теперь из-за ниток этих...

– Яшка, – говорю я, – Яшка Рыжий видел, – и чуть не плачу.

А папа крикнул:

– Без всяких Яшек, пожалуйста! Достать! Моментально! – И показал пальцем на Пудю.

Важный уже повернулся боком и стал смотреть на картину. Руки за спину.

Я полез на окно и рвал и кусал зубами узел. А папа кричал:

– Моментально! – и держал палец.

Таньку мама уткнула в юбку, чтоб не ревела на весь дом.

Я снял Пудю и подал папе.

– Простите, – вдруг обернулся важный, – да от моей ли еще шубы? – И стал вертеть в пальцах Пудю.

– Позвольте, это что же? Что тут за тесемочки?

– Намордничек! – крикнула Танька из маминой юбки.

– Ну вот и ладно! – крикнул важный, засмеялся и схватил Таньку под мышки и стал кружить по полу:

– Тра-бам-бам! Трум-бум-бум!

– Ну, давайте обедать, – сказала мама.

Уж сколько тут реву было!..

– Отвяжи собаку, – сказал папа.

Я отвязал Ребика. Папа взял кусок хлеба и бросил Ребику:

– Пиль!

Но Ребик отскочил, будто в него камнем кинули, поджал хвост и, согнувшись, побежал в кухню.

– Умой поди свою физию, – сказала мама Таньке, и все сели обедать.

Важный Пудю подарил нам, и он у нас долго жил. Я приделал ему ножки из спичек. А Яшке, когда мы играли в снежки, мы с Танькой набили за ворот снегу.

Пусть знает!

## Веселый купец

Жил-был моряк Антоний. У него был свой собственный двухмачтовый корабль. Антоний был итальянец, и корабль его ходил по всем морям. Корабли у других хозяев назывались важно. То «Святой Николай», то «Город Генуя» или «Король Филипп», а Антоний назвал свой корабль «Не Горюй».

Бывало, нет в море ветру, стоит корабль. Всем досадно. Антоний плянет на паруса и скажет весело:

– Стоит «Не Горюй»!

Раз положило ветром корабль совсем боком, все перепугались, Антоний как крикнет:

– Лежит «Не Горюй»!

У всех и страх прошел, и побежали матросы на мачты убирать паруса. И все говорили:

– Разобьет нас о камни, все равно капитан крикнет свое: «Пропал „Не Горюй“!»

А надо сказать, что везло Антонию во всем: стоят корабли в гавани, везти нечего, хозяева злые по берегу ходят. А гляди – Антоний наберет всякой дребедени и чуть не по самую палубу загрузит корабль.

– Мне всегда счастье будет, – говорил Антоний. – Имя у меня такое – все Антонии счастливые. А которые несчастные Антонии, так это значит дураки. Дурака как ни назови, все равно за борт свалится.

Все к Антонию служить набивались. Понятное дело: коли хозяину везет, значит и матросам больше перепадает. Да и весело у веселого служить. Так все в порту и звали Антония – Веселый Купец.

Стоял Антоний со своим кораблем в речном порту. И как назло уж вовсе никакого груза нельзя было достать. Антоний по городу бегают – нечего везти. Пришел в порт, дымит трубочкой, торопится по пристани. А с других кораблей хозяева поглядывают, подмигивают, локтем соседей подталкивают – кивают на Антония.

– Кажись, невеселый идет.

Один крикнул:

– Эй, Антоний! Грузу-то много ли?

Антоний стал, обернулся и крикнул, чтобы всем было слышать:

– Полон корабль, по самую палубу загрузим. Завтра в море ухажу.

А ему рукой машут – врешь, значит, хвастаешь.

А к вечеру едут в порт подводы одна за другой, вереницей, еле лошади тянут. И все к Антонию. Пovyскакивали с кораблей на берег люди, щупают на ходу, что в мешках. Смешное какое-то: крупа не крупа. Один и ткнул ножом, – а из мешка песок.

И все стали кричать:

– Песок! Песок! Вот дурак, с реки песок в море возит!

Антоний только на матросов покрикивает:

– Грузи «Не Горюй» под самую палубу!

Люди над матросами смеются:

– Кашу варить будете? Или на муку молотье повезете?

А матросы поплевывают:

– Дело хозяйское.

– Для форсу, – решили моряки, – для форсу грузится.

А Антоний хлопочет:

– Туда клади, сюда неси.

Под утро загрузили корабль – дальше уж некуда. Потянул ветерок, и все видели, как вытянулся «Не Горюй» на середину реки, поставил паруса и ушел в море.

А Антоний и вправду не знал, куда с этим песком деваться. Вышел в море и не знает, куда курс держать.

«Эх, – думает Антоний, – есть одна гавань, и город там богатый – давно там не бывал я. Была не была, пойду я туда, а там видно будет».

Набил трубочку, вышел на палубу. Надулись паруса пузырями, идет судно попутным ветром. Солнце с неба светит, веселая вода за бортом плещется, и от палубы смоляной горячий дух поднимается. Везет «Не Горюй» полное брюхо песку, тянет, везет, куда хозяин ведет. Тяжело на волне переваливается. Матросы в тень забрались и в карты шлепают. Один рулевой стоит и правит, куда велел Антоний.

Наутро стали подходить к берегу. Что такое? Узнать Антоний не может: как будто и тот город стоит, куда шел, да берега не узнать: где раньше деревянные сваи из воды забором торчали, черные, как старые зубы, – тут уж стена каменная стоит, загораживает гавань от зыби. А на пристани народу – как муравьев, и натыкано чего-то, нагорожено.

Приказал Антоний отдать якорь. Не вошел в гавань, а поставил судно перед каменной стенкой.

– Спускай, – говорит, – ребята, шлюпку: я на берег еду.

Гребут молодцы, наваливаются, Антоний правит. Вот проход в стене оставлен. Прошел в проход Антоний, гребут к пристани. Батюшки! Пристать некуда! Все разворотили, всю пристань заново строят.

– Сюда! Сюда! – кричат с берега и показывают, где есть удобное местечко. Выскочил Антоний на берег – еле пройти, протиснуться. Рабочих, каменщиков! Стучат, камень тешут. Мастера бегают:

– Не спи, – кричат, – поторапливайся.

И все, как мукой, каменной пылью засыпаны.

– Не ко времени, – говорят Антонию, – не ко времени пришел, брат. Тут у нас и стать негде. Видишь, что делается. Ни одного корабля в гавани нет. Иди дальше со своим судном.

И никто на Антония и глядеть не хочет.

«Ну, – думает Антоний, – не стыдно и уйти: нельзя никому здесь выгружаться, не я один».

И пошел в город.

«Куплю, – думает, – бочонок вина, сам выпью и ребят угощу. Все равно весело будет».

Вдруг подходит к нему старик – тамошний купец.

– О, – говорит, – Антоний, Веселый Купец. Здорово! Гляди – и тебе не повезло. А товар-то дорогой, должно?

Антоний рассмеялся:

– Да просто песок.

– Речной? – старик крикнул и присел даже.

– С реки, – говорит Антоний.

– Да милый ты мой! Да хороший ты мой! Песку-то тут и надо. К нам король приезжает, нам три недели осталось, а песку-то проклятого не хватает на постройку. За сорок верст возим. Да не шутишь ли?

– Да я знал, – говорит Антоний, – о чем вы плачете, – вот и привез песку. Цена-то вот только хороша ли?

А тут уж народ обступил, и все кричат:

– Песок! Песок привез! Самолучший.

И наперебой гонят цену – крик подняли.

– Много ли?

– Полно судно!

Антоний и в город не успел сходить.

– Гони, – кричат, – судно сюда, к самой постройке.

Засмеялся Антоний, в землю плюнул.

– Тьфу ты, – говорит, – вот поди: даром я Антоний, что ли?



Нагнали народу выгружать Антониев корабль. Песок горой на пристань высыпают, Антоний сидит да деньги считает. Матросам бочонок вина поставил. Сидят выпивают и песни горланят.

Снялся утром Антоний, а куда – матросы не спрашивают. Так уж заведено было: хоть к черту на рога. А ведет Антоний судно – значит, не горюй. Капитан знает!

Скрылся за кормой город – легкой полоской лежит на горизонте берег, будто прочеркнут легкой черточкой. Бежит по воде «Не Горюй», полощется белым пузом, порожнем бежит. Прыгает, как утка, на волне. Веселый ветер играет в море. Надулись паруса, напряжились мачты. Антоний выколачивает трубочку о борт. Кричит:

– Давай мне, ребята, кружку вина!

Пьет Антоний вино из ковшика, и несет в лицо свежую пену из-за борта. Летняя погода – веселая. Синяя вода в Средиземном море, синяя, будто синька распущена. И зыбь завивается большими гребешками, и среди зыбей белым лебедем переваливается корабль на всех парусах.

А в реке, в порту на кораблях последний табак докуривают. Стоят все корабли хмурые, и голые мачты с реями торчат, как кресты на кладбище. Хозяева злые ходят по пристани и уж друг на друга глядеть не могут. И вдруг крикнул кто-то:

– Гляди – не Антоний ли?

Все плянули – и верно: валит в порт «Не Горюй» напротив воды, тужится против течения, раздулись, как щеки, паруса с натуги, и вечернее солнце ударило в них красным пламенем.

Вышел на пристань Антоний.

– Что, – говорят, – на зубах не хрустит?

Антоний веселыми ногами в город спешит, трубкой дымит, посмеивается.

– Тебя как звать? – спрашивает одного.

– Филипп.

– Вот здесь и прилип! А тебя?

– Герасим.

– погоди, завтра покрасим! А я Антоний – не горит, не тонет.

Пошли капитаны Антониевых матросов спрашивать: куда ходили, чего там хозяин накуролесил?

А те все в одно слово:

– За морем были, весь товар сбыли.

Наутро глядят капитаны – опять Веселый Купец песок грузит.

Одни говорят:

– С ума сошел от форсу.

А другие продали последние веревки и наняли подводы, чтоб им тоже песок возили. Загрузился Антоний песком. Вышел в море, оглянулся – три корабля сзади.

И направил Антоний свой корабль прямо в море. Глядит – и все три корабля за ним повернули. Идут следом, как на веревке привязанные.

А Антоний посмеивается:

– Иди, иди, по воде следу нету, дай срок.



Стих ветер. Лежит море как скатерть шелковая, и на нем три белых корабля, а впереди четвертый, Антониев. Вечер упал. И прикрыло море черным небом – только звезды на небе горят, колыхаются. И тут задышал ветерок. Встрепенулся «Не Горюй», выпучились паруса, зашептал ветер в снастях, зажурчала вдоль бортов вода.

Оттолкнул Антоний рулевого, сам взялся за руль и повернул корабль, куда надо.

– Так и веди, – сказал Антоний, – а огня на судне – чтоб ни-ни, чтоб и трубки на палубе не зажгли.

А три корабля все шли туда, вперед, как повел их Антоний, – всю ночь шли. Наутро глянули – нет Антония. Ушел «Не Горюй» – и загоревали. Надул Веселый Купец, удрал. А по воде следу нету. Озлились и пошли назад. Дорогой песок в море сыпали. Пропади он пропадом!

В третий раз сходил Антоний, и уж никто за ним не гнался.

– Куда ж ты возил? – спрашивают.

– А на мельницу, – говорит Антоний, – на муку мололи. Приходи нонче ко мне блины есть.

Денег стало у Антония – куча. И привязалось к нему счастье – хоть поленом гони. И уж все на него сердиться забыли. Придут капитаны погостить на судно – Антоний вина не жалеет.

Вот раз идет Антоний в море и видит – дым идет из моря. Что за чудо? Не горит ли корабль на воде? И направил на дым. Добежать бы скорей, спасти хоть людей.

Он к дыму, а дым от него. Что за притча? Достал Антоний медную трубу и стал в трубу глядеть. Матросы сзади стояли – ждали, что капитан увидит.

– Ничего не пойму, – сказал Антоний, – кухня по морю плывет. Черная труба торчит, а оттуда дым валит.

И отдал матросам трубку. Все глядели. И один сказал:

– Слыхал я про это. Это – пароход.

– Сам знаю, – сказал Антоний, и первый раз капитан нахмурился и ушел в каюту.

– А здорово прет проклятая пекарня, – сказали матросы.

А ночью не было ветра. «Не Горюй» стоял, и паруса отдыхали. Как усталые повисли на реях. И вдруг мимо прошумел пароход и махнул на корабль вонючим дымом. Прошел мимо корабля – и слышно было в тихой ночи, как ворочается, урчит машина в утробе, ворчит, наворачивает...

Выскочил Антоний на палубу, глянул вслед пароходу:

– Как еще вода эту жаровню держит! – и плюнул за борт: – На тебе на дорогу.

Старый матрос подошел к Антонию, кивнул вслед пароходу:

– А ведь самый-то лучший груз они подбирают.

– Плевал я, – засмеялся Антоний, – пусть дураки везут им мешки да бочки. Да на этой жаровне и ладан серой провоняет! А много ли их, пароходов-то?

– Да слыхал, что уж два их в нашем море завелось.

Ушел старик спать. Антоний долго глядел вслед пароходу и видел, как уходит вдаль огонек, все меньше, меньше и вот уж совсем не стало.

– Ишь устиляет, – сказал Антоний. – Погоди! – и погрозил кулаком пароходу вслед.

С полночи заиграл ветерок, скрипнули мачты, проснулся «Не Горюй» и пошел полным ветром через море, на ту сторону.

А на той стороне был город на море. И прямо пройти к этому городу нельзя было. Под водой лежала каменная гряда. Каменные горы стеной стояли, острые, как пики, и только порожним кораблям можно было проскользнуть поверх этих пик, а груженные корабли делали крюк, большой дугой обходили эти мели и камни.

Антоний не спал ночью, поджидал, когда надо свернуть и пойти вдоль страшных камней.

«Волчьи зубы», – говорили моряки про эти камни.

Стало светать, и уж близко должны быть Волчьи зубы. Глядит Антоний вперед – что за чудо? Будто вышел зуб из воды и торчит черным пеньком. Присмотрелся – что за дьявол? Никак пароход стоит. Стоит как раз на «зубах».

– Ребята! – крикнул Антоний, – попала кузница волку в зубы.

Все вскочили, все через борт глядят, глаза со сна протирают.

– Верно! Сел пароход на камень.

А на пароходе флаг на мачте и флаг узлом завязан: просит пароход флагом помощи.

Антоний направил корабль к пароходу, а с парохода к нему шлюпка идет, гребут гребцы изо всех сил. Приехал сам капитан.

– Антоний, – говорит капитан, – будь, Антоний, другом, спаси ты нас.

– А езжайте все ко мне, – говорит Антоний, – я гостям всегда рад.

– Нет, – говорит капитан, – нет, Антоний. Дай ты мне один свой парус. У меня дырка в боку. Я твой парус подведу, растяну за четыре угла, и он мне как пластырем дыру мою залепит. Дойду как-нибудь до порта.

– Тебе пластырь надо? – говорит Антоний. – У меня не аптека!

– Антоний, – взмолился капитан, – видишь, стоит мой пароход, а ты мимо идешь...

– Я тоже стоял, а ты мимо шел, – смеется Антоний, – я ж не плакал.

– Так ведь потонет пароход! – закричал капитан.

– А зачем кузнице по морю плавать? – сказал Антоний. – Бросай свой уют, вези всех людей сюда. А не хочешь – я дальше пошел. Решай: раз и два.

Озлился капитан, чуть не заплакал. Однако поехал назад и всех людей перевез к Антонию на корабль.

– Пошел «Не Горюй»! – крикнул Антоний и пустил корабль в обход вдоль «зубов».

А капитан стоял на борту и все глядел, как тонул его пароход.

– Все равно другой остался, – шепнул старик Антонию в ухо.

А на другом пароходе был ловкий капитан. Осторожный моряк, изворотливый. Бегал, рыскал его пароход по всем портам. Только Антоний сунется за товаром, – глядь – уж пароход перехватил и увез куда надо.

Товарищи-капитаны смеются.

– Что, – говорят, – вози песок, Веселый Купец.

– Всему время будет, – говорит Антоний. – Чего вы пароходом пугаете? Да плевал я на это чучело, коли я Антоний! Чем пароход грузится?

– Да не для тебя это, – говорят капитаны. – Маслом прованским грузится – новое масло, брат, а за морем его нет. Сейчас какую хочешь там цену дадут – приди только вперед парохода. А уж опоздаешь – никто и бочки одной не возьмет. Повезешь домой.

– Плевал я, – сказал Антоний, и побежал в город. Накупил масла на все деньги, что были. На пароход бочки катают, спешат, а на Антониев корабль и того хлеще: вся команда в поту. И закатывают, закатывают, как орехи в мешок сыпят.

Управился Антоний раньше парохода. Скорей ставь паруса, пошел в море.

Как двинул ветер с берега – еле мачты держат, зыбь в корму шлепает, подгоняет.

– Не горюй! – кричит Антоний. – А что, ребята, не Антоний я?

Уж вот-вот он, берег. Еще немного. Спадать тут стал ветер, не дотянул. Ах, чуть-чуть бы – вон и город видать, рукой подать. Оглянулся Антоний и видит: дымит сзади пароход. Вот уж видать, как торчит черной папиросой труба из моря, а вот и весь пароход видно стало. А у Антония нет ветру в парусах, нет совсем, хоть сам дуй. Совсем нагоняет Антония черный пароход, и черным змеем далеко-далеко уходит дым, виснет над морем.

Прошумел мимо пароход и первым пришел в порт.

Все матросы оглянулись на Антония.

– Не горюй, – сказал Антоний, – все равно наша возьмет.

Только к ночи притащился Антоний в порт. Про товар никто и не спрашивает. У всех купцов полно масла.

– А куда, – спросил Антоний, – пароход пошел?

– Да сейчас, – говорят, – только вышел. Разве не встретили? Туда, знаешь, пошел – за Волчьи зубы, там масла нет. Цена, сказывали, как на золото.

– Ставь паруса! – крикнул Антоний.

Сорвался Антоний из порта, и побежало судно в море.

И снова двинул прежний ветер. Крепкий, ровный.

– Откуда снова взялся? – говорят матросы.

– Это он обедать ходил, – кричит Антоний. – Что он вам поденщик, что ли? Поспал, теперь свое возьмет. Не горюй, молодцы!

Ночь была темная, тьма густая стояла, только вода белыми гребнями вспыхивала, и птицами летала белая пена через Антониев

корабль. Никто на корабле не спал, и сам Антоний на руле стоял. И как раз тут, вот уж скоро, должны быть рядом Волчьи зубы.

Вдруг Антоний повернул корабль – и все поняли, что направил прямо на Волчьи зубы. Да с такого хода!

Старик подбежал к Антонию:

– Хозяин! Что делаешь? На каменья правишь!

– Не горюй! – орет Антоний. – Открывай трюм, ребята, кидай бочки за борт, пока не крикну баста. Живо!

Бросились матросы, открыли трюм и давай валить бочки за борт. С ума сошел хозяин. Да все равно – не горюй!

– Вали, вали! – кричит Антоний, – живо!

Половину груза вывалили матросы. А каждый в уме путь мерит: вот-вот уж скоро Волчьи зубы.

А «Не Горюй» всплыл выше, легче стало судно, и совсем на бок положил его ветер. А на самые на Волчьи зубы напрямик к порту гонит свой корабль Антоний.

И вот они, буруны, белеют во тьме над «зубами», ревом ревет вода, пенится. В самые буруны гонит Антоний судно, со всего ходу. Матросы глаза зажмурили. Ждут, как треснет с ходу, как полетят на палубу мачты, как горшок об камень, разлетится вдребезги судно.

Влетел Антоний в пену и крикнул:

– Антоний идет! Держись!

Затрясся в пене корабль и прошел дальше. Матросы друг на друга глядят – стоят мокрые и понять не могут: на том ли, на этом свете? А корабль полугруженный лежал боком и сидел в воде как порожний. Бежит дальше.

Ветер давит паруса, трещат снасти. Вот уж два паруса выдавило; как лист по ветру унесла погода белые клочья в черную ночь. Прет Антоний прямо в порт – вон огни по берегу рассыпались, переливаются, дышат как уголья. Влетел в порт Антоний и отдал якорь.

А к судну уж шлюпка тащится.

Кричат:

– Не с маслом ли?

И часу не прошло – полна палуба купцов у Антония. Набивают цену – дай только хоть баночку.

– А парохода, – спрашивают, – не видали?

– А не знаю, – говорит Антоний, – раньше нас вышел, видать, не к вам пошел.

Продав Антоний в тот же час все масло, что у него осталось, – и такую цену дали ему, что и не снилось Антонию.

А наутро пришел пароход. Антоний капитану шляпой машет.

И ни бочки не взяли с парохода. Повернул пароход и задымил сердито.

А Антоний пришел домой.

– Нет, – говорит, – не буду я счастья моего до доньшка высасывать. Переехала мне дорогу плавучая кузница!

Продав корабль, матросов всех деньгами одарил.

– Спасибо, – говорит, – за службу, ни разу меня не выдали, ребята.

И открыл Антоний на берегу корчму «Не Горюй».

# Черные паруса

## 1. Ладьи

Обмотали весла тряпьем, чтоб не стукнуло, не брякнуло дерево. И водой сверху полили, чтоб не скрипнуло, проклятое.

Ночь темная, густая, хоть палку воткни.

Подгребаются казаки к турецкому берегу, и вода не плеснет: весло из воды вынимают осторожно, что ребенка из люльки.

А лодки большие, развалистые. Носы острые, вверх тянутся. В каждой лодке по двадцать пять человек, и еще для двадцати места хватит.

Старый Пилип на передней лодке. Он и ведет.

Стал уж берег виден: стоит он черной стеной на черном небе. Гребанут, гребанут казаки и станут – слушают.

Хорошо тянет с берега ночной ветерок. Все слышать. Вот и последняя собака на берегу брехать перестала. Тихо. Только слышно, как море шуршит песком под берегом: чуть дышит Черное море.

Вот веслом дно достали. Вылезли двое и пошли вброд на берег, в разведку. Большой, богатый аул тут, на берегу, у турок стоит.

А ладьи уж все тут. Стоят, слушают – не забаламутили б хлопцы собак. Да не таковские!

Вот чуть заалело под берегом, и обрыв над головой стал виден. С зубцами, с водомоинами.

И гомон поднялся в ауле.

А свет ярче, ярче, и багровый дым за клубился, завился над турецкой деревней: с обоих краев подпалили казаки аул. Псы забрехали, кони заржали, завыл народ, заголосил.

Рванули ладьи в берег. По два человека оставили казаки в лодке, полезли по обрыву на кручу. Вот она, кукуруза, – стеной стоит над самым аулом.

Лежат казаки в кукурузе и смотрят, как турки все свое добро на улицу тащат: и сундуки, и ковры, и посуду, все на пожаре, как днем, видать. Высматривают, чья хата побогаче.

Мечутся турки, ревут бабы, таскают из колодца воду, коней выводят из стойл. Кони бьются, срываются, носятся меж людей, топчут добро и уносятся в степь.

Пожитков груды на земле навалена.

Как гикнет Пилип! Вскочили казаки, бросились к турецкому добру и ну хватать, что кому под силу.

Обалдели турки, орут по-своему.

А казак хватил и – в кукурузу, в темь, и сгинул в ночи, как в воду нырнул.

Уж набили хлопцы лодки и коврами, и кувшинами серебряными, и вышивками турецкими, да вот вздумал вдруг Грицко бабу с собой подхватить – так, для смеху.

Баба как даст голосу, да такого, что сразу турки в память пришли. Хватились ятаганы откапывать в пожитках из-под узлов и бросились за Грицком.

Грицко и бабу кинул, бегом ломит через кукурузу, камнем вниз с обрыва и тикать к ладьям.

А турки за ним с берега сыпятся, как картошка. В воду лезут на казаков: от пожара, от крика как очумели, вплавь бросились.

Тут уж с обрыва из мушкетов палить принялись и пожар-то свой бросили. Отбиваются казаки. Да не палить же из мушкетов в берег – еще темней стало под обрывом, как задышало зарево над деревней. Своих бы не перебить. Бьются саблями и отступают вброд к ладьям.

И вот, кто не успел в ладью вскочить, порубили тех турки. Одного только в плен взяли – Грицка.

А казаки налегли что силы на весла и – в море, подальше от турецких пуль. Гребли, пока пожар чуть виден стал: красным плазком мигает с берега. Тогда подались на север, скорей, чтоб не настигла погоня.

По два гребца сидело на каждой скамье, а скамей было по семи на каждой ладье: в четырнадцать весел ударяли казаки, а пятнадцатым веслом правил сам кормчий. Это было триста лет тому назад. Так ходили на ладьях казаки к турецким берегам.



Пришел в себя Гриц. Все тело избито. Саднит, ломит. Кругом темно. Только огненными линейками светит день в щели сарая. Пощупал кругом: солома, навоз.

«Где это я?»

И вдруг все вспомнил. Вспомнил, и дух захватило. Лучше б убили. А теперь шкуру с живого сдерут. Или на кол посадят турки. Для того и живого оставили. Так и решил. И затошнило от тоски и от страха.

«Может, я не один тут, – все веселей будет».

И спросил вслух:

– Есть кто живой?

Нет, один.

Брякнули замком, и вошли люди. Ударило светом в двери. Грицко и свету не рад. Вот она, смерть пришла. И встать не может.

Заслабли ноги, обмяк весь. А турки теребят, ногами пинают – вставай!

Подняли.

Руки закрутили назад, вытолкали в двери. Народ стоит на улице, смотрит, лопочут что-то. Старик бородатый, в чалме, нагнулся, камень поднял. Махнул со злости и попал в провожатых.

А Грицко и по сторонам не глядит, все вперед смотрит – где кол стоит? И страшно, и не глядеть не может: из-за каждого поворота кола ждет. А ноги как не свои, как приделанные.

Мечеть прошли, а кола все нет. Из деревни вышли и пошли дорогой к морю.

«Значит, топить будут, – решил казак. – Все муки меньше».

У берега стояла фелюга – большая лодка, острая с двух концов. Нос и корма были лихо задраны вверх, как рога у турецкого месяца.

Грицко бросили на дно. Полуголые гребцы взялись за весла.

### *3. Карамусал*

«Так и есть, топить везут», – решил казак.

Грицко видал со дна только синее небо да голую потную спину гребца. Стали вдруг легче грести. Гриц запрокинул голову: видит нос корабля над самой фелюгой. Толстый форштевень изогнуто

подымался из воды. По сторонам его написаны краской два глаза, и, как надутые щеки, выпячиваются круглые скулы турецкого карамусала. Как будто от злости надулся корабль.

Только успел Грицко подумать, уж не повесить ли его сюда привезли, как все было готово. Фелюга стояла у высокого крутого борта, и по веревочному трапу с деревянными ступеньками турки стали перебираться на корабль. Грицка веревкой захлестнули за шею и потащили на борт. Едва не задушили.

На палубе Грицц увидел, что корабль большой, шагов с полсотни длиной. Две мачты, и на спущенных над палубой рейках туго скручены убранные паруса. Фок-мачта смотрела вперед. От мачт шли к борту веревки – ванты. Тугие – ими держалась мачта, когда ветер напирал в парус. У бортов стояли бочки.

На корме была нагорожена целая кибитка. Большая, обтянутая плотной материей. Вход в нее с палубы был завешан коврами.

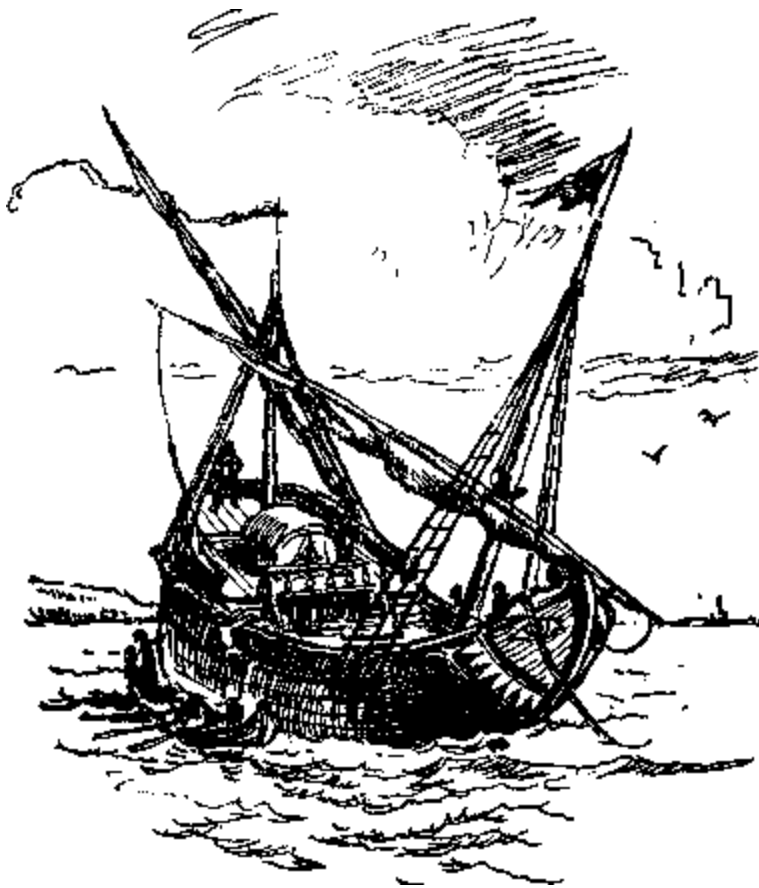
Стража с кинжалами и ятаганами у пояса стояла при входе в эту кормовую беседку.

Оттуда не спеша выступал важный турок – в огромной чалме, с широчайшим шелковым поясом; из-за пояса торчали две рукоятки кинжалов с золотой насечкой, с самоцветными камнями.

Все на палубе затихли и смотрели, как выступал турок.

– Капудан, капудан, – зашептали около Грицка.

Турки расступились. Капудан (капитан) глянул в глаза Грицку, так глянул, как ломом ткнул. Целую минуту молчал и все глядел. Затем откусил какое-то слово и округло повернул к своей ковровой палатке на корме.



Стража схватила Грицка и повела на нос.

Пришел кузнец, и Грицко мигнуть не успел, как на руках и ногах заговорили, забренчали цепи.

Открыли люк и спихнули пленника в трюм. Грохнулся Грицко в черную дырку, ударился внизу о бревна, о свои цепи. Люк неплотно закрывался, и сквозь щели проникал светлыми полотнами солнечный свет.

«Теперь уж не убьют, – подумал казак, – убили бы, так сразу, там, на берегу».

И цепям и темному трюму обрадовался.

Грицко стал лазать по трюму и рассматривать, где ж это он. Скоро привык к полутьме.

Все судно внутри было из ребер<sup>[1]</sup>, из толстых, вершка по четыре. Ребра были не целые, стычные, и густо посажены. А за ребрами шли уже доски. Между досками, в щелях, смола. По низу в длину, поверх ребер, шло посередине бревно<sup>[2]</sup>. Толстое, обтесанное. На него-то и грохнулся Гриц, как его с палубы спихнули.

– А таки здоровая хребтина! – И Грицко похлопал по бревну ладошкой.

Грицко грохотал своими кандалами – кузница переезжает.

А сверху в щелочку смотрел пожилой турок в зеленом тюрбане. Смотрел, кто это так ворочается здорово. И заприметил казака.

– Якши урус<sup>[3]</sup>, - пробормотал он про себя. – За него можно деньги взять. Надо подкормить.

#### **4. Порт**

В Царьграде на базаре стоял Грицко и рядом с ним невольник-болгарин. Турок в зеленой чалме выменял казака у капудана на серебряный наргиле<sup>[4]</sup> и теперь продавал на базаре.

Базар был всем базарам базар. Казалось, целый город сумасшедших собрался голоса пробовать. Люди старались перекричать ослов, а ослы – друг друга. Грузенные верблюды с огромными выюками ковров на боках, покачиваясь, важно ступали среди толпы, а впереди сириец орал и расчищал каравану дорогу: богатые ковры везли из Сирии на царьградский рынок.

Губастого ободранного вора толкала стража, и густой толпой провожали их мальчишки, бритые, гологоловые.

Зелеными клумбами подымались над толпой арбы с зеленью. Завешанные черными чадрами турецкие хозяйки пронзительными голосами ругали купцов-огородников.

Над кучей сладких, пахучих дынь вились роем мухи. Загорелые люди перекидывали из руки в руку золотистые дыни, заманивали покупателя дешевой ценой.

Грек бил ложкой в кастрюлю – звал в свою харчевню.

С Грицком продавал турок пять мальчиков-арапчат. Он велел им орать свою цену и, если они плохо старались, поддавал пару плеткой.

Рядом араб продавал верблюдов. Покупатели толклись, приливали, отливали и рекой с водоворотом текли мимо.

Кого только не было! Ходили и арабы: легко, как на пружинках, подымались на каждом шагу.

Валили толстым пузом вперед турецкие купцы с полдюжиной черных слуг. Проходили генуэзцы в красивых кафтанах в талью; они были франты и всё смеялись, болтали, как будто пришли на веселый маскарад. У каждого на боку шпага с затейливой ручкой, золотые пряжки на сапогах.



Среди толчеи вертелись разносчики холодной воды с козьим бурдюком за спиной.

Шум был такой, что грянь гром с неба – никто б не услышал. И вот вдруг этот гам удвоился – все кругом завопили, как будто их бросили на уголья.

Хозяин Грицка схватился нахлестывать своих арапчат. Казак стал смотреть, что случилось. Базар расступался: кто-то важный шел – видать, плавный тут купец.

Двигался венецианский капитан, в кафтане с золотом и кружевом. Не шел, а выступал павлином. А с ним целая свита расшитой, пестрой молодежи.

Болгарин стал креститься, чтоб видали: вот христианская душа мучится. Авось купят, крещеные ведь люди. А Гриц пялил глаза на

шитые кафтаны.

И вот шитые кафтаны стали перед товаром: перед Грицком, арапчатами и набожным болгаринном. Уперлись руками в бока, и расшитый золотом капитан затрясся от смеха. За ним вся свита принялась усердно хохотать. Гнулись, переваливались. Им смешно было плядеть, как арапчата, задрав головы к небу, в один голос выли свою цену.

Капитан обернулся к хозяину с важной миной. Золоченые спутники нахмурились, как по команде, и сделали строгие лица.

Болгарин так закрестился, что руки не стало видно.

Народ сбежался, обступил венецианцев, всякий совался, тискался: кто подмигивал хозяину, кто старался переманить к себе богатых купцов.

## *5. Неф*

Вечером турок отвел Грицка с болгаринном на берег и перевез на фелюге на венецианский корабль.

Болгарин всю дорогу твердил на разные лады Грицку, что их выкупили христиане. От бусурман выкупили, освободили.

А Гриц сказал:

– Що мы им, сватья чи братья, що вони нас выкуплять будут? Дурно паны грошей не дадут!

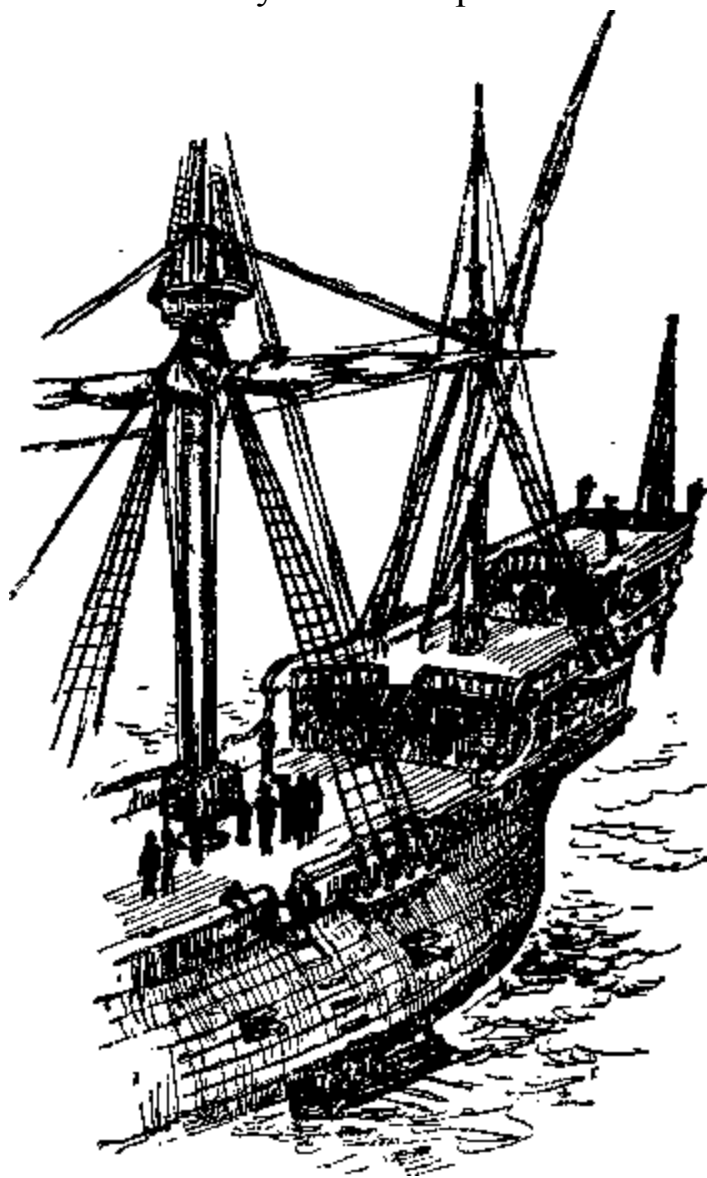
Корабль был не то, что турецкий карамусал, на котором привезли Грицка в Царьград. Как гордая птица, лежал на воде корабль, высоко задрав многоярусную корму. Он так легко касался воды своим круто изогнутым корпусом, как будто только спустился отдохнуть и понежиться в теплой воде. Казалось, вот сейчас распустит парусакрылья и вспорхнет. Гибкими змеями вилось в воде его отражение. И над красной вечерней водой тяжело и важно реял за кормой парчовый флаг. На нем был крест и в золотом ярком венчике икона.

Корабль стоял на чистом месте, поодаль от кучи турецких карамусалов, как будто боялся запачкаться.

Квадратные окна были вырезаны в боку судна – семь окон в ряд, по всей длине корабля. Их дверцы были приветливо подняты вверх, а в

глубине этих окон (портов), как злой зрачок, поблескивали дула бронзовых пушек.

Две высокие мачты, одна в носу<sup>[5]</sup>, другая посредине<sup>[6]</sup>, натуго были укреплены веревками. На этих мачтах было по две перекладины – рей. Они висели на топенантах, и, как вожжи, шли от их концов (ноков) брасы. На третьей мачте, что торчала в самой корме<sup>[7]</sup>, был только флаг. С него глаз не спускал болгарин.



Грицко залюбовался кораблем. Он не мог подумать, что вся эта паутина веревок – снасти, необходимые снасти, без которых нельзя править кораблем, как конем без узды. Казак думал, что все напутано для форсу; надо было б еще позолотить.

А с самой вышки кормы глядел с борта капитан – сеньор Перучьо. Он велел турку привезти невольников до заката солнца и теперь гневался, что тот запаздывает. Как смел? Два гребца наваливались что есть силы на весла, но ленивая фелюга плохо поддавалась на ход против течения Босфора.

Толпа народа стояла у борта, когда, наконец, потные гребцы ухватили веревку (фалень) и подтянулись к судну.

«Ну, – подумал Гриц, – опять за шею...»

Но с корабля спустили трап, простой веревочный трап, невольникам развязали руки, и хозяин показал: ползайте!

Какие красивые, какие нарядные люди обступили Грицка! Он видал поляков, но куда там!

Середина палубы, где стоял Грицко, была самым низким местом. На носу крутой стеной начиналась надстройка<sup>[8]</sup>.

На корме надстройка еще выше и поднималась ступенями в три этажа. Туда вели двери великолепной резной работы. Да и все кругом было прилажено, пригнано и форсисто разделано. Обрубком ничто не кончалось: всюду или завиток, или замысловатый крендель, и весь корабль выглядел таким же франтом, как те венецианцы, что толпились вокруг невольников. Невольников поворачивали, толкали, то смеялись, то спрашивали непонятное, а потом все хором принимались хохотать. Но вот сквозь толпу протиснулся бритый мужчина. Одет был просто. Взгляд прямой и жестокий. За поясом – короткая плетка. Он деловито взял за ворот Грицка, повернул его, поддал коленом и толкнул вперед. Болгарин сам бросился следом.

Опять каморка где-то внизу, по соседству с водой, темнота и тот самый запах: крепкий запах, уверенный. Запах корабля, запах смолы, мокрого дерева и трюмной воды. К этому примешивался пряный запах корицы, душистого перца и еще каких-то ароматов, которыми дышал корабельный груз. Дорогой, лакомый груз, за которым венецианцы бегали через море к азиатским берегам. Товар шел из Индии.

Грицко нанюхался этих крепких ароматов и заснул с горя на сырых досках. Проснулся оттого, что кто-то по нему бегал. Крысы!

Темно, узко, как в коробке, а невидимые крысы скачут, шмыгают. Их неведомо сколько. Болгарин в углу что-то шепчет со страху.



– Дави их! Боишься паньскую крысу обидеть? – кричит Грицко и ну шлепать кулаком, где только услышит шорох. Но длинные, юркие корабельные крысы ловко прыгали и шныряли. Болгарин бил впотьмах кулаками по Грицку, а Грицко по болгарину.



Грицко хохотал, а болгарин чуть не плакал.

Но тут в дверь стукнули, визгнула задвижка, и в каморку влился мутный полусвет раннего утра. Вчерашний человек с плеткой что-то кричал в дверях, хрипло, въедливо.

– Ходимо! – сказал Грицко, и оба вышли.

## ***6. Ванты***

На палубе были уже другие люди – не вчерашние. Они были бедно одеты, выбриты, с мрачными лицами.

Под носовой надстройкой в палубе была сделана круглая дыра. Из нее шла труба. Она раскрывалась в носу снаружи. Это был клюз. В него проходил канат с корабля к якорю. Человек сорок народу тянуло этот канат. Он был в две руки толщиной; он выходил из воды мокрый,

и люди с трудом его удерживали. Человек с плеткой, подкомит, пригнал еще два десятка народу. Толкнул туда и Грицка. Казак тянул, жилился. Ему стало веселей: все же с народом!

Подкомит подхлестывал, когда ему казалось, что дело идет плохо. Толстый мокрый канат ленивой змеей не спеша выползал из клюза, как из норы. Наконец стал. Подкомит ругался, щелкал плетью. Люди скользили по намокшей уже палубе, но канат не шел дальше.

А наверху, на баке, топали, и слышно было, как кричали покомандному непонятные слова. По веревочным ступенькам – выбленкам – уже лезли на мачты люди.

Толстые веревки – ванты – шли от середины мачты к бортам. Между ними-то и были натянуты выбленки. Люди босыми ногами ударяли на ходу по этим выбленкам, и они входили в голую подошву, казалось, рвали ее пополам. Но подошвы у матросов были так намозолены, что они не чувствовали выбленок.

Матросы не ходили, а бегали по вантам легко, как обезьяны по сучьям. Одни добегали до нижней реи и перелезали на нее, другие пролезали на площадку, что была посередине мачты (марс), а от нее лезли по другим вантам (стенъ-вантам) выше и перелезали на верхнюю рею. Они, как жучки, расплзались по реям.

На марсе стоял их начальник – марсовый старшина – и командовал.

На носу тоже шла работа. Острым клювом торчал вперед тонкий бушприт, перекрещенный блиндареем. И там, над водой, уцепившись за снасти, работали люди. Они готовили передний парус – блинд.

С северо-востока дул свежий ветер, крепкий и упорный. Без порывов, ровный, как доска.

Парчового флага уже не было на кормовой мачте – бизани. Там трепался теперь на ветру флаг попроче. Как будто этим утренним ветром сдуло весь вчерашний багряный праздник. В сером предрассветье все казалось деловым, строгим, и резкие окрики старшин, как удары плетки, резали воздух.

## *7. Левым галсом*

А вокруг на рейде еще не просыпались турецкие чумазые карамусалы, сонно покачивались испанские каравеллы. Только на длинных английских галлеях шевелились люди: они мыли палубу, черпали ведрами на веревках воду из-за борта, а на носу стояли люди и глядели, как снимется с якоря венецианец, – не всегда это гладко выходит.

Но вот на корме венецианского корабля появился капитан. Что же якорь? Якорь не могли подорвать люди. Капитан поморщился и приказал перерубить канат. Не первый якорь оставлял корабль на долгой стоянке. Еще три оставалось в запасе. Капитан вполголоса передал команду помощнику, и тот крикнул, чтобы ставили блинд.

Вмиг взвился под бушпритом белый парус. Ветер ударил в него, туго надул, и нос корабля стало клонить по ветру. Но ветер давил и высокую многоярусную корму, которая сама была хорошим деревянным парусом; это мешало судну повернуться.

Опять команда – и на передней (фок) мачте между реями растянулись паруса. Они были подвязаны к реям, и матросы только ждали команды марсового, чтобы отпустить снасти (бык горденя), которые подтягивали их к реям.

Теперь корабль уж совсем повернул по ветру и плавно двинулся в ход по Босфору на юг. Течение его подгоняло.

А на берегу стояла толпа турок и греков: все хотели видеть, как вспорхнет эта гордая птица.

Толстый турок в зеленой чалме ласково поглаживал широкий пояс на животе: там были венецианские дукаты.

Солнце вспыхнуло из-за азиатского берега и кровавым светом брызнуло в венецианские паруса. Теперь они были на всех трех мачтах. Корабль слегка прилег на правый борт, и казалось, что светом дунуло солнце и поддало ходу. А вода расступалась, и в обе стороны от носа уходила углом живая волна. Ветер дул слева – левым галсом шел корабль.

Матросы убирали снасти. Они свертывали веревки в круглые бухты (мотки), укладывали и вешали по местам. А начальник команды, аргозин, неожиданно появлялся за плечами каждого. Каждый матрос, даже не глядя, спиной чувствовал, где аргозин. У аргозина будто сто глаз – всех сразу видит.

На высоком юте важно прохаживался капитан со своей свитой. За ними по пятам ходил комит. Он следил за каждым движением капитана: важный капитан давал иной раз приказ просто движением руки. Комиту надо было поймать этот жест, понять и мгновенно передать с юта на палубу. А там уж было кому поддать пару этой машине, что шевелилась около снастей.

## **8. На фордевинд**

К полудню корабль вышел из Дарданелл в синюю воду Средиземного моря.

Грицко смотрел с борта в воду, и ему казалось, что прозрачная синяя краска распущена в воде: окуни руку и вынешь синюю.

Ветер засвежел, корабль повернул правей. Капитан глянул на паруса, повел рукой. Комит свистнул, и матросы бросились, как сорвались, тянуть брасы, чтобы за концы повернуть реи по ветру. Грицко плазел, но аргужин огрел его по спине плеткой и толкнул в кучу людей, которые тужились, выбирая брас.

Теперь паруса стояли прямо поперек корабля. Чуть зарывшись носом, корабль шел за зыбью. Она его нагоняла, подымала корму и медленно прокатывала под килем.

Команде давали обед. Но Грицку с болгариним сунули по сухарю. Болгарина укачало, и он не ел.

Тонкий свисток комита с кормы всполошил всех. Команда бросила обед, все выскочили на палубу. С кормы комит что-то кричал, его помощники – подкомиты – кубарем скатились вниз на палубу.

На юте стояла вся свита капитана и с борта глядела вдаль. На Грицко никто не обращал внимания.

У люка матросы вытаскивали черную парусину, свернутую тяжелыми, толстыми змеями. Аргужин кричал и подхлестывал отсталых. А вверх по вантам неслись матросы, лезли на реи. Паруса убирали, и люди, налегши грудью на реи, перегнувшись пополам, сложившись вдвое, изо всей силы на ветру сгребали парус к рее. Нижние (Шкотовые) концы болтались в воздухе, как языки, – тревожно, яростно, а сверху спускали веревки и быстро к ним привязывали эти черные полотна.

Грицко, разинув рот, смотрел на эту возню. Марсовы что-то кричали внизу, а комит носился по всему кораблю, подбегал к капитану и снова камнем летел на палубу. Скоро вместо белых, как облако, парусов появились черные. Они туго надулись между реями.

Ветра снова не стало слышно, и корабль понесся дальше.

Но тревога на корабле не прошла. Тревога напряглась, насторожилась. На палубе появились люди, которых раньше не видал казак: они были в железных шлемах, на локтях, на коленях торчали острые железные чашки. На солнце горели начищенные до сияния наплечники, нагрудники. Самострелы, арбалеты, мушкеты<sup>[9]</sup>, мечи на боку. Лица у них были серьезные, и смотрели они в ту же сторону, куда и капитан с высокого юта.

А ветер все крепчал, он гнал вперед зыбь и весело отрывал мимоходом с валов белые гребешки пены и швырял в корму кораблю.

## *9. Красные паруса*

Грицко высунул голову из-за борта и стал глядеть туда, куда смотрели все люди на корабле. Он увидел далеко за кормой, слева, среди зыби, рдеющие, красные паруса. Они то горели на солнце, как языки пламени, то проваливались в зыбь и исчезали. Они вспыхивали за кормой и, видно, пугали венецианцев.

Грицку казалось, что корабль с красными парусами меньше венецианского.

Но Грицко не знал, что с марса, с мачты, видели не один, а три корабля, что это были пираты, которые гнались на узких, как змеи, судах, гнались под парусами и помогали ветру веслами.

Красными парусами они требовали боя и пугали венецианцев.

А венецианский корабль поставил черные, «волчьи» паруса, чтоб его не так было видно, чтобы стать совсем невидимым, как только сядет солнце. Свежий ветер легко гнал корабль, и пираты не приближались, но они шли сзади, как привязанные.

Судовому священнику, капеллану, приказали молить у бога покрепче ветра, и он стал на колени перед раскрашенной статуей Антония, кланялся и складывал руки.

А за кормой все вспыхивали из воды огненные паруса.

Капитан смотрел на солнце и думал, скоро ли оно зайдет там впереди, на западе.

Но ветер держался ровный, и венецианцы надеялись, что ночь укроет их от пиратов. Казалось, что пираты устали грести и стали отставать. Ночью можно свернуть, переменить курс, а по воде следу нету. Пусть тогда ищут.

Но когда солнце сползло с неба и оставалось только часа два до полной тьмы, ветер устал дуть. Он стал срываться и ослабевать. Зыбь ленивее стала катиться мимо судна, как будто море и ветер шабашили под вечер работу.

Люди стали свистеть, обернувшись к корме: они верили, что этим вызовут ветер сзади. Капитан посылал спрашивать капеллана: что же Антоний?

## ***10. Штиль***

Но ветер спал вовсе. Он сразу прилег, и все чувствовали, что никакая сила его не подымет: он выдулся весь и теперь не дышит. Глянцевитая масляная зыбь жирно катилась по морю, спокойная, чванная. И огненные языки за кормой стали приближаться. Они медленно догоняли корабль. Но с марса кричали сторожевые, что их уже оказалось четыре, а не три. Четыре пиратских судна!

Капитан велел подать себе хлеба. Он взял целый хлеб, посолил его и бросил с борта в море. Команда глухо гудела: все понимали, что настал мертвый штиль. Если и задышит ветерок, то не раньше полуночи.

Люди столпились около капеллана и уже громко ворчали: они требовали, чтоб монах им дал Антония на расправу. Довольно валяться в ногах, коли тебя все равно не хотят слушать! Они прошли в каюту-часовню под ютом, сорвали статую с ее подножия и всей гурьбой потащили к мачте.

Капитан видел это и молчал. Он решил, что грех будет не его, а толк все же может выйти. Может быть, Антоний у матросов в руках заговорит по-иному. И капитан делал вид, что не замечает. Грешным делом, он уже бросил два золотых дуката в море. А матросы прикрутили Антония к мачте и шепотом ругали его на разных языках.

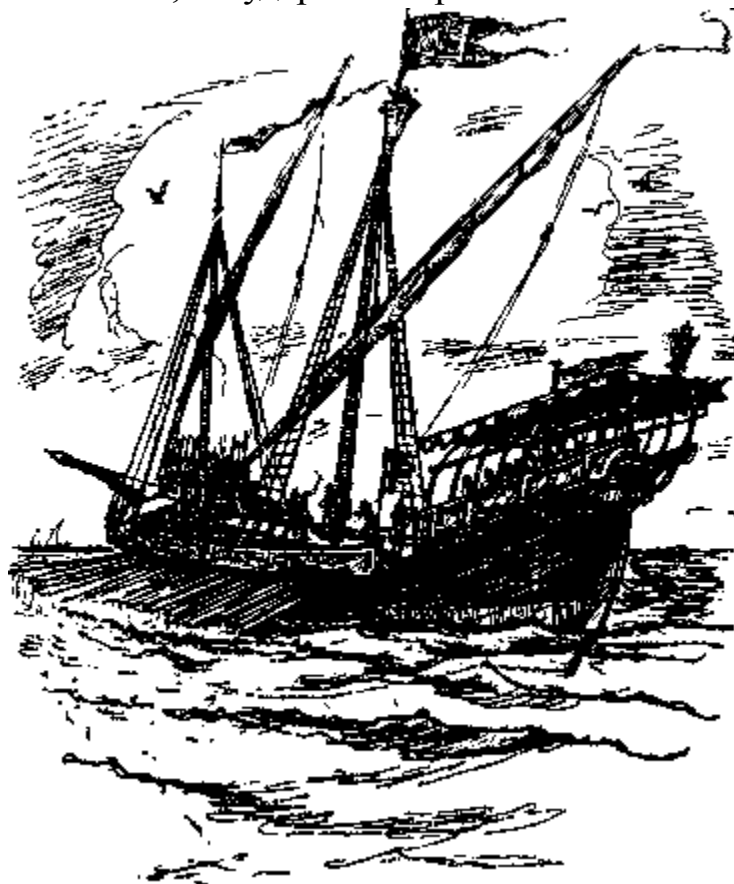
Штиль стоял на море спокойный и крепкий, как сон после работы.

А пираты подравнивали линию своих судов, чтобы разом атаковать корабль. Поджидали отсталых.

На второй палубе пушкари стояли у медных орудий. Все было готово к бою.

Приготовили глиняные горшки с сухой известью, чтоб бросать ее в лицо врагам, когда они полезут на корабль. Развели в бочке мыло, чтоб его лить на неприятельскую палубу, когда корабли сцепятся борт о борт: пусть на скользкой палубе падают пираты и скользят в мыльной воде.

Все воины, их было девяносто человек, готовились к бою; они были молчаливы и сосредоточенны. Но матросы гудели: они не хотели боя, они хотели уйти на своем легком корабле. Им обидно было, что нет ветра, и они решили туже стянуть веревки на Антонии: чтоб знал! Один пригрозил палкой, но ударить не решился.



А черные «волчьи» паруса обвисли на реях. Они хлопали по мачтам, когда судно качало, как траурный балдахин.

Капитан сидел в своей каюте. Он велел подать себе вина. Пил, не хмелел. Бил по столу кулаком – нет ветра. Поминутно выходил на палубу, чтоб взглянуть, не идет ли ветер, не почернело ли от ряби море.

Теперь он боялся попутного ветра: если он начнется, то раньше захватит пиратов и принесет их к кораблю, когда он только что успеет взять ход. А может быть, и уйти успеет?

Капитан решил: пусть будет какой-нибудь ветер, и пообещал в душе отдать сына в монахи, если хоть через час подует ветер.

А на палубе матрос кричал:

– В воду его, чего смотреть, ждать некогда!

Грицку смешно было смотреть, как люди серьезно обсуждали: головой пустить вниз статую или привязать за шею?

## *11. Шквал*

Пираты были совсем близко. Видно было, как часто ударяли весла. Можно было различить и кучку народа на носу переднего судна. Красные паруса были убраны: они мешали теперь ходу.

Мачты с длинными гибкими рейками покачивались на зыби, и казалось, что не длинная галера на веслах спешит к кораблю, а к лакомому куску ползет сороконожка и бьет от нетерпения лапами по воде, качает гибкими усами.

Теперь было не до статуи, ветра никто уже не ждал, все стали готовиться к бою. Капитан вышел в шлеме. Он был красен от вина и волнения. Дюжина стрелков залезла на марс, чтобы сверху бить стрелами врага. Марс был огорожен деревянным бортом. В нем были прорезаны бойницы. Стрелки стали молча размещаться. Вдруг один из них закричал:

– Идет! Идет!

На палубе все задрали вверх головы.

– Кто идет? – крикнул с юта капитан.

– Ветер идет! Встречный с запада!

Действительно, с марса и другим была видна черная кайма у горизонта: это ветер рябил воду, и она казалась темной. Полоса ширилась, приближаясь.



Приближались и пираты. Оставалось каких-нибудь четверть часа, и они подойдут к кораблю, который все еще болтал на месте своими черными парусами, как параличный калека.

Все ждали ветра. Теперь уж руки не пробовали оружия – они слегка дрожали, а бойцы озирались то на пиратские суда, то на растущую полосу ветра впереди корабля.

Все понимали, что этим ветром их погонит навстречу пиратам. Удастся ли пройти боковым ветром (галфвинд) наперерез пиратам и удрать у них из-под носу?

Капитан послал комита на марс – поглядеть, велик ли ветер, быстро ли набегают темная полоса. И комит со всех ног пустился по вантам. Он пролез сквозь отверстие (собачью дыру) на марс, вскочил на его борт и побежал выше по стень-вантам. Он еле переводил дух, когда долез до марс-рея, и долго не мог набрать воздуха, чтоб крикнуть:

– Это шквал! Сеньор, это шквал!

Свисток – и матросы бросились на реи. Их не надо было подгонять – они были моряки и знали, что такое шквал.

Солнце в багровом тумане грузно, устало катилось за горизонт. Как нахмуренная бровь, висела над солнцем острая туча. Паруса убрали. Крепко подвязали под реями. Корабль затаил дух и ждал шквала. На пиратов никто не глядел, все смотрели вперед.

Вот он гудит впереди. Он ударил по мачтам, по реям, по высокой корме, завыл в снастях. Передний бурун ударил в грудь корабль, хлестнул пеной на бак и понесся дальше. Среди рева ветра громко, уверенно резанул уши свисток комита.

## *12. Рифы*

Команда ставила на корме косую бизань. На фок-мачте ставили марсель – но как его уменьшили! – риф-сезни связали в жгут его верхнюю половину, и он, как черный ножик, повис над марсом.

Красный закат предвещал ветер, и, как вспененная кровь, рвалось море навстречу мертвой зыби.

И по этой толчее, накреньясь лихо на левый борт, рванул вперед венецианский корабль.

Корабль ожил. Ожил капитан, он шутил:

– Кажется, чересчур напугали Антония. Эти разбойники и скрягу заставят раскошелиться.

А команда, шлепая босыми ногами по мокрой палубе, тащила с почтением несчастную статую на место.

О пиратах никто теперь не думал. Шквал им тоже наделал хлопот, а теперь сгустившийся кровавый сумрак закрыл от них корабль. Дул сильный ровный ветер с запада. Капитан прибавил парусов и шел на юг, чтоб за ночь уйти подальше от пиратов. Но корабль плохо шел боковым ветром – его сносило вбок, он сильно дрейфовал. Высокий ют брал много ветра. Пузатые паруса не позволяли идти под острым углом, и ветер начинал их полоскать, едва рулевой пытался идти острее, «круче».

В суматохе аргужин забыл про Грицка, а он стоял у борта и не сводил глаз с моря.

### *13. На буксире*

Наутро ветер «отошел»: он стал дуть больше с севера. Пиратов нигде не было видно. Капитан справлялся с картой. Но за ночь нагнало туч, и капитан не мог по высоте солнца определить, где сейчас корабль. Но он знал приблизительно.

Все люди, которые правили кораблем, невольно, без всякого усилия мысли, следили за ходом корабля, и в уме само собою складывалось представление, смутное, но неотвратимое: люди знали, в каком направлении земля, далеко ли они от нее, и знали, куда направить корабль, чтоб идти домой. Так птица знает, куда ей лететь, хоть и не видит гнезда.

И капитан уверенно scomандовал рулевому, куда править. И рулевой направил корабль по компасу так, как приказал ему капитан. А комит свистел и передавал команду капитана, как поворачивать к ветру паруса. Матросы тянули брасы и «брасопили» паруса, как приказывал комит.

Уже на пятые сутки, подходя к Венеции, капитан приказал переменить паруса на белые и поставить за кормой парадный флаг.

Грицка и болгарина заковали в цепи и заперли в душевой камерке в носу. Венецианцы боялись: берег был близко, и кто их знает? Бывало, что невольники прыгали с борта и добирались вплавь до берега.

На корабле готовили другой якорь, и аргузин, не отходя, следил, как его привязывали к толстому канату.

Был полдень. Ветер еле работал. Он совсем упал и лениво шутил с кораблем, набегал полосами, рябил воду и шалил с парусами. Корабль еле двигался по застывшей воде – она была гладкая и казалась густой и горячей. Парчовый флаг уснул и тяжело висел на флагштоке.

От воды подымалось марево. И, как мираж, подымались из моря знакомые купола и башни Венеции.

Капитан приказал спустить шлюпку. Дюжина гребцов взялась за весла. Нетерпеливый капитан приказал буксировать корабль в Венецию.

#### *14. Буцентавр*

Выволокли пленников из камерки, повезли на богатую пристань. Но ничего наши ребята рассмотреть не могли: кругом стража, толкают, дергают, щупают, и двое наперебой торгуют невольников: кто больше. Поспорили, поругались; видит казак – уже деньги отсчитывают. Завязали руки за спину и повели на веревке. Вели вдоль набережной, вдоль спокойной воды. На той стороне дома, дворцы стоят над самым берегом и в воде мутно отражаются, переливаются.

Вдруг слышит Грицко: по воде что-то мерно шумит, плещет, будто шумно дышит. Глянул назад и обмер: целый дворец в два этажа двигался вдоль канала. Такого дома и на земле казак не видал. Весь в завитках, с золочеными колонками, с блестящими фонарями на корме, а нос переходил в красивую статую. Все было затейливо переплетено, перевито резными гирляндами. В верхнем этаже в окнах видны были люди; они были в парче, в шелках.

Нарядные гребцы сидели в нижнем этаже. Они стройно гребли, подымали и опускали весла, как один человек.

– Буцентавр! Буцентавр! – загалдели кругом люди. Все остановились на берегу, придвинулись к воде и смотрели на плавучий

дворец.

Дворец поравнялся с церковью на берегу, и вдруг все гребцы резко и сильно ударили три раза веслами по воде и три раза крикнули:

– Ал! ал! ал!

Это Буцентавр по-старинному отдавал салют старинной церкви.



Это главный венецианский вельможа выезжал давать клятву морю. Клятву верности и дружбы. Обручаться, как жених с невестой.

Все смотрели вслед уплывающему дворцу, стояли – не двигались. Стоял и Грицко со стражей. Смотрел на рейд, и каких только судов тут не было!

Испанские галеасы с высоким рангоутом, с крутыми бортами, стройные и пронзительные. Стояли они, как притаившиеся хищники, ласковые и вежливые до поры до времени. Они стояли все вместе кучкой, своей компанией, как будто не торговать, а высматривать пришли они на венецианский рейд.

Плотно, развалисто сидели на воде ганзейские купеческие корабли. Они вразвалку пришли издалека, с севера. Деловито раскрыли ганзейские корабли свои трюмы и выворачивали по порядку плотно набитые товары.

Стая лодок вертелась около них; лодки толкались, пробирались к борту, а ганзейский купец в очередь набивал их товаром и отправлял на берег.

Португальские каравеллы, как утки, покачивались на ленивой волне. На высоком юте, на задранном вверх баке не видно было людей. Каравеллы ждали груза, они отдыхали, и люди на палубе лениво ковыряли иголками с дратвой. Они сидели на палубе вокруг потрепанного погодой грота и ставили толстые заплатки из серой парусины.

А дальше, вдоль набережной, кормой к берегу, стояли длинные блестящие красавицы – венецианские галеры. К ним-то и двинулась стража с Грицком.

### *15. Галера*

Галера стояла кормой к берегу. Сходня, устланная ковром, вела с берега на галеру. Выступ у борта был открыт. Этот борт поднимался над палубой хвастливым изгибом.

Вдоль него бежали тонкой ниткой буртики, канты, а у самой палубы, как четки, шли полукруглые прорезы для весел – по двадцать пять с каждого борта.

Комит с серебряным свистком на груди стоял на корме у сходни. Кучка офицеров собралась на берегу.

Ждали капитана.

Восемь музыкантов в расшитых куртках, с трубами и барабанами, стояли на палубе и ждали приказа грянуть встречу.

Комит поглядывал назад на шиурму – на команду гребцов. Он всматривался: при ярком солнце под тентом казалось полутемно, и, только приглядевшись, комит различал отдельных людей: черных негров, мавров, турок, – они все были голы и прикованы за ногу к палубе.

Но все в порядке: люди сидят на своих банках по шести человек правильными рядами справа и слева.

Был штиль, и от нагретой воды канала подымалось зловонное дыхание.

Голые люди держали огромные весла, вытесанные из бревна: одно на шесть человек.

Люди смотрели, чтоб весла стояли ровно.

Дюжина рук напряженно держала валеки тяжелого галерного весла.

Аргужин ходил по мосткам, что тянулись вдоль палубы между рядами банок, и зорко поглядывал, чтоб никто недохнул, нешевельнулся.

Два подкомита – один на баке, другой среди мостков – не спускали глаз с разноцветной шиурмы; у каждого в руке была плеть, и они только смотрели, по какой голой спине пора щелкнуть.

Все томились и задыхались в парном вонючем воздухе канала. А капитана все не было.

## *16. Кормовой флаг*

Вдруг все вздрогнуло: издали послышалась труба – тонко, певуче играл рожок. Офицеры двинулись по набережной. Вдали показался капитан, окруженный пышной свитой. Впереди шли трубачи и играли сигнал.

Комит метнул глазом под тент, подкомиты зашевелились и наспех на всякий случай хлестнули по спинам ненадежных; те только ежились, но боялись шевельнуться.

Капитан приближался. Он не спеша важно выступал в середине процессии. Офицер из свиты дал знак на галеру, комит махнул музыкантам, и грянула музыка: капитан по ковру вступал на галеру.

Едва он ступил на палубу, как над кормой тяжело всплыл огромный, шитый золотом флаг. На нем был вышит мишурой и шелками герб, фамильный герб капитана, венецианского вельможи, патриция Пиетро Гальяно.

Капитан посмотрел за борт – в сонную лоснящуюся воду: золотом плянуло из воды отражение шитого флага. Полубовался. Патриций Гальяно мечтал, чтобы его слава и деньги звенели звоном по всем морям.

Он сделал строгое, надменное лицо и прошел на корму с дорогой, вызолоченной резьбой, с колонками и фигурами.

Там под трельяжем<sup>[10]</sup>, накрытым дорогим ковром, стояло его кресло. Не кресло, а трон.

Все почтительно молчали. Шиурма замерла, и голые люди, как статуи, неподвижно держали на весу тяжелые весла.

Капитан шевельнул рукой – и музыка смолкла. Кивком головы Гальяно подозвал старшего офицера. Офицер докладывал, что галера вооружена, снаряжена, что куплены новые гребцы, что провиант, вода и вино запасены, оружие в исправности. Скривано (писец) стоял сзади со списком наготове – для справок.

## *17. Шиурма*

– Посмотрим, – вымолвил командир.

Он встал с трона, спустился в свою каюту в корме и оглядел убранство и вооружение, что висело по стенам. Прошел в кают-камеру и обозрел все – и запасы и оружие. Он проверял арбалетчиков: заставлял их при себе натягивать тугой арбалет. Один арбалет он приказал тут же выбросить за борт; едва следом не полетел в воду и сам арбалетчик.

Капитан был в гневе. Все трепетали, и комит, подобострастно извиваясь, показывал капитану шиурму.

– Негр. Новый. Здоровый парень... очень даже здоровый.

Капитан поморщился:

– Негры – дрянь. Хороши первый месяц. Потом киснут идохнут. Военная галера не для тухлого мяса.

Комит опустил голову. Он купил негра по дешевке и втридорога показал цену командиру.

Гальяно внимательно рассматривал гребцов. Они сидели в обычной при гребле позе: прикованная нога опиралась на подножку, а другой ногой гребец упирался в переднюю банку.

Капитан остановился: у одного гребца дрожали руки от напряженного, застывшего усилия.

– Новый? – бросил он комиту.

– Да, да, синьор, новый, славянин. С Днепра. Молодой, сильный чело...

– Турки лучше! – оборвал капитан и отвернулся от новичка.

Грицка б никто не узнал: он был побрит – голый череп, без усов, без бороды, с клочками волос на маковке.

На цепи, как и все эти цепные люди. Он посматривал на цепочку на ноге и приговаривал про себя:

– О це ж дило! И усе через бабу... Сидю, як пес на цепочке...

Ему уже не раз попадало плетью от подкомитов, но он терпел и приговаривал:

– А усе через нее. Только не может же быть того...

Он никак не мог поверить, чтоб так оно все и осталось в этом царстве, где коки прикованы к камбузу, гребцы к палубе, где триста человек здоровых людей дрожат перед тремя плетками комитов.

А пока что Грицко держался за валец весла. Он сидел первым от борта. Главным гребцом на весле считался шестой от борта; он держался за ручку.

Это был старый каторжник. Его приговорили к службе на галере, пока не раскается: он не признавал римского папы, и за это его судили. Он уже десять лет греб и не раскаивался.

Сосед у Грицко был черный – негр. Он блестел, как глазированная посуда. Грицко о него не пачкался и удивлялся. У негра всегда был осоловелый вид, и он грустно хлопал глазами, как больная лошадь.

Негр слегка шевельнул локтем и показал глазами на корму. Комит подносил ко рту свисток.

На свист комита ответили командой подкомиты, грянула музыка, и в такт ей все двести человек согнулись вперед, даже привстали на банках.



Все весла, как одно, рванулись вперед. Гребцы приподняли вальки, и едва лопасти весел коснулись воды, как все люди дернулись, изо всей мочи потянули весла к себе, вытянув руки. Люди падали назад на свои банки, все разом.

Банки подгибались и охали. Хриплый вздох этот повторялся при каждом ударе весел. Его слышали гребцы, но не слышали те, что окружали капитанский трон. Музыка заглушала скрип банок и те слова, которыми перекидывались галерники.

А галера уже оторвалась от берега. Ее пышная корма теперь вся была видна столпившимся любопытным.

Всех восхищали фигуры греческих богов, редкой работы колонки, затейливый орнамент. Патриций Гальяно не жалел денег, и десять месяцев лучшие художники Венеции работали над носовой фигурой и разделкой кормы.

Галера казалась живой. Длинный водяной дракон бил по воде сотней плавников.

От быстрого хода ожил тяжелый флаг и зашевелился. Он важно поворачивался и чванился золотом на солнце.

Галера вышла в море. Стало свежее. Легкий ветер тянул с запада. Но под тентом вздыхали банки, и триста голых людей сгибались, как черви, и с размаху бросались на банки.

Гребцы тяжело дышали, и едкий запах пота носился над всей шиурмой. Теперь музыки не было, бил только барабан, чтоб давать такт гребцам.

Грицко изнемогал. Он только держался за валец весла, чтоб двигаться в такт со всеми. Но бросить, не сгибаться он не мог: задним веслом попадут по спине.

В такт барабану двигалась эта живая машина. Барабан ускорял свой бой, ускоряла работу машина, и люди начинали чаще сгибаться и падать на банки. Казалось, что барабан двигал машину, барабан гнал галеру вперед.

Подкомиты смотрели во все глаза: капитан пробовал шиурму, и нельзя было ударить в грязь лицом. Плетки ходили по голым спинам: подкомиты поддавали пару машине.

Вдруг свисток с кормы – раз и два. Подкомиты что-то крикнули, и часть гребцов сняла руки с весел. Они опустили и сели на палубу.

Грицко не понимал, в чем дело. Его сосед-негр сел на палубу. Грицко получил плеткой по спине и крепче вцепился в валец. Негр схватил его за руки и потянул вниз. А тут в спину налетел валец переднего весла и вовремя сбил Грицка наземь – комит уж нацелился плеткой.

Это капитан приказал грести четверем из каждой шестерки. Он хотел посмотреть, какой получится ход, когда треть команды отдыхает.

Теперь гребли четверо на каждом весле. Двое у борта отдыхали, опустившись на палубу. Грицко в кровь успел уже разодрать себе руки. Но у привычных галерников ладонь была, как подошва, и валец не натирал руки.

Теперь галера шла в открытом море.

Западный ветер гнал легкую зыбь и полоскал борта судна. Мокрые золоченые боги на корме блестели еще ярче. Тяжелый флаг совсем ожил и полоскался в свежем ветре: вельможный флаг расправился, размялся.

## ***18. Правым галсом***

Комит коротко свистнул.

Барабан смолк. Это командир приказал остановить греблю.

Гребцы стали втягивать весла на палубу, чтоб уложить их вдоль борта. Матросы убрали тент. Он вырывался из рук и бился на ветру. Другие полезли по рейкам: они отдавали сезни, которыми были плотно подвязаны к рейкам скрученные паруса.

Это были треугольные паруса на длинных гибких рейках. Они были на всех трех мачтах. Новые, ярко-белые. И на переднем было нашито цветное распятие, под ним три герба: папы римского, католического<sup>[11]</sup> короля и Венецианской республики. Гербы соединены были цепью. Обозначало это крепкий, нерушимый боевой союз трех государств против неверных, против сарацин, мавров, арабов, турок.

Туго расправились на ветре паруса. На свободном углу паруса была веревка – шкот. За нее тянули матросы, и капитан давал приказание, как натянуть: от этого зависит ход судна. Матросы знали свои места, каждый знал свою снасть, и они бросились исполнять

приказание капитана. Наступали на измученных гребцов, как на кладь.

Матросы были наемные добровольцы; в знак этого у них оставляли усы. А галерники были каторжники, рабы, и матросы их топтали.

Галера накренилась на левый борт и плавно скользила по зыби. После барабана, стона банок, шума весел спокойно и тихо стало на судне. Гребцы сидели на палубе, опершись спиной о банки. Они вытянули набухшие, затекшие руки и тяжело дышали.

Но за плеском зыби, за говором флагов, что трепались на ноках рейков, не слышали синьоры на корме под трельяжем говорка, смутного бормотанья, как шум, и ровного, как прибой. Это шиурма от весла к веслу, от банки к банке передавала вести. Они облетали всю палубу, от носа к корме, шли по левому борту и переходили на правый.

## *19. Комиты*

Подкомиты не видели ни одного раскрытого рта, ни одного жеста: усталые лица с полуоткрытыми глазами. Редко кто повернется да звякнет цепочкой.

У подкомитов зоркий глаз и тонкое ухо. Им слышалось среди глухого бормотанья, звяканья цепей, плеска моря – им слышался звук, будто крысы скребут.

«Тихо на палубе, осмелели проклятые!» – думал подкомит и прислушивался – где?

Грицко оперся о борт и свесил меж колен бритую голову с клочком волос на макушке. Поматывая головой, думал о гребле и приговаривал про себя:

– Ще раз так, то я вже сдохну.

Негр отвернулся от своего соседа-турка и чуть не упал на Грицка. Придавил ему руку. Казак хотел ее высвободить. Но негр крепко ее зажал, и Грицко почувствовал, что ему в руку суют что-то маленькое, твердое. Потом разобрал – железка.

Негр глянул полуоткрытым глазом, и Грицко понял: и бровью моргнуть нельзя.

Взял железку. Тихонько пощупал – зубатая.

Пилка!

Маленький жесткий зубатый кусочек. Грицка в пот бросило. Задыхал сильнее. А негр закрыл совсем глаза и еще больше навалился своим черным скользким телом на Грицкову руку.

Подкомиты прошли, остановились и внимательно посмотрели на изнеможенного негра. Грицко замер. Он весь обвис от страха и хитрости: пусть думают, что он едва жив, до того утомился.

Комиты говорили, а Грицко ждал: вдруг бросятся, поймают на месте.

Он не понимал, что они говорили про неудачно купленного негра.

– Лошадь, настоящая лошадь, а сдохнет. От тоски они дохнут, каналы, – говорили подкомиты. Они прошли дальше, на бак: там их ждал обед.

Загорелая голая нога просунулась осторожно между Грицком и негром.

Казак обиделся:

«Тисно, а вин ще пхається».

Нога зашевелила пальцами.

«Ще дразниться!» – подумал Грицко.

Хотел толкнуть ногу в намозоленную подошву. А нога снова нетерпеливо, быстро зашевелила пальцами.

Негр приоткрыл глаз и взглядом указал на ногу. Грицко понял. Он устало переменил позу, навалился на эту голую ногу и засунул между пальцев этот обгрызок пилки.

Негр не шелохнулся. Не двинулся и Грицко, когда нога протянулась назад к соседям.

Порыв веселого ветра набежал на галеру, а с ним зыбина увесисто шлепнула в правый борт. Брызгами обдало по голым телам.

Люди дернулись и звякнули цепями. И в этом шуме Грицко ясно услышал, как шелестом долетел до него звук:

– Якши?<sup>[12]</sup>

Первое слово, что понял Грицко на галере. Дрогнул, обрадовался. Родными слова показались. Откуда? Поднял глаза, а это турок, что облокотился о черного негра, скосил глаза и смотрит внимательно, серьезно.

Чуть не крикнул казак во всю плотку от радости:

– Якши! Якши!

Да спохватился. И ведь знал-то всего три слова: урус<sup>[13]</sup>, якши да алла<sup>[14]</sup>. И когда опять зашлепали на палубе матросы, чтобы подобрать шкоты, Грицко успел прохрипеть:

– Якши, якши!

Турок только глазами метнул.

Это ветер «зашел» – стал больше дуть с носу. Галера подобрала шкоты и пошла круче к ветру.

Все ждали, что синьор Пиетро Гальяно повернет назад, чтоб до захода солнца вернуться в порт. Осмотр окончен. Никто не знал тайной мысли капитана.

## 20. Поход

Капитан отдал приказание комиту. Тот передал его ближайшим к корме гребцам, «загребным», они передали следующим, что держали весла за рукоятку, и команда неслась вдоль галеры к баку по этому живому телефону.

Но чем дальше уходили слова по линии гребцов, тем все больше и больше прибавлялось слов к команде капитана, непонятных слов, которых не поняли б и подкомиты, если б слышали. Они не знали этого каторжного языка галерников.

Капитан требовал, чтоб к нему явился из своей каюты священник. А шиурма прибавляла к этому свое распоряжение.

– Передавай ее дальше, на правый борт.

Слова относил ветром, и слышал их только сосед.

Скоро по средним мосткам затопал, подбирая сутану<sup>[15]</sup>, капеллан. Он спешил и на качке нетвердо ступал по узким мосткам и, балансируя свободной рукой, размахивал четками.

– Отец! – сказал капитан. – Благословите оружие против неверных.

Свита переглянулась.

Так вот отчего галера шпарит правым галсом вкрутую уже три часа кряду, не меняя курса!

Поход!

На свой риск и страх. Партизанский подвиг затеял Гальяно.

– Неверные, – продолжал капитан, – овладели галерой патриция Рониеро. Генуэзские моряки не постыдились рассказать, что это было на их глазах. Должен ли я ждать благословения Совета?

На баке толпились уже вооруженные люди в доспехах, с мушкетами, копьями, арбалетами. Пушкари стояли у носовых орудий.

Капеллан читал латинские молитвы и кропил пушки, мушкеты, арбалеты, спустился вниз и кропил камни, которые служили вместо ядер, глиняные горшки с огненным составом, шарики с острыми шипами, которые бросают при атаке на палубу врагам. Он только остерегся кропить известь, хотя она и была плотно укупорена в засмоленных горшках.

Шиурма знала уже, что это не проба, а поход.

Старый каторжник, что не признавал папы римского, что-то шепнул переднему гребцу. И пока на баке все тянули в голос «Те деум», быстро, как ветер бежит по траве, зашелестели слова от банки к банке. Непонятные короткие слова.

## *21. Свежий ветер*

Ветер, все тот же юго-западный ветер, дул весело и ровно. Начал играючи, а теперь вошел в силу, гнал бойкую зыбь и плескал в правую скулу галеры.

А галера рылась в зыбь, встряхивалась, отдувалась и рвалась вперед, на другой гребень.

Поддает зыбь, блестят брызги на солнце и летят в паруса, обдают людей, что столпились на баке.

Там солдаты с подкомитом говорили про поход. Никто не знал, что затеял Пиетро Гальяно, куда он ведет галеру.

Всем выдали вина после молебна; тревожно и весело было людям.

А на юте, под трельяжем, патриций сидел на своем троне, и старший офицер держал перед ним карту моря. Комит стоял поодаль у борта и старался уловить, что говорит командир с офицером. Но комит стоял на ветру и ничего не слышал.

Старый каторжник знал, что Гальяно здесь врага не встретит. Знал, что такой погодой они к утру выйдут из Адриатики, а там... Там пусть только нападут...

Матросы разносили суп гребцам. Это были вареные фиги, и там плавало сверху немного масла. Суп давали в море через день – боялись, чтоб еда не отяготила гребцов на их тяжелой работе. Негр не ел – он тосковал на цепи, как волк в клетке.

К вечеру ветер спал, паруса обессиленно повисли. Комит свистнул.

Матросы убирали паруса, лазая по рейкам, а гребцы взялись за греблю.

## 22. На юте

И опять барабан забил дробь – четко, неумолимо отбивал он такт, чтобы люди бросались вперед и падали на банки. И опять все триста гребцов, как машина, заработали тяжелыми, длинными веслами.

Негр вытягивался всей тяжестью на весле, старался, даже скалился. Пот лил с него, он блестел, как полированный, и банка под ним почернела – промокла. То вдруг силы оставляли этого громадного человека, он обмякал, обвисал и только держался за валеk слабыми руками, и пятеро товарищей чувствовали, как тяжело весло: грузом висело черное тело и мешало грести.

Старый каторжник плянул, отвернулся и еще сильнее стал налегать на ручку.

А негр водил мутными глазами по сторонам – он уже ничего не видел и собирал последнюю память. Память обрывалась, и негр уж плохо понимал, где он, но все же в такт барабану сгибался и тянулся за вальком весла.

Вдруг он пустил руки: они сами разжались и выпустили валеk.

Негр рухнул спиной на банку и скатился вниз. Товарищи посмотрели и скорей отвернулись: они не хотели глядеть на него, чтобы не обратить внимания подкомитов.

Но разве что укроется от подкомита?

Уже двое с плетью бежали по мосткам: они увидели, что пятеро гребут, а шестого нет на Грицковой банке. Через спины людей подкомит хлестнул негра. Негр слабо дернулся и замер.

– А, скотина! Валяться? Валяться? – шипел подкомит и со злостью, с яростью хлестал негра.

Негр не двигался. Мутные глаза остановились. Он не дышал.

Комит с юта острым глазом все видел. Он сказал два слова офицеру и свистнул.

Весла стали.

Галера с разгону шла вперед, шумела вода под форштевнем.

Комит пошел по мосткам, подкомиты пробирались между банок к негру.

– Что? Твой негр! – крикнул вдогонку комиту Пиетро Гальяно.

Комит повел лопатками, как будто камнем ударили в спину слова капитана, и ускорил шаги.

Он вырвал плеть у подкомита, сжал зубы и изо всей силы стал молотить плеткой черный труп.

– Сдох!.. Сдох, дьявол! – злился и ругался комит.

Галера теряла ход. Комит чувствовал, как зреет на юте гнев капитана. Он спешил.

Каторжный кузнец уже возился около ноги покойного. Он заметил, что цепочка надпилена, но смолчал. Гребцы смотрели, как подкомиты поднимали и переваливали через борт тело товарища. Комит последний раз изо всей злой силы резнул плетью по мертвому телу, и с шумом плюхнуло тело за борт.

Стало темно, и на корме зажгли над трельяжем фонарь, высокий, стройный, в полчеловеческого роста фонарь, разукрашенный, с завитками, с фигурами, с наядами на подножке. Он вспыхнул желтым глазом через слюдяные стекла.

Небо было ясное, и теплым светом горели звезды – влажным глазом смотрели с неба на море.

Из-под весел белой огненной пеной подымалась вода – это горело ночное море, и смутным, таинственным потоком выбегала в глубине струя из-под киля и вилась за судном.

Гальяно пил вино. Ему хотелось музыки, песни. Хорошо умел петь второй офицер, и вот Гальяно приказал замолчать барабану. Комит свистнул. Дробь оборвалась, и гребцы подняли весла.

Офицер пел, как певал он дамам на пиру, и все заслушались: и галерники, и свита, и воины. Высунулся из своей каюты капеллан, вздыхал и слушал грешные песни.

Под утро побежал свежий трамонтан и полным ветром погнал галеру на юг. На фордевинд шла галера, откинув свой косой фок



направо, а грот – налево. Как бабочка распустила крылья.

Усталые гребцы дремали. Гальяно спал в своей каюте, и над ним покачивалось на зыби и говорило оружие. Оно висело на ковре над койкой.

Галера вышла в Средиземное море. Вахтенный на мачте осматривал горизонт.

Там, на верхушке, мачта распускалась, как цветок, как раструб рога. И в этом раструбе, уйдя по плечи, сидел матрос и не спускал глаз с моря.

И вот за час до полудня он крикнул оттуда:

– Парус! – и указал на юг прямо по курсу корабля.

Гальяно появился на юте. Проснулись гребцы, зашевелились на баке солдаты.

### 23. Саэта

Корабли сближались, и теперь все ясно видели, как, круто вырезаясь против ветра в бейдевинд, шел сарацинский корабль – саэта, длинная, пронзительная, как стрела.

Пиетро Гальяно велел поднять на мачте красный флаг – вызов на бой.

Красным флагом на рейке ответила сарацинская саэта – бой принят.

Пиетро Гальяно велел готовиться к бою и спустился в каюту.

Он вышел оттуда в латах и шлеме, с мечом на поясе. Теперь он не садился в свое кресло, он ходил по юте – сдержанно, твердо.

Он весь напрягся, голос стал звончей, верней и обрывистой. Удар затаил в себе командир, и все на корабле напряглись, приготовились. Из толстых досок городили мост. Он шел посередине, как пояс, от борта к борту над гребцами. На него должны забраться воины, чтоб оттуда сверху разить сарацин из мушкетов, арбалетов, сыпать камнями и стрелами, когда корабли сцепятся борт о борт на абордаж.

Гальяно метился, как лучше ударить в неприятеля.

На саэте взяли за весла, чтоб лучше управляться, – трудно идти вкрутую против ветра.

## 24. «Снаветра»

А Гальяно хотел подойти «снаветра», чтоб по течению ветра сарацины были ниже его.

Он хотел с ходу ударить саэту в скулу острым носом, пробить, с разгону пройтись по всем ее веслам с левого борта, поломать их, своротить, сбросить гребцов с банок и сразу же засыпать врага стрелами, камнями, как ураган, обрушиться на проклятых сарацин.

Все приготовились и только изредка шепотом переговаривались отрывисто, крепко.

На шиурму никто не глядел, о ней забыли и подкомиты.

А старому каторжнику на каторжном языке передавали:

– Двести цепочек!

А он отвечал:

– По моему свистку сразу.

Казак взглядывал на старика, не понимал, что затевают и когда надо. Но каторжник отворачивал лицо, когда Грицко не в меру паялился.

На баке уже дымились фитили. Это приготовились пушкари у заряженных орудий. Они ждали – может быть, ядрами захочет встретить командир неприятельскую саэту.

Начальник мушкетеров осмотрел стрелков. Оставалось зажечь фитили на курках. Надавят мушкетеры крючок, и фитили прижмутся к затравкам<sup>[16]</sup>. Тогдашние тяжелые мушкеты палили, как ручные пушки.

Саэта, не меняя курса, шла навстречу венецианцам. Оставалось минут десять до встречи.

Десять стрелков пошли, чтоб взобраться на мост.

И вдруг свист, резкий, пронзительный, разбойничий свист резанул уши.

Все обернулись и обомлели.

Каторжная шиурма встала на ноги. Если б деревянная палуба стала вдруг дыбом на всем судне, не так бы изумилась команда. И солдаты минуту стояли в ужасе, как будто на них неслось стадо мертвецов.

Люди дергали своими крепкими, как коренья, руками надпиленные цепи. Рвали, не жалея рук. Другие дергали прикованной ногой. Пусть нога прочь, но оторваться от проклятой банки.

Но это была секунда, и двести человек вскочили на банки.

Голые в рост, они побежали по скамьям, с воем, с звериным ревом. Они лязгали обрывками цепей на ногах, цепи бились на бегу по банкам. Обгорелые, черные, голые люди с озверелыми лицами прыгали через снасти, опрокидывали все по дороге. Они ревели от страха и злобы. С голыми руками против вооруженных людей, что стояли на баке!

Но с юта грянул выстрел. Это синьор Гальяно вырвал мушкет у соседа, выпалил. Выпалил в упор по наступающим на него галерникам. Вырвал из ножен меч. Лицо перекошилось от бешенства.

– Проклятые изменники! – хрипел Гальяно, махал мечом, не подпуская к трельяжу. – Сунься!

Выстрел привел в память людей на баке. Из арбалетов полетели стрелы.

Гребцы падали.

Но те, кто рвался на бак, ничего не видели: выли звериным голосом, не слышали выстрелов, неудержимо рвались вперед, наступали на убитых товарищей и лезли ревушей тучей. Они бросались, хватали голыми руками мечи, лезли на копья, падали, а через них прыгали задние, бросались, душили за горло солдат, впивались зубами, рвали и топтали комитов.

Пушкири, не зная для чего, выпалили в море.

А галерники сталкивали солдат с борта, другие, обезумевшие, топтали и коверкали убитых солдат. Мавр огромного роста крушил обломком арбалета все кругом – и своих и чужих.

А на юте, у трельяжа, синьор Гальяно рванулся вперед на галерников. Поднял свой меч, и люди на минуту стали: бешеных, цепных людей остановила решимость одного человека.

Но не успели офицеры поддержать своего синьора: старый каторжник бросился вперед, головой ударил командира, и вслед за ним голая толпа залила трельяж с воем и ревом.

Двое офицеров сами бросились в воду. Их утопили тяжелые латы.

А галера без рулевого стала в ветер, и он трепал, полоскал паруса, и они тревожно, испуганно бились.

Хлопал и бормотал над трельяжем тяжелый штандарт Пиетро Гальяно. Синьора уже не было на судне – его сбросили за борт.

Комита люди, сорвавшиеся с цепи, разорвали в клочья. Галерники рыскали по судну, выискивали притаившихся в каютах людей и били без разбора и пощады.

## *25. Оверштаг*

Сарацины не понимали, что случилось. Они ждали удара и удивлялись, почему нелепо дрейфует, ставши в ветер, венецианская галера.

Военная хитрость? Сдача?

И саэта сделала поворот, оверштаг, и направилась к венецианской галере.

Сарацины приготовили новое оружие. Они насажали в банки ядовитых отвратительных змей и этими банками готовились закидать неприятельскую палубу.

Венецианская шиурма была почти вся из моряков, взятых с мавританских и турецких судов; они знали парусное дело и повернули галеру левым бортом к ветру. Левым галсом пошла навстречу сарацинам венецианская галера под командой турка, Грицкова соседа. Старого каторжника зарубил синьор Гальяно, и он лежал под трельяжем, уткнувшись лицом в окровавленный ковер.

Флаг Гальяно шумел по-прежнему на ветру на крепком флагштоке. Сарацины видели кормовой флаг на своем месте – значит, венецианцы не сдаются, идут на них.

Сарацины приготовили железные крючья, чтоб сцепиться борт о борт. Они шли под парусами правым галсом навстречу галере.

Но вот на трельяж влез голый человек, черный и длинный. Он поймал вьющийся штандарт за угол, а тот бился и вырывался у него из рук, как живой.

Это великан мавр решил сорвать кормовой флаг. Он дергал. Флаг не поддавался. Он рванул, повис на нем – затрещала дорогая парча, флаг сорвался и вместе с мавром полетел за борт.

Все турки из шиурмы собрались на баке; они кричали по-арабски сарацинам, что капитана нет, нет солдат, что они, галерники, сдают

судно.

Рулевой приводил к ветру. Передний парус, фок, подтянули шкотом так, что он стал против ветра и работал назад, а задний, грот, вытянули шкотом втугую, и он слабо работал вперед.

Галера легла в дрейф.

Она едва двигалась вперед и рыскала, то катясь под ветер, то выбегая на ветер. Осторожно подходили к ней саранцы, все еще не доверяя.

Мало ли хитростей в морской войне!

Оружие было наготове.

Турки клялись аллахом и показывали порванные цепи.

Сарацины стали борт о борт и взошли на палубу.

## **26. В дрейф**

Это были марокканские арабы. Они были в красивых чеканной работы шлемах и латах – в подвижных, легких чешуйчатых латах. В этой броне они ловко и гибко двигались и блестели чешуей на солнце, как змеи. Убитые галерники валялись среди окровавленных банок, многие так и оставались на цепи, простреленные пулями и стрелами солдат.

Мавры-галерники наспех объясняли землякам, что случилось. Они говорили все сразу.

Сарацинский капитан все уже понял. Он велел всем молчать.

Теперь, после гама и рева, первый раз стало тихо, и люди слышали море, как оно билось между бортами судов.

Галера осторожно продвигалась вперед, лежа в дрейфе, ждала своей участи, и только чуть полоскал на ветру уголок высокого паруса.



Сарацинский капитан молчал и обводил глазами окровавленную палубу, убитых людей и нежные белые крылья парусов. Галерники смотрели на сарацина и ждали, что он скажет. Он перевел глаза на толпу голых гребцов, посмотрел с минуту и сказал:

– Я даю свободу мусульманам. Неверные пусть примут ислам. Вы подняли руку на врагов, а они на своих.

Глухой ропот прошел по голой толпе.

Турок, Грицков сосед, вышел, стал перед сарацинским капитаном, приложил руку ко лбу, потом к сердцу, набрал воздуха всей грудью, выпустил и снова набрал.

– Шейх! – сказал турок. – Милостивый шейх! Мы все – одно. Шиурма – мы все. Зачем одним свобода, другим нет? Они все наши враги были, эти, которых мы убили. А мы все на одной цепочке были, одним веслом гребли, и правоверные и неверные. Одной плеткой нас били, один хлеб мы ели, шейх. Вместе свободу добывали. Одна пусть судьба наша будет.

И опять стало тихо, только вверху, как трепетное сердце, бился легкий парус.

Шейх смотрел в глаза турку, крепко смотрел, и турок уперся ему в глаза. Смотрел, не мигая, до слез.

И все ждали.

И вдруг улыбнулся сарацин.

– Хорошо ты сказал, мусульманин. Хорошо! – Показал рукой на убитых и прибавил: – Смешалась ваша кровь в бою. Будет всем одно. Убирайте судно.

Он ушел, перескочил на свою саэту.

Все завопили, загомонили и не знали, за что приняться.

Радовались, кто как умел: кто просто махал руками, кто дубасил до боли кулаком по борту галеры, другой кричал:

– Ий-алла! Ий-алла!

Сам не знал, что кричал, и не мог остановиться.

Грицко понял, что свобода, и орал вместе со всеми. Он кричал в лицо каждому:

– А я ж казав! А я ж казав!

Первый опамятовался Грицков турок. Он стал звать к себе людей. Он не мог их перекричать и манил руками. Турок показывал на раненых.

И вдруг гомон стих.

Шиурма принялась за дело. С сарацинской саэты пришли на помощь. Отковали тех, кто не успел перепилить цепи и остался у своей банки.

Когда взяли тело старого каторжника, все притихли и долго смотрели в мертвое лицо товарища – не могли бросить в море. Сарацины его не знали. Они подняли его. Зарычала цепочка через борт, загремела, и приняло море человека.

И все отвернулись от борта. Шепотом говорили на своем каторжном языке и мыли кровавую палубу.

Теперь флаг с полумесяцем развевался на мачте. Галера послушно шла в кильватер сарацинской саэте.

Сарацинский моряк теперь вел венецианскую галеру в плен к африканским берегам.

Толпа стояла на берегу, когда в залив влетела полными парусами ловкая саэта. За ней шла, не отставая, как за хозяином, в свой плен галера с затейливо разубранной кормой, в белых нарядных парусах на гибких рейках.

Саэта стала на якорь, и галера следом за ней стала в ветер и тоже отдала якорь. Шиурма мигом сбила и убрала паруса.

На берегу поняли, что саэта привела пленницу. Толпа кричала. Народ палил в воздух из мушкетов. Странно было смотреть на эту новую, блестящую галеру, без царапинки, без следов боя и трепки – здесь, в мавританской бухте, рядом с сарацинской саэтой.

Шейх исполнил свое слово: всякий галерник волен был идти куда хочет. И Грицко долго объяснял своему турку, что он хочет домой, на Украину, на Днепр.

А турок и без слов знал, что всякий невольник хочет домой, только не мог растолковать казаку, что надо ждать случая.

Казак, наконец, понял самое главное: что не выдаст турок, каторжный товарищ, и решил: «Буду его слушать...»

И стал жить у сарацин.

В бухте стояло около десятка разных судов.

Некоторые были так ловко выкрашены голубой краской, что ленивому глазу трудно было их сразу заметить в море. Это сарацинские пикеты красили так свои фюсты, чтоб незаметно подкрадываться к тяжелым купеческим судам.

Это были маленькие галеры, ловкие, юркие, с одной мачтой. Их легко подбрасывала мелкая зыбь в бухте. Казалось, им не сидится на месте, вот-вот сорвутся, понесутся и ужалят, как ядовитое насекомое.

У бригантин форштевень переходил в острый и длинный клюв. Бригантины смотрели вперед этим клювом, как будто целились. Корма выгибалась фестонем и далеко свешивалась над водой.

Весь ют был поднят. Из портов кормовой надстройки торчали бронзовые пушки, по три с каждого борта.

Турок показывал казаку на бригантину и что-то успокоительно бормотал. Казак ничего не понимал и кивал головой: понимаю, дескать, хорошо, спасибо.



Много хотелось Грицку сказать галернику-турку, да не мог ничего и только приговаривал:

– Якши, якши.

Сидел на песке, смотрел на веселую бухту, на сарацинские суда и загадывал:

– Через год буду дома... хоть бы через два... а вдруг на рождество! – И вспомнил снег. Взял рукой горсть красноватого горячего песка, сдавил, как снежок. Не клеится. Рассыпался, как вода.

Арабы ходили мимо в белых бурнусах, скрипели черными ногами по песку. Зло посматривали на казака. А Грицко отворачивался и все смотрел на веселую бухту, навстречу ветру.

## 28. Бухта

Фелюга стояла на берегу. Кольями она была подперта в борта и сверху прикрыта парусом, чтоб не рассохлась на солнце. Спала, как под простыней. Парус навесом свешивался с борта. В тени его лежали арабы. Они спали, засунув головы под самое пузо сонной фелюги, как щенки под маткой.

А мелкий прибой играл и ворочал ракушей под берегом. Ровно и сладко.

В углу бухты мальчишки купали коней, кувыркались в воде, барахтались. Мокрые лошади блестели на солнце, как полированные. Загляделся казак на коней.

Вдруг вдали показался верховой араб в белом бурнусе, на вороной лошади. Длинный мушкет торчал из-за спины. Он проскакал мимо мальчишек, что-то им крикнул. Мальчишки мигом вскочили на коней и в карьер поскакали от берега.

Араб ехал к Грицку и по дороге что-то кричал фелюжникам.

Фелюжники проснулись, помигали со сна с минуту и вдруг вскочили, как пружины. Они мигом выбили подпорки, облепили фелюгу и с криком дернули ее к морю. Верховой осадил коня, плюнул зверем на Грицка, заорал грозно и замахнулся плеткой. Грицко встал и отбежал в сторону.

Араб пугнул его конем в два прыжка. Поднял на дыбы лошадь и повернул ее в воздухе. Ударил острыми стремями в бока и полетел

дальше. Скоро весь берег покрылся народом – белыми бурнусами, полосатыми хламидами. Бабы арабские стояли на пригорке.

Все смотрели в море.

Это сторожевые с горы дали знать, что с моря идет парус. Не сарацинский парус. Фелюга уже рыскала по бухте от судна к судну: передавала приказ шейха готовиться сняться в море.

А на берегу зажгли костер.

Какая-то старая, высохшая женщина стояла у костра и держала за крылья петуха.

Петух перебирал в воздухе лапами и стеклянными глазами смотрел на огонь.

Старуха раскачивалась и что-то бормотала.

Грудь до самого пояса была вся в толстых бусах, в монетах, в раковинах. Бусы переливчато бренчали, тоже говорили.

Народ стоял кружком и молчал.

Старуха кинула в огонь ладану, и сладкий дым понесло ветром вбок, где за мысом синело яркой синью Средиземное море.

Старухе подали нож. Она ловко отхватила петуху голову и бросила ее в огонь.

Все отошли: теперь начиналось самое главное.

Петуха общипывала старуха и проворно работала черными костлявыми пальцами и пускала перья по ветру.

Теперь все смотрели, куда полетят петушьи перья. Перья летели по ветру: они летели к мысу, летели к Средиземному морю.

Значит, удача.

И шейх дал приказ фюстам выйти в море.

Полетели бы перья в аул – сарацины остались бы в бухте.

Арабы бросились к фелюгам.

А женщины остались со старухой у костра, и она еще долго бурливо гремела бусами и бормотала нараспев старинные заклинания.

Две фюсты первые вырвались в море.

Они пошли в разведку с темными парусами на мачтах.

Их скоро не стало видно: они как растворились в воздухе.

Бригантины на веслах выгребались из залива.

Грицко влез на пригорок и следил за сарацинскими судами и европейским парусом.

Парус шел прямо к бухте – спокойно и смело.

## 29. Славянский неф

Грицков турок нашел своего товарища. Он тянул Грицка вниз на берег и что-то серьезно и тревожно говорил. Все повторяли одно, но казак ничего не понимал. Однако пошел за турком – он ему верил: крепко каторжное слово.

Это сарацины собрали всех христиан в кружок, чтобы все на глазах были, чтоб не давали своим сигналов. Пересчитали и хватились Грицка.

Христиане сидели в кружке на берегу, а вокруг стояли сарацины с копьями. Турок привел казака и сам остался в кружке. Грицко осмотрелся – вся шиурма была тут: мусульмане-галерники не хотели покидать товарищей. Они сидели впереди и коротко переругивались со стражей.

Но вот все поднялись, засуетились.

В бухту вернулась бригантина. Она вошла и отдала якорь на своем месте. Скоро весь сарацинский флот был в бухте.

Неужели отступили, спрятались в бухту от одного корабля?

Но вот в проходе появился высокий корабль. Он тяжело, устало входил в бухту под одним парусом. Осторожно пробирался в чужом месте далекий путник.

Стража разошлась. Галерники разбрелись. Казак не понимал, что случилось. Решил, что христиане сдались без боя.

Дюжина фелюг обступила корабль. Все старались пробиться к борту.

Турок, увязая ногами в песке, бежал к Грицку и что-то кричал. Он улыбался всеми зубами, кричал изо всей силы Грицку в ухо отдельно, чтоб понял казак. И все смеялся, весело, радостно. Наконец шлепнул Грицка по спине и крикнул:

– Якши, якши, урус, чек якши!

И потащил его за руку бегом к каику.

Узкий каик уже отчаливал от берега, гребцы, засучив шаровары, проводили каик на глубокое место. Их обдавало по грудь зыбью, каик вырывался, но люди смеялись и весело кричали.

На крик турка они оглянулись. Остановились. Закивали головами.

Турок пихал Грицка в воду, торопливо толкал, показывая на каик. Грицко пошел в воду, но оглянулся на турка. Турок, высоко поднимая ноги, догнал Грицка и потащил дальше. Смеялся, скалил зубы.

Гребцы гукнули и разом вскочили с обоих бортов в узкий каик. Зыбью рвануло каик к берегу, но весла уж были на месте и дружно ударили по воде.

Прибой, играя, поставил чуть не дыбом каик. Арабы весело осклабились и налегли, так что затрещали шкармы. Каик рванулся, прыгнул на другой гребень раз и два и вышел за пену прибоя. Грицко видел, что его везут к христианскому кораблю. Прогонистый каик, как ножом, резал воду. А турок, знай, хлопал казака по спине и приговаривал:

– Якши, дели баш!

Грицко немного побаивался. Может, думают, что ему к христианам хочется: был он уж у одних. Да надеялся на каторжного товарища. Этот понимает!

По трапу влез Грицко за турком на корабль. С опаской глянул на хозяев.

Что за люди? Двое к нему подошли. Они были в белых рубашках, в широких шароварах, в кожаных постолах на ногах. Что-то знакомое мелькнуло в длинных усах и усмешке.

Они, смеясь, подошли к нему.

Турок по-своему что-то сказал им.

И вдруг один сказал, смеясь:

– Добры день, хлопче!

Казак так и обмер. Рот разинул, и дыханье стало. Если б кошка залаяла, если б мачта по-человечьи запела, не так бы он удивился.

Казак все смотрел, испуганно, как спросонья, хлопал глазами. А христианский моряк смеялся. Хохотал и турок и от радости приседал и стучал Грицка ладошкой в плечо:

– А дели, дили-сен, дели!

### *30. До хаты*

Это был славянский корабль. Он пришел к маврам с товаром издалека, с Далматского берега, из Дубровки. Небогатый был корабль

у дубровичан – из-под топора все.

И одеты хорваты-дубровичане были просто: в портах да рубахах. Пахло на судне смолой да кожей.

Не свой, чужой товар развозило по всему Средиземному морю славянское судно – ломовое судно. Как ломовые дроги, смотрело оно из-под смолы и дегтя, которым вымазали дубровичане и борта и снасти. В заплатах были их паруса, как рабочая рубаха у сносчика.

Люди на судне приветливо встретили казака, и не мог Грицко наговориться. Слушал турок непонятную славянскую речь и все смеялся, тер себе ладошками бока и скалил зубы.

Потом заговорил с хорватами по-турецки.

– Это он спрашивает, переправим ли тебя домой, – сказали Грицку хорваты и побожились турку, что поставят казака на дорогу, будет он дома.

Через год только добился казак до своих мест. Сидел на завалинке под хатой и в сотый раз землякам рассказывал про плен, про неволю, про шиурму.

И всегда кончал одним:

– Бусурманы, бусурманы... А вот на того турка я ридного брата не сменяю.

## Джарылгач

### Новые штаны

Это хуже всего – новые штаны. Не ходишь, а штаны носишь: все время смотри, чтоб не капнуло или еще там что-нибудь. Зовут играть – бойся. Из дому выходишь – разговоров этих! И еще мать выбежит и вслед кричит на всю лестницу: «Порвешь – лучше домой не возвращайся!» Стыдно прямо. Да не надо мне этих штанов ваших! Из-за них вот все и вышло.

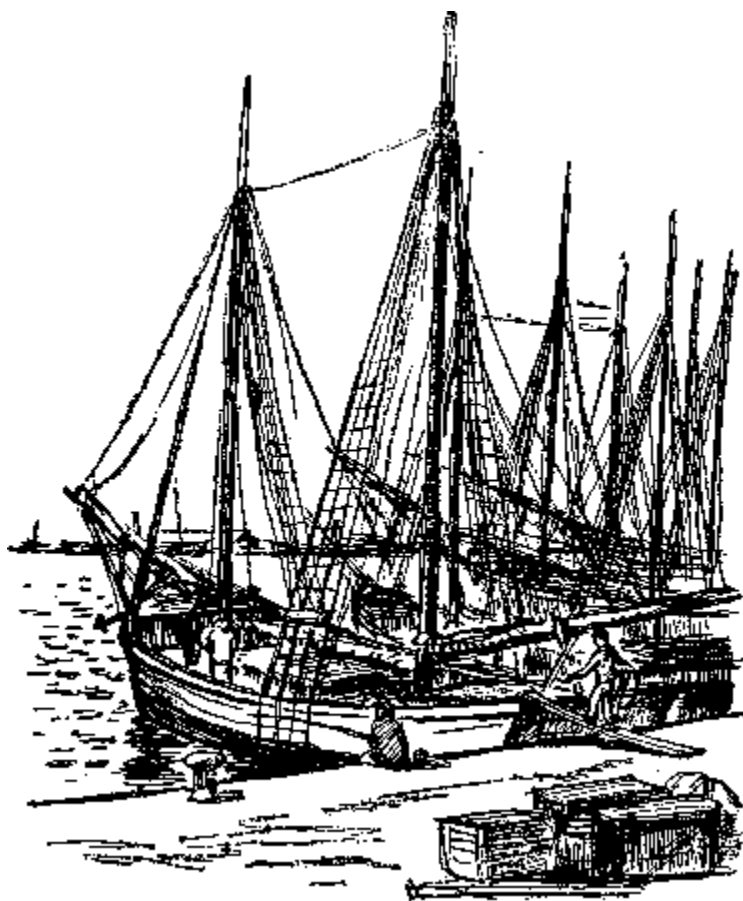
### Старая фуражка

Фуражка была прошлогодняя. Немного мала, правда. Я пошел в порт, последний уж раз: завтра ученье начиналось. Все время аккуратно, между подвод прямо змеей, чтоб не запачкаться, не садился нигде, – все это из-за штанов проклятых. Пришел, где парусники стоят, дубки. Хорошо: солнце, смолой пахнет, водой, ветер с берега веселый такой. Я смотрел, как на судне двое возились, спешили, и держался за фуражку. Потом как-то зазевался, и с меня фуражку сдуло в море.

### На дубке

Тут один старик сидел на пристани и ловил скумбрию. Я стал кричать: «Фуражка, фуражка!» Он увидал, подцепил удилицем, стал подымать, а она вот-вот свалится, он и стряхнул ее на дубок. За фуражкой можно ведь пойти на дубок? Я и рад был пойти на судно. Никогда не ходил, боялся, что заругают.

С берега на корму узенькая сходня, и страшновато идти, а я так, поскорей.



Я стал нарочно фуражку искать, чтоб походить по дубку, очень приятно на судне. Пришлось все-таки найти, и я стал фуражку выжимать, а она чуть намокла. А эти, что работали, и внимания не обратили. И без фуражки можно было войти. Я стал смотреть, как бородатый мазал дегтем на носу машину, которой якорь поднимают.

### **С этого и началось**

Вдруг бородатый перешел с кисточкой на другую сторону мазать. Увидал меня да как крикнет: «Поддай ведро! Что, у меня десять рук, что ли? Стоит, тетеря!» Я увидел ведро со смолой и поставил около него. А он опять: «Что, у тебя руки отсохнут – подержать минуту не можешь!» Я стал держать. И очень рад был, что не выгнали. А он очень спешил и мазал наотмашь, как зря, так что кругом деготь брызгал, черный такой, густой. Что ж мне, бросать, что ли, ведро было? Смотрю, он мне на брюки капнул раз, а потом капнул сразу много. Все пропало: брюки серые были.

### **Что же теперь делать?**

Я стал думать: может быть, как-нибудь отчистить можно? А в это время как раз бородатый крикнул: «А ну, Гришка, сюда, живо!» Матрос подбежал помогать, а меня оттолкнул, я так и сел на палубу, карманом за что-то зацепился и порвал. И из ведерка тоже попало. Теперь совсем конец. Посмотрел: старик спокойно рыбу ловит, – стоял бы я там, ничего б и не было.

### **Уж все равно**

А они на судне очень торопились, работали, ругались и на меня не плядели. Я и думать боялся, как теперь домой идти, и стал им помогать изо всех сил: «Буду их держаться» – и уж ничего не жалел. Скоро стал, как черт: весь перемазался, и рожу тоже. Этот, с бородой, был хозяин; Опанас его зовут.

### **Пришел третий**

Я все Опанасу помогал: то держал, то приносил, и все делал со всех ног, кубарем. Скоро пришел третий, совсем молодой, с мешком, харчи принес и сдачи. Стали паруса готовить, а у меня сердце екнуло: выбросят на берег и мне теперь некуда идти. И я стал как сумасшедший.

### **Стали сниматься**

А они уж все приготовили, и я жду, сейчас скажут: «А ну, ступай!» И боюсь глядеть на них. Вдруг Опанас говорит: «Ну, мы снимаемся, иди на берег». У меня ноги сразу ослабли. Что ж теперь будет? Пропал я. Сам не знаю, как это снял фуражку, подбежал к нему: «Дядя Опанас, – говорю, – дядя Опанас, я с вами пойду, мне некуда идти, я все буду делать». А он: «Потом отвечай за тебя». А я скорей стал говорить: «Ни отца у меня, ни матери, куда мне идти?» Божусь, что никого у меня, все вру: папа у меня – почтальон. А он стоит, какую-то снасть держит и глядит не на меня, а что Григорий делает. Серdito так.

### **Так и остался я**

Как гаркнет: «Отдавай кормовые!» Я слышал, как сходню убирают, а сам все лопочу: «Я все буду делать, в воду полезу, куда



хотите, посылайте». А Опанас как будто не слышит. Потом все стали якорь подымать машиной: как будто воду качают на носу этой самой машиной – брашпилем. Я старался изо всех сил и ни о чем не думал, только чтоб скорей отойти, только чтоб не выкинули.

### **Сказали – борщ варить**

Потом паруса стали ставить, я все вертелся и на берег не глядел, а когда плянул – мы уже идем, плавно, незаметно, и до берега далеко – не доплыть, особенно если в одежде. У меня мутно внутри стало, даже затошнило, как вспомнил, что я сделал. А Григорий подходит и так по-хорошему говорит: «А ты теперь поди в камбуз, борщ вари; там и дрова». И дал мне спички.

### **Какой такой камбуз?**

Мне стыдно было спросить, что это – камбуз. Я вижу: у борта стоит будочка, а из нее труба вроде самоварной. Я вошел, там плитка маленькая. Нашел дрова и стал разводить. Раздуваю, а сам думаю: что же это я делаю? А уж знаю, что все кончено. И стало страшно.

### **Ничего уж не поделаешь...**

Ничего, думаю, надо пока что борщ варить. Григорий заходил от плиты закуривать и говорил, когда что не так. И все приговаривает: «Да ты не бойся, чего ты трусишь? Борщ хороший выйдет». А я совсем не от борща. Стало качать. Я выплянул из камбуза – уж одно море кругом. Дубок наш прилег на один борт и так и пишет вперед. Я увидал, что теперь ничего не поделаешь. Мне стало совсем все равно, и вдруг я успокоился.

### **Поужинали и спать**

Ужинали в каюте, в носу, в кубрике. Мне хорошо было, совсем как матрос: сверху не потолок, а палуба, и балки толстые – бимсы, от лампочки закопчены. И сижу с матросами. А как вспомню про дом, и мамка и отец такими маленькими кажутся, где-то шевелятся. Все равно: и я теперь ничего не могу сделать, и мне ничего не могут. Григорий говорит: «Ты, хлопчик, наморился, спать лягай», – и показал койку.

### **Как в ящике**

В кубрике тесно, койка, как ящик, только что без крышки. Я лег в тряпье какое-то. А как прилег, слышу: у самого борта вода плещет чуть не в самое ухо. Кажется, сейчас зальет. Все боялся сначала – вот-вот брызнет. Особенно когда с шумом, с раскатом даст в борт. А потом привык, даже уютней стало: ты там плечи не плечи, а мне тепло и сухо. Не заметил, как заснул.

### **Вот когда началось-то!**

Проснулся – темно, как в бочке. Сразу не понял, где это я. Наверху по палубе топочут каблучищами, орут, и зыбью так и бьет; слышу, как уже поверху вода ходит. А внутри все судно трещит, кряхтит на все голоса. А вдруг тонем? И показалось, что изо всех щелей сейчас вода хлынет, сейчас, сию минуту. Я вскочил, не знаю, куда бежать, обо все стучаюсь, в потемках нащупал лесенку и выскочил наверх.

### **Пять саженей**

Совсем ночь, моря не видно, а только из-под самого борта зыбь бросается, как оскаленная, на палубу, а палуба из-под ног уходит, и погода ревет, воет со злостью, будто зуб у ней болит. Я схватился за брашпиль, чтоб устоять, а тут всего окатило. Слышу, Григорий кричит: «Пять саженей, давай поворот. Клади руля! На косу идем!» Дубок толчет, подбивает, шлепает со всех сторон, как оплеухами, а он не знает, как и повернуться, – и мне кажется, что мы на месте стоим и еще немного, и нас забьет эта зыбь.

### **Поворот**

Пусть куда-нибудь поворот, все равно, только здесь нельзя. И я стал орать: «Поворот, поворот! Пожалуйста, дяденьки, миленькие, поворот!» Моего голоса за погодой и не слышать. А Опанас охрип, орет с кормы: «Куда, к чертям, поворот, еще этим ветром пройдем!» Еле через ветер его слышно. Григорий побежал к нему. А я стою, держусь, весь мокрый, ничего уже не понимаю и только шепчу: «Поворот, поворот, ой, поворот!»

### **Сели**

Думаю: «Григорий, Гришенька, скажи ему, чтоб поворот». И так я Григория сразу залюбил. Как он борщ-то мне помогал! Слышу обрывками, как они на корме у руля ругаются. Я хотел тоже побежать просить, чтоб поворот. Не дошел – так зыбью ударило, что хватился за какой-то канат, вцепился и боюсь двинуться. Не знаю уже, где паруса, где море и где дубок кончается. Слышу, Григорий кричит, ревет прямо: «Не видишь, толчая какая, на мель идем!» И вдруг как тряханет все судно, что-то затрещало, – я с ног слетел. На корме закричали, Григорий затопал по палубе. Тут еще раз ударило об дно, и дубок наклонился. Я подумал: теперь пропали.

### **Стало светать**

Григорий кричит: «Было б до свету в море продержаться! Вперлись в Джарылгач в самый. Еще растолчет нас тут до утра!» А тут опять дубок наш приподняло, стукнуло об дно; он так весь и затрепетал, как птица. А зыбь все ходит и через палубу. Я все ждал, когда тонуть начнем. А тут Григорий на меня споткнулся, поднял на ноги и говорит: «Иди в кубрик; не бойся: мы под самым берегом». Я сразу перестал бояться. И тут заметил, что стало светать.

### **Второй Джарылгацкий знак**

Я залез в кубрик. Пощупал – сухо. Судно не качало, а оно только вздрагивало, как даст сильно зыбью в борт, – как будто раненое и умирает. Я вспомнил про дом: черт бы с ними, с брюками, головы бы не сняли, а теперь вот что. А наверху, слышу, кричат: «Я ж тебе говорил – под второй Джарылгацкий и выйдем». Я забился в койку и решил, что буду так сидеть, пусть будет что будет. Что-нибудь же будет?

### **Берег**

А наверху погода ревет, и каблуки топают. Слышу, по трапу спускаются, и Григорий кричит: «Эй, хлопчик, как тебя? Воды нема в кубрике?» Я думал – ему пить, и стал руками шарить. А он где-то впереди открыл пол и, слышу, щупает. Я опять испугался: значит, течь может быть. Григорий говорит: «Сухо». Я выплянул из койки в люк; мутный свет видно, и как будто все сразу спокойней стало: это от свету. Я выскочил за Григорием на палубу. Море желтое и все в белой

пене. Небо наглухо серое. А за кормой еле виден берег – тонкой полоской, и там торчит высокий столб.

### **Вывернуться!**

Ветром обдувало, я весь мокрый, и у меня зуб на зуб не попадал. Опанас тычет Григорию: «Если бы за знак закрепить да взять конец на тягу, вывернулись бы и пошли». А Григорий ему: «Шлюпку перекинет, вон какие зыба под берегом лопаются, плыть надо». Опанас злой стоит, и ему ветром бороду треплет, страшный такой. Посмотрел на меня зверем: «Вот оно, кричал тогда, дурак: „В воду, я хоть в воду“, – вот все через тебя. Лезь вот теперь за борт!» Мне так захотелось на берег, и так страшно Опанаса стало, что я сказал: «Я и поплыву, я ничего». Он не слышал за ветром и заорал на меня: «Ты что еще там?» У меня зубы трясутся, а я все-таки крикнул: «Я на берег»...

### **С борта**

Опанас кричит: «Плыви, плыви! Возьмешь не знай кого, через тебя все и вышло. Полезай!» Григорий говорит: «Не надо, чтоб мальчик. Я поплыву». А Опанас: «Пусть он, он!» – и прямо зверем: «Звал тебя кто, черта лохматого! Пропадем с тобой, все равно за борт выкину!» Григорий ругался с ним, а я кричу: «Поплыву, сейчас поплыву». Григорий достал доску, привязал меня за грудь к доске. И говорит мне в ухо: «Тебя зыбью аккурат на Джарылгач вынесет, ты спокойно, не теряй силы». Потом набрал целый моток тонкой веревки. «Вот, – говорит, – на этой веревке пускать тебя буду. Будет плохо, назад вытяну. Ты не дрефь! А доплывешь, тяни за эту веревку, мы на ней канат подадим, закрепи за столб, за знак этот, а вывернемся, сойдем с мели, ты канат отвяжи скорей, отдай, сам хватайся за него, мы тебя на нем к себе на судно и вытянем».



Мне так хотелось на берег, казалось, совсем близко, я на воду и не глядел, только на песок, где знак этот торчал. Я полез на борт. А Гришка спрашивает: «Как звать?» А я и не знаю, как сказать, и, как в училище, говорю: «Хряпов», а потом уже сказал, что Митькой. «Ну, – говорит Григорий, – вались, Хряп! счастливо».

### **На доске**

Я бросился с борта и поплыл. Зыбь сзади накатом, в затылок мне, и вперед так и гонит; я только на берег и смотрю. А берег низкий, один песок. Как зыбью подымет, так под сердце и подкатывает, а я все глаз с берега не свожу. Как стал подплывать, вижу: ревет прибой под берегом, рычит, копает песок, все в пене. Закрутит, думаю, и убьет, прямо о песок головой. И вот все ближе, ближе...

### **Зыбь лопается**

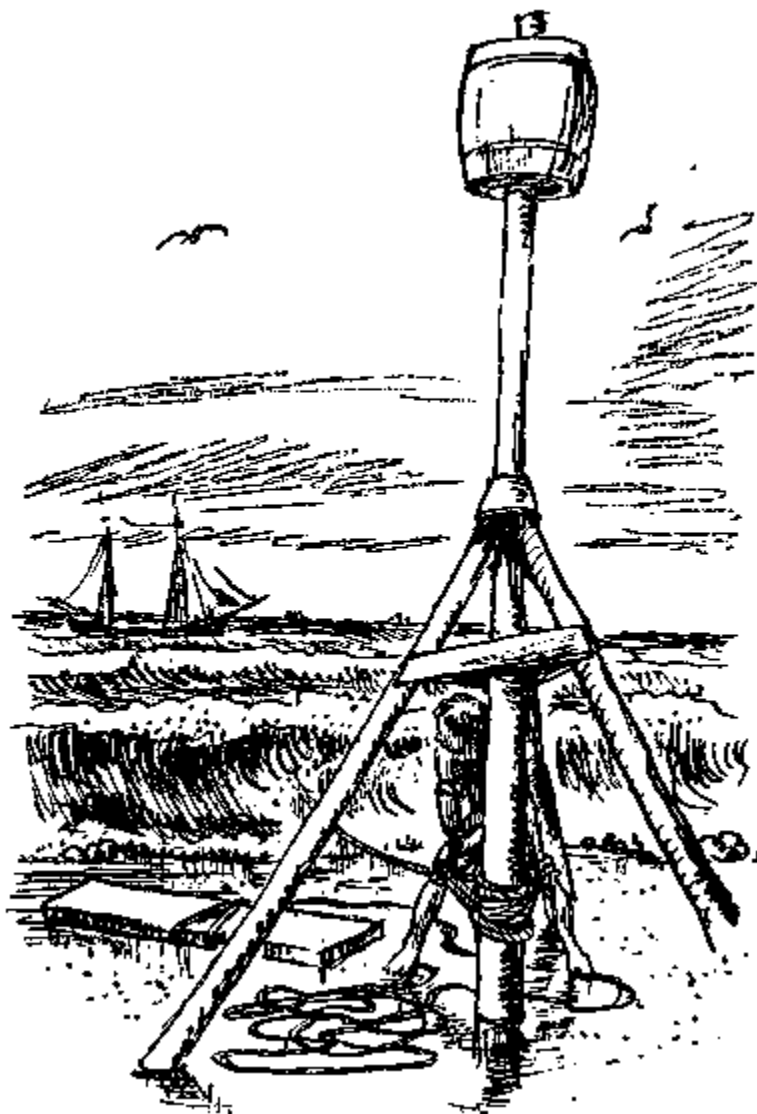
Вдруг чувствую, понесло-понесло меня на гребешке, высоко, как на руках, подняло, и сердце упало: сейчас зыбь лопнет, как трахнет об песок! Не буду живой! А тут веревка моя вдруг натянулась, и зыбь вперед пошла и без меня лопнула. И так пошло каждый раз – я догадался, что это Григорий с судна веревкой правит. Я уж песок под ногами стал чувствовать, хотел бежать, но сзади как заревет зыбь, нагнала, повалила, завертела, я песку наплотался, но на доске снова выплыл.

### **За знак**

Наконец я выкарабкался. Глянул на судно: стоит и парусами на зыби колышет, как птица подстреленная. А я так рад был, что на земле, и мне все казалось, что еще качает, что земля подо мной ходит. Я отвязался от доски и стал тянуть веревку. Знак как раз тут же был: громадный столб с укосинами, и наверху что-то наворочено вроде бочки. Я взял веревку на плечи и пошел. Ноги в песке вязнут, и во рту песок, и в глаза набило, и низом метет песком. Еле веревку вытащил... Смотрю, уж кончилась тонкая веревка, и канат пошел толстый. Я его запутал, как умел, за знак, под самый корень, и лег на песок – весь дух из меня вон, пока я тянул.

### **Вывернулись**

Знак дрогнул. Вижу – натянулся канат; я привстал. Судно повернулось, оттуда стали мне махать. Я встал и начал отпутывать канат, – здорово затянуло.



Судно пошло, канат ушел в воду, потянулась и веревка, как живая змейка, так и убегает в море.

### **Берег или море?**

Я видел, как Григорий с борта махал мне рукой, – хватайся, вытащим на веревке, – я не знал: тут остаться или к Опанасу и в море. Оглянулся – сзади пустой песок, а все-таки земля. Я думал, а веревка змейкой убегала и убегала. Вот доска дернулась и поползла. Сейчас уйдет! Я подумал: остаться, и все-таки бросился за доской в воду. Но тут зыбь ударила, я назад, а доска ушла.

### **Один**

Я видел, как доска скакала по зыби к судну, а судно уходило в море. Вот тут я схватился, что я один, и я побежал прямо прочь от берега по песку. А вдруг тут совсем никого нет и ни до кого не дойти? Я опять оглянулся – судно было совсем далеко, только паруса видно. Лежал бы теперь в койке и приехал бы куда-нибудь.

### **Стадо**

А вдаль я увидел, будто стадо. Пошел туда – ну, вот, люди, пастухи там должны быть. Боялся только, что собаки выскочат. Я перестал бежать, но шел со всех сил. Волочу ноги по песку. Когда стал подходить, вижу – это верблюды. Я совсем близко подошел – ни одной собаки нет. И людей тоже.

### **Верблюды**

Верблюды стояли как вкопанные, как ненастоящие. Я боялся идти в середину стада и пошел вокруг. А они как каменные. Мне стало казаться, что они неживые и что этот Джарылгач, куда я попал, заколдованный, и стало страшно. Я так их стал бояться, что думал: вот-вот какой-нибудь обернется, ухмыльнется и скажет: «А я...» Ух!.. Я отошел и сел на песок. Какие-то торчки растут там вроде камыша, и несет ветер песок, и песок звенит о камыш – звонко и тоненько.

А я один. И наметает, наметает мне на ноги песку. Мои брюки не узнать стало. И показалось мне, что меня замечает на этом Джарылгаче, и такое полезло в голову, что я вскочил и опять к верблюдам.

### **Избушка**

Я подошел, встал против одного верблюда. Он стоял, как каменный. Я вдруг стал кричать; что попало кричал во всю плотку. Вдруг он как шагнет ко мне! Мне так страшно стало, что я повернулся и бежать. Бежать со всех ног! Смейтесь, вам хорошо, а вот когда один... все может быть.





Я не оглядывался на верблюдов, а все бежал и бежал, пока сил хватило. И показалось мне, что нет выхода из этих песков, а верблюды здесь для страха. И тут я увидел вдали избушку. Весь страх пропал, и я пустился туда, к избе. Иду, спотыкаюсь, вязну в песке, но сразу весело стало.

### **Мертвое царство**

В избушке ставни были закрыты, а за плетнем во дворе навес. И опять нет собаки, и тихо-тихо. Только слышно, как песок о плетень шуршит. Я тихонько постучал в ставни. Никого. Обошел избушку – никого. Да что это? Кажется мне или в самом деле? И опять в меня страх вошел. Я боялся сильно стучать, – а вдруг кто-нибудь выскочит, неизвестный какой-нибудь. Пока я стучал да ходил, я не заметил, что со всех сторон идут верблюды к избушке, не спеша, шаг за шагом, как заводные, и опять мне показалось, что ненастоящие.

## **В яслях**

Я стал скорей перелезть через плетень во двор, ноги от страху ослабли, трясутся; перебежал двор, под навес. Смотрю – ясли, и в них сено. Настоящее сено. Я залез в ясли и закопался в сено, чтоб ничего не видеть. Так лежал и не дышал. Долго лежал, пока не заснул.

## **Ведро**

Просыпаюсь – ночь, темно, а на дворе полосой свет. Я прямо затрясся. Вижу, дверь в избушку открыта, а из нее свет. Вдруг слышу, кто-то идет по двору и на ведро споткнулся, и бабий, настоящий бабий голос кричит: «Угораздило тебя сослепу ведро по дороге кинуть, я-то его ищу!»

## **Домовой**

Она подняла ведро и пошла. Потом слышу, как из колодца воду достает. Как пошла мимо меня, я и пискнул: «Тетенька!» Она и ведро упустила. Бегом к двери. Потом вижу, старый выходит на порог: «Что ты, – говорит, – пустое болтаешь, какой может быть домовой! Давно вся нечисть на свете перевелась». А баба кричит: «Запирай двери, я не хочу!» Я испугался, что они уйдут, и крикнул: «Дедушка, это я, я!» Старик метнулся к двери, принес через минуту фонарь. Я вижу – фонарь так в руках и ходит.

## **Что оно такое – Джарылгач?**

Он долго подходить боялся и не верил, что я не домовой. И говорит: «Коли ты не нечистая сила, скажи, как твое имя крещеное».

«Митька, – кричу, – Митька я, Хряпов, я с судна!» Тут он только поверил и помог мне вылезть, а баба фонарь держала. Тут стали они меня жалеть, чай поставили, печку камышом затопили. Я им рассказал про себя. А они мне сказали, что это остров Джарылгач, что здесь никто не живет, а верблюдов помещицких сюда пастись приводят и только кой-когда старик их поить приезжает. Они могут подолгу без воды быть. Берег тут – рукой подать. А пошли верблюды за мной к избе потому, что подумали, что я их пить зову, они свой срок знают. Старик сказал, что деревня недалеко и почта там: завтра домой можно депешу послать.

## **Мамка**

Через день я уж в деревне был и ждал, что будет из дому. Приехала мамка и не ругала, а только все редела: поглядит и в слезы. «Я, – говорит, – тебя уж похоронила...» Ну, с отцом дома другой разговор был.

## Урок географии

На острове Цейлоне есть город и порт английский Коломбо<sup>[17]</sup>. Большой город, портовый. Превосходный порт. Огорожен каменной стеной прямо от океана – метров на тридцать. И на солнце, на тропическом, этот блеск как вскрикивает все равно. Зыбь двинет в стенку – бух, а вода взмоет в небо, будто ужаленная. А зыбь ходит, как гора, как зеленая стеклянная гора. Ее солнце сверху отвесно пронизывает, и она идет на тебя, если на пароходе, например, и вся эта прозелень насквозь светится зеленым воздухом.

Люди там живут, на этом острове, черные. Сингалезы. Они курчавые, на наших цыган похожи. И они в эту зыбь лезут на двух бревнах, прямо-таки на двух бревнах, сбитых двумя перемычками, – ну, как сани морские. Так вот на двух таких бревнах выходят под парусом в океан за рыбой. Они, конечно, не верхом на этих бревнах сидят... Нет, на одном бревне, что побольше, борта нашиты, две доски, а другое – только противовес. И под парусом такая история устилает в хороший ветерок километров по тридцать в час. А там ветер летом дует из-под Африки.

А зимой дует с берега, из Азии. Муссон этот ветер называется. Юго-западный и северо-восточный муссон. Ровный дует, как доска. До того сильный, что можно вперед наклониться и стоять, как с поддержкой. Вот он и разводит эту сумасшедшую зыбь. А сингалезы не боятся. Дуют в океан и там из глубины вот этаких рыбищ вытаскивают – во! Метровой длины.

А на острове растут пальмы. Леса пальмовые, вот как у нас сосновые. Только ствол пальмовый потоньше. И, конечно, не шишки растут там, а кокосовые орехи. Кокосовые пальмы растут.

И лезят сингалезы, как обезьяны, на этот гладкий пальмовый ствол. Обхватит руками, пальцами, ладошкой, сам сложится пополам и ногами, ступнями упрется в ствол.

Вот так и лезет сингалез. Сорвал кокос, бросает, товарищ внизу ловит. Ведь кокос весь как в чехле. На нем еще до скорлупы пальца на три обмотки. То есть, что я! Ну, будто бы волосом он упакован кругом, а сверху тонкая кожурка. И если ее содрать, то вот тогда доберешься

до скорлупы. У конца ореха три глаза, то есть дырочки, они мягким закупорены, и сингалез пальцем ткнул в одну, в другую – и готовы дырки – сует: пей.

Там сок внутри. Ух, какой освежающий! Это не березу сосать. Это он мне сок потому дал, что обрадовался, что я не англичанин. Он не здорово понял, что я русский. Может, и не знал, что такие есть. А понял только, что не англичанин, и сразу задружился. «Не англичанин? Пей, пей, пожалуйста». Я весь орех выпил. А если англичанин, он бы к нему волком. Да и понятно. Я бы на их месте бил бы их прямо в лесу этими кокосами с пальмы, с самой маковки.

Да вот, извольте: выезжаю я на шлюпке на берег. Надо лодочнику заплатить. Мелочи нет. Я говорю лодочнику: «Пойди вот к полисмену, разменяй». А полисмен ходит – здоровый дядя, плотный, прямо тучный мужчища. Тросточка бамбуковая под мышкой. Лодочник худощавый. Подходит, на ладошке мою деньгу протягивает. Полисмен из-за спины оглянулся, вытянул из-под мышки палочку – трах со всей силы по ногам лодочника моего. Он запрыгал. Подбегает ко мне. Значит, поговорил с полисменом. Я к полисмену:

– Что это за безобразие? За что человека бьете? Что, с вами говорить нельзя?

– Вам говорить можно. Пожалуйста, – и даже рукой к своему шлему притронулся. – Вам что? Разменять? Сделайте одолжение.

Взял монету и пошел к ларьку.

– По сколько вам нужно? По десяти?

Повернулся к ларечнику:

– А ну, давай по десяти!

И ларечник высыпает мелочь на прилавок – каких угодно-с! А полисмен не спеша выбирает для меня монетки почище. Потом мне вполголоса сказал:

– Нас, господин, белых, мало, а их по сто тысяч на одного англичанина приходится. Надо строго. Надо, чтобы они от одного имени английского тряслись.

Вот в маленьком фаэтончике, кабриолетике, на двух колесах, то есть в оглоблях, – там человек. Сингалез. На нем только трусики одни. А в колясочке – англичанин, туша этакая, и морда, как бифштекс. Развалился, как под ним эта колясочка не лопнет! Ножищи выпятил; на них, как копыта, ботинки с подошвой – во! – в два пальца. И

каблучища с кузнечный молот. И он этим каблучищем в худую эту черную спину тычет, подгоняет. А тот бежит, чуть язык за плечи не закинул, весь мокрый. Жарища ведь, баня. Это вот у них извозчики – рикши. Они ко мне приставали, чтобы повезти. Да не могу я на людях ездить. Черт меня побери совсем! Они все от чахотки помирают.

Есть еще колония у них, у англичан: Сингапур. Это для флота база. Вот тут малайцы живут. Желтые они. Как крашенные. Прямо удивляешься, до чего желтые. Будто желтуха у каждого. Только здесь тоже на людях ездят. Кругом рай земной. Бананы, пальмы, море. Такие цветы, как будто сплошные это оранжереи. Дай, думаю, поеду, погляжу на всю эту роскошь. Ведь вот цветы какие, с горсть. А красота вот она какая там.

Сажусь в трамвай.

– За город? – спрашиваю.

– Да, – говорят, – последняя остановка отсюда за две мили.

Трамваи открытые, лавки поперек, ступеньки с обеих сторон всю длину. Вижу, трое малайцев сидят на лавочке, как раз мне, четвертому, место есть. Сел. Хвать, малайцы снимаются, будто духу моего не выносят, и на заднюю площадку перебираются. Ну, думаю, надо им объяснить, что я не англичанин, авось не будут так ненавидеть. Оборачиваюсь, говорю громко:

– Ай эм рашен, ноу инглиш. Тэйк ёр плейс, плиз.

Это значит: «Я русский. Садитесь, пожалуйста».

Улыбаются, стоят. А я один на лавке сижу.

«Не верят», – думаю. Тут по ступенькам добирается до меня кондуктор: билет получите.

– Да, – говорю, – а почему люди ушли? Вон уж на площадке давка, – говорю. – Жара такая, пусть сядут, а то я уйду, людей спугнул.

Кондуктор объясняет:

– Правило уж такое. Желтый с белым не смеет на одной лавке сидеть.

– А мне, – говорю, – очень будет приятно. Очень прошу вас.

Кондуктор улыбается, плечами пожимает.

– Не имею права допустить нарушения, меня со службы погонят, если кто увидит.

– Мне придется, – говорю, – пешком идти: не хочу людей пугать, не желаю, чтобы из-за меня давка была.

- А вот, – говорит кондуктор, – передняя лавка свободна вовсе.
- Так чего же, – говорю, – они не сядут, а на площадке жмутся?
- Для белых эта лавка. Желтые не имеют права там сидеть.

Передняя – это чтобы продувало и от желтых духу бы не несло на господ. Нехорошо, если желтые впереди.

А сам – как лимон. Тоже малаец.

«Вот, – думаю, – тут уж довели до самой точки: не только имени, духу боятся».

Пришлось мне перебраться на переднюю лавку. Сижу, как идиот. То есть, как англичанин. И не могу я так. Хоть сходи. И вдруг выдумал: спинка-то у скамейки переворачивается, когда трамвай назад идет, все спинки переворачиваются, и все сиденья тогда плядут в другую сторону. Я перевернул спинку и сел задом по движению. И колени в колени с малайцами, что сидели на второй лавке. Я давай с ними болтать. Весь трамвай загудел. Но, вижу, улыбаются. Кондуктор не посмел ничего сказать. Видно, в правилах не было предусмотрено такого случая, как бы сказать, ну такого... бузового.

Да-с, так вот еду. Говорю: я русский и вообще черт с ними, с правилами и с англичанами.

– У нас, – говорю, – этого нет, дорогие друзья. У нас в трамвае все навалом, и будь ты малаец, или эфиоп, или, говорю, китаец – все равно. У нас, говорю, даже англичан пускают.

Они как фыркнут! Однако осторожно. Крепко у них так в головах насчет англичан завинчено.

А тут вскоре сел англичанин. Позвал кондуктора, и пришлось спинку переворачивать. Англичанин даже не взглянул на меня, сел на один край, я – на другой.

А вот еще одно английское гнездо. Тоже база. Гонконг. Тут уж китайцы. Они там все в отдельном квартале. Улочка узенькая, шагов десять ширины, и, как флаги на веревках, повешены вывески. Из материи. Живут до того скучно, что одни только двери, кажется, и есть. Стен будто совсем нет.

И валит по этой улочке полным ходом трамвай. И китайские мальчишки, как воробьи, прыскают из-под трамвая. Я прямо глаза жмурил – вот-вот задавит. Однако – никого. А улица полна народу. И за трамваем народ сейчас же смыкается, как вода.

– Что это, – спрашиваю соседа, – тесно так живут?

Сосед был голландец, он ответил:

– Места им отведено мало, а их много. Вы посмотрите их на воде.

Я пошел к воде. Правду сказать, не видать было воды. Под берегом все битком забито было китайскими шлюпками. Как мостовая. Я спросил:

– Нельзя ли покататься?

– Ах, пожалуйста! – И сейчас же меня один китаец повел через чужие шлюпки дальше и дальше по этой шлюпочной площади. Шлюпки все палубные, очень аккуратно сделаны, чистенькие. – Вот, – говорит, – это моя. – И стал подымать парус.

Я взялся за руль. Вышли мы из кучи шлюпок, все китайцы помогали, проталкивали. И надо всеми шлюпками стоит запах китайской пищи: кунжутного масла и чеснока. И у нас из люка шел тот же дух.

Тут ветерок покрепче нажал, я ногой уперся в брезент: впереди брезент пакетом лежал. Вдруг пакет зашевелился, как живой. Я даже струхнул сначала. Смотрю, из пакета – голова, круглая, как на шахматной пешке. Китайчонок. Жмурится на солнце.

– Это, – говорит хозяин, – мой сын.

Я достал две картинки от папирос, даю ему. Он взял и что-то по-китайски крикнул. И вдруг из люка – китайская девчонка. Мальчик побежал по палубе – года ему три. Я кричу: «Упадет!» Китаец мой только смеется. Мальчишка стал с девчонкой картинку делить. Я нашарил еще одну в кармане и кричу: «На еще!» Он увидел. Смотрю, вылезает еще девчонка. Я говорю хозяину:

– Сколько же у тебя их?

Полез я по палубе, заглянул в люк. Там, на дне, на циновке сидела китаянка. На руках ребенок, а перед носом жаровня, на ней она рыбу жарила. А если там на ноги встать, то ровно по пояс придется ей палуба. Жить там можно только ползком.

– А дом у вас на берегу есть?

Китаец замахал руками:

– Нас на берег не очень и пускают.

Я говорю:

– Много вас на воде?



Китаец никак не мог сказать такого числа, он по-английски не знал, как и сказать, объяснил кое-как: выходило, несколько тысяч.

– А если буря?

Китаец серьезным стал.

– Было, – говорит, – раз такое. Мы все говорим полисмену: «Надо лодки вытягивать, будет страшная буря – тайфун, нас всех в черепки переколотит». А англичане: «Нет! Не врите. Сидите, где посажены. И вот отсюда досюда ваше место». А мы бурю эту за несколько дней чувствуем и чуем, как смерть. И были все в тоске. И мы хотели пойти к начальнику. Нет, не пустили.

И вот вы представьте себе, что все китайцы со всеми этими ребятами сидели на воде и ждали смерти. И налетела эту буря – тайфун. Он обращает море в кипящий котел, он ветром срывает деревни на берегу, крыши пухом летят. Несет, как бумажки, целые ворота, скотину подымает в воздух. И тут же над головой, как из дыры в небе, льет дождь, что пригибает человека к земле. И вот такой тайфун налетел на эту плавучую деревню. Китаец не мог мне опять назвать числа, сколько пропало китайчат и больших китайцев. Все шлюпки разбило вдребезги, в щепки, растрепало по небу и по морю последние остатки. А кто выбрался на берег – ого! Тех сейчас же загнали полисмены в загон и заперли: на земле вам места нет, нечего вам тут вой подымать. И как оставшиеся китайцы потом оправались, не мог я понять. Китаец мой только говорил: «Хорошо, ух, как хорошо, что детей этих тогда не было!» Так радовался, как будто про счастье рассказывал, а не про бедствие.

– Чего ты радуешься? – говорю.

– А что они есть, – и сына за ухо подергал.

Я ему дал монету, говорю:

– Сдачи не надо. Все тебе.

Он испугался.

– Напиши, – говорит, – мне расписку по-английски, что это ты сам мне дал, а не я украл. Я боюсь, что нехорошо может быть. Полисмен...

А я говорю ему:

– К черту полисмена!

А он мне деньги назад сует: не надо, мол, никаких тогда денег. Пришлось писать. Я написал:

«Проклятые полисмены английские! Я дал этому китайцу доллар, не отнимайте у человека, что он заработал». И подписал, и свой адрес написал.

А китаец не столько доллару радовался, сколько боялся, как бы несчастья не было от такого богатства.

## Над водой

– Я так мечтала полететь к облакам, а теперь боюсь, боюсь! – говорила дама, которую подсаживал в каюту самолета толстый мужчина в дорожном пальто.

– Теперь – как по железной дороге, – утешал ее толстяк, – даже лучше: никаких стрелочников, столкновений, снежных заносов. – За ними неторопливо протискивался военный с пакетами, с толстым портфелем и с револьвером поверх шинели.

Долговязый мрачный пассажир с сердитым подозрительным видом осматривал аппарат со всех сторон, ничего не понимал, но думал, что все же надежнее, если самому посмотреть.

Он подошел к пилоту, который возился у рулей, и спросил сухим голосом:

– А скажите, в воздухе бывают бури? И эти ямы воздушные? Ведь ночью их не видать?

Пилот улыбнулся.

– Да и днем их не видно.

– А если провалимся, то?..

– Ну пролетим вниз немного, не беда, – мы высоко полетим.

– Ах, очень высоко? – вмешался молодой человек в синей кепке, тоже пассажир. – Это очень приятно! – сказал он храбро. Хотел улыбнуться, но вышло кисло. Долговязый злобно взглянул на него и ушел в каюту, где и уселся рядом с толстяком.

– Э-эй, обормоты! Не разливай бензина! – крикнул пилот мальчишкам, которые наполняли из жестянок бензинные баки.

– Ладно, черт! – сказал один из них и ловко вынул из отверстия бака сетчатый стакан, через который лился и фильтровался от сора бензин.

– Теперь ходче пойдет. Чего зря-то мерзнуть! А засорится мотор – так тебе, дьяволу, и надо, лайся больше! Сам обормотина! – вполголоса ворчал мальчишка.

Наконец все было готово, все десять пассажиров сидели по местам. Пора лететь. Механик еще раз посмотрел, все ли исправно.

– А что ж, меня-то возьмешь? – спросил механика ученик Федорчук.

– Нет, ты тут подлетивай. В большой рейс тебя не рука брать. Лучше набрать чего-нибудь, повезти продать пуда четыре.

– Так ведь какое тут ученье! Взяли бы – пригодился б, может быть.

– Какая от тебя польза, одно слово – балласт, – отрезал механик. Но пилоту стало жаль Федорчука.

– Я все равно никакой спекуляции везти не дам, чего там! Пусть учится. Одевайся – полетишь!

Федорчук бегом пустился в ангар одеваться.

Снялись.

Аппарат набирал высоты, выше и выше, шел к снежным облакам, которые до горизонта обволокли небо плотным куполом. Там, выше этих облаков, – яркое, яркое солнце, а внизу ослепительно белая пустыня – те же облака сверху.

Два мотора вертели два винта. За их треском трудно было слушать друг друга пассажирам, которые сидели в каюте аппарата. Они переписывались на клочках бумаги. Некоторые, не отрываясь, глядели в окна, другие, наоборот, старались смотреть в пол, чтобы как-нибудь не увидеть, на какой они высоте, и не испугаться, но они чувствовали, что под ними, и от этого не могли ни о чем больше думать. Дама достала книжку и, не отрываясь, в нее смотрела, но ничего не понимала.

– А мы все поднимаемся, – написал на бумажке веселый толстый пассажир, смотревший в окно, своему обалдевшему соседу.

Тот прочел, махнул раздраженно рукой, натянул еще глубже свою шляпу и ниже наклонился к полу. Толстый пассажир достал из саквояжа бутерброды и принялся спокойно есть.

А впереди у управления сидели пилот, механик и ученик. Все были тепло одеты, в кожаных шлемах. Механик знаками показывал ученику на приборы: на альтиметр, который показывал высоту, на манометры, показывавшие давление масла и бензина. Ученик следил за его жестами и писал у себя в книжечке вопросы корявыми буквами – руки были в огромных теплых перчатках. Альтиметр показывал 800 метров и шел вверх. Уже близко облака.

– А как в облаках? – писал Федорчук.

– Чепуха, увидишь, – ответил механик.

Ученик не спешил бояться, хоть никогда в облаках не был. Грешным делом, он все-таки подумывал, что непременно должно выйти что-нибудь вроде столкновения. Впереди было совсем туманно, но через минуту аппарат попал в полосу снега, который, казалось, летел не сверху, а прямо навстречу.

Снег залепил окно впереди пилота – внизу ничего не было видно. Пилот правил по компасу, но все так же забирал выше и выше. Стало темнее.

Механик написал Федорчуку:

– Мы в облаках.

Вокруг них был густой туман и стало темно, как в сумерки. Да и поздно было – оставалось полчаса до заката.

Но вот стало светлеть, еще и еще, и яркое солнце совсем на горизонте весело засверкало на залепленных снегом стеклах. Даже пассажиры, что смотрели в пол, приободрились и ожили. Сильный ветер от хода аппарата сдул налипший на стекла снег, и стало видно яркую пелену внизу до самого горизонта, как будто над бесконечной снежной равниной неся аппарат.

Пилот смотрел по часам и высчитывал в уме, где они сейчас должны были быть. Солнце зашло. Механик включил свет, и оттого в каюте у пассажиров стало уютней. Все привыкли к равномерному реву моторов и свисту ветра. В каюте было тепло, и можно было забыть, что под аппаратом полторы версты пустого пространства, что если упасть, то ворон костей не соберет, что жизнь всех – в искусстве пилота и исправной работе моторов. Многие совсем развеселились, а толстый пассажир посылал всем смешные записки.

Вдруг в рев моторов ворвались какие-то перебои. Пассажиры беспокойно переглянулись. Долговязый побледнел и в первый раз взглянул в окно: оттуда на него глянула пустая темнота, только отражение лампочки тряслось в стекле.

Но перебои прекратились, и опять по-прежнему ровным воем ревели моторы.

– Не пугайтесь, – писал толстяк, – если и станут моторы, мы спланируем.

– В море, – приписал долговязый и передал записку обратно.

Действительно, аппарат летел теперь над морем. Механик напряженно слушал рев моторов, как доктор слушает сердце больного. Он понял, что был пропуск, что, вероятно, засорился карбюратор – через него попадает бензин в мотор, а что теперь пронесло; но уже знал, что бензин не чист, и боялся, что засорится карбюратор – и станет мотор.

Федорчук спросил, в чем дело. Но механик отмахнулся и, не отвечая, продолжал напряженно прислушиваться. Ученик старался сам догадаться, отчего это поперхнулся мотор. Тысяча причин: магнето, свечи, клапана – и какой мотор, правый или левый? В каждом моторе, опять же, два карбюратора. Федорчуку тоже приходило в голову, не засорилось ли.

«Ну, подумал Федорчук, будем планировать и чиниться в воздухе».

Но ему было удивительно, почему так перепугался этот знающий механик. Такой он трус или, в самом деле, что-нибудь серьезное, чего в полете не исправить, а он, новичок, не понимает?

Но тут рев моторов стал вдвое слабее. Пилот повернул руль и выключил левый мотор. Федорчук понял, что правый стал сам.

Механик побледнел и стал качать ручной помпой воздух в бензинный бак. Федорчук сообразил, что он хочет напором бензина прочистить засорившийся карбюратор, он знал уже, что это ни к чему. Пилот кричал на ухо механику, чтобы тот шел на крыло наладить остановившийся мотор.

Альтиметр показывал 1900 метров.

А в каюте встревоженные пассажиры глядели друг другу в испуганные лица, и даже толстяк писал не совсем четко: рука его тряслась немного.

– Мы планируем, сейчас исправят мотор, и мы полетим.

Но мысленно все прибавляли: вниз головой в море.

Пассажиры не знали, на какой они высоте.

Все боялись моря внизу, и в то же время их пугала высота.

Долговязый пассажир вдруг сорвался с места и бросился к дверям каюты; он дергал ручку, как будто хотел вырваться из горящего дома. Но дверь была заперта снаружи. Дама выпустила из рук книжку, дико, пронзительно закричала. Все вздрогнули, вскочили с мест и стали бесцельно метаться.

Толстяк повторял, не понимая своих слов:

– Я скажу, чтобы летели, сейчас скажу!..

Дама повернулась к окну и вдруг мелко и слабо забарабанила кулачками по стеклу, но сейчас же упала без чувств поперек каюты.

Военный, бледный как полотно, стоял и глядел в черное окно остановившимися глазами. Колени его тряслись, он еле стоял на ногах, но не мог отвести глаз. Молодой человек в синей кепке закрыл лицо руками, как будто у него болели зубы. В переднем углу пожилой пассажир мотал болезненно головой и вскрикивал: «Га-га-га». В такт этому крику все сильнее дергалась ручка двери, и больше раскачивался молодой человек. «Га-га-га» перешло в иступленный рев, и вдруг все пассажиры завывали, застонали раздирающим хором.

А механик все возился, все подкачивал помпу, стучал пальцем по стеклу манометра. Пилот толкнул его локтем и строго кивнул головой в сторону выхода на крыло. Механик сунулся, но сейчас же вернулся – он стал рыться в ящике с инструментами, а они лежали в своих гнездах, в строгом порядке. Хватал один ключ, бросал, мотал головой, что-то шептал и снова рылся. Федорчук теперь ясно видел, что механик струсил и ни за что уж не выйдет на крыло. Пилот раздраженно толкнул механика кулаком в шлем и ткнул пальцем на альтиметр: он показывал 650.

Шестьсот пятьдесят метров до моря.

Механик утвердительно закивал головой и еще быстрее стал перебирать инструменты. Пилот крикнул:

– Возьми руль!

Хотел встать и сам пойти к мотору. Но механик испуганно замахал руками и откинулся на спинку сиденья.

Федорчук вскочил.

– Давай ключ! – крикнул он механику. Тот дрожащей рукой сунул ему в руку маленький гаечный ключик. Федорчук вышел на крыло.

Резкий пронизывающий ветер нес холодный туман, – он скользкой корой намерзал на крыльях, на стойках, на проволочных тросах.

– К мотору!

Рискуя каждую секунду слететь вниз, добрался Федорчук до мотора. Теплый еще.

Федорчук слышал вой из пассажирской каюты и нащупывал на карбюраторе нужную гайку.

– Вот она!

Скользко стоять, ветер ревет и толкает с крыла.

Вот гайка поддалась.

Идет дело!



Спешит Федорчук, и уж слышно, как ревет внизу море. Еще минута, другая – и аппарат со всеми людьми потонет в мерзлой воде.

– Готово!

Теперь гайку на место! Замерзли пальцы, не попадает на резьбу проклятая гайка. Сейчас, сейчас на месте, теперь немного еще притянуть.

– Есть! – заорал Федорчук во всю силу своих легких.



Включили электрический пуск, и заревели моторы. В каюте все сразу стихли и опустились, где кто был: на пол, на диваны, друг на друга. Толстяк первый пришел в себя и стал подымать бесчувственную даму.

А Федорчук смело лез по крылу назад к управлению. У него весело было на сердце. Порывы штормового ветра бросали аппарат. Федорчук взялся за ручку дверцы, но соскользнула нога с обледенелого крыла, ручка выскользнула из рук, и Федорчук сорвался в темную пустоту.

Через минуту пилот злобно взглянул на механика. Тот, бледный, все еще перебирал инструменты в ящике. Оба понимали, почему нет Федорчука.

## Шквал

– Провались он совсем и с своей черепицей вместе! – ругался матрос Ковалев. – Этакую тяжесть на палубу валит!

– Ладно, сейчас кончаем, еще только тысяча осталась, – прохрипел старик боцман, размазывая красную черепичную пыль по потному лицу.

Жара стояла несносная, был самый разгар южного лета.

Отправитель черепицы с хозяином судна спорили в каюте, и было слышно на палубе, как грек-хозяин кричал:

– Понимаешь ты, я рискую: судно перевес будет иметь, самая тяжесть сверху, а ты не хочешь прибавить гривенник за тысячу!

– Ведь близко, капитан, два шага, погода хорошая, – пищал отправитель со слезой в голосе, – ведь через два часа на месте будете! Прибавлю пятак, уж куда ни шло.

– Продаешь нас за пятак, – бубнил на палубе матрос Ковалев, укладывая рядами черепицу, – рванет хороший ветерок, и амба: ляжем парусами на воду.

– Да что вы, что вы? – испуганно сказала стоявшая подле женщина. Она держала за руку девочку лет восьми. Девочка вертелась и, запрокинув голову, разглядывала высокие мачты и реи судна.



– А очень просто, – серьезно сказал Ковалев и, остановясь на минуту, сердито взглянул на женщину. – Он, не то нас, он и внучку не жалеет, – и Ковалев кивнул головой на девочку. – Вот подите, скажите ему.

– Да разве ему скажешь?.. – прошептала женщина и еще ближе прижала к себе девочку.

А матросы валили и валили черепицу, укладывали рядами и досками укрепляли ряды.

Боцман глядел на их работу и покачивал головой, что-то про себя соображая. Потом взглянул на небо, прищурился и перевел взгляд на горизонт. Море гладкое, без морщинки, как масло, лоснилось на солнце и тоже, казалось, еле дышало от нестерпимого зноя.

– Мертвый штиль, – сказал боцман. – Ух как бы не сорвалась ночью погода.

– Ничего, ничего, – затараторил хозяин, выходя из каюты, – бриз, бриз будет, хорошо пойдем. Веселей шевелись! – крикнул он матросам

и побежал по палубе зачем-то нагонять отправителя.

Наконец кончили погрузку. Судно «Два друга» оттянулось на середину порта. Ждали ветра. Солнце зашло, а жара не спадала. Все пятеро матросов стояли у борта, курили и сплевывали в воду. В порту зажглись огоньки, и красным глазом вспыхнул на рейде маяк. Красной змеей извивалось его отражение в воде.

– А это что у тебя в ящике, Настя, куклы? – спросил Ковалев девочку.

Большой ящик стоял на палубе у борта, и девочка поминутно в него заглядывала через дверцу вверху.

– Нет, зайчик живой, – ответила Настя с гордостью.

– Да ну? – сказал Ковалев и запустил в ящик руку. Он вытащил за уши большого зайца. Девочка закричала и потянулась руками. Но она сейчас же успокоилась: матрос ловко посадил зайца на руки и стал бережно гладить своей огромной ладонью.

– Вот и жаркое, – сказал подошедший сзади матрос Дмитрий.

Настя испуганно поглядела на Дмитрия и перевела глаза на Ковалева.

– Не дадим, не бойся! – сказал матрос. – Это он шутит.

– А если буря будет? – спросила девочка, – страшная-престрашная, зайньку захлестнет волной?

– Мы его тогда в каюту к деду занесем, – утешал ее Ковалев.

– Ковалев! – раздался голос хозяина, – Дмитрий! Шлюпку на палубу!

Ковалев быстро сунул зайца обратно в ящик и пошел исполнять приказанье.

Настя теперь не отходила от Ковалева. Ей казалось, что Ковалев главный: такой громадный и за зайчика заступился.

Шлюпку вытащили и вверх дном уложили на палубе поверх черепицы.

Вот жарким дыханьем пахнул с берега бриз. Судно ожило. Все зашевелились. Матросы взялись за коромысло ручного брашпиля и, поругиваясь и отдуваясь, выкатили якорь. Поставили паруса, и «Два друга» медленно прокатилось в ворота порта. Бриз усилился и ходко гнал судно вдоль берега. Вот уже далеко за кормой остался красный глаз маяка. Усталые люди спешили в койки.

Ковалев стоял на руле.

– Смотри, Гришка, за ветром! Ненадежная погода, – говорил ему боцман.

Старик поглядывал за борт, стараясь на глаз определить ход судна.

– Чуть что, буди меня, Коваль, – сказал он, оглядывая небо и паруса. – Дойдем до мыса, непременно разбуди. Я пойду, сосну.

И боцман зашагал усталыми ногами к кубрику.

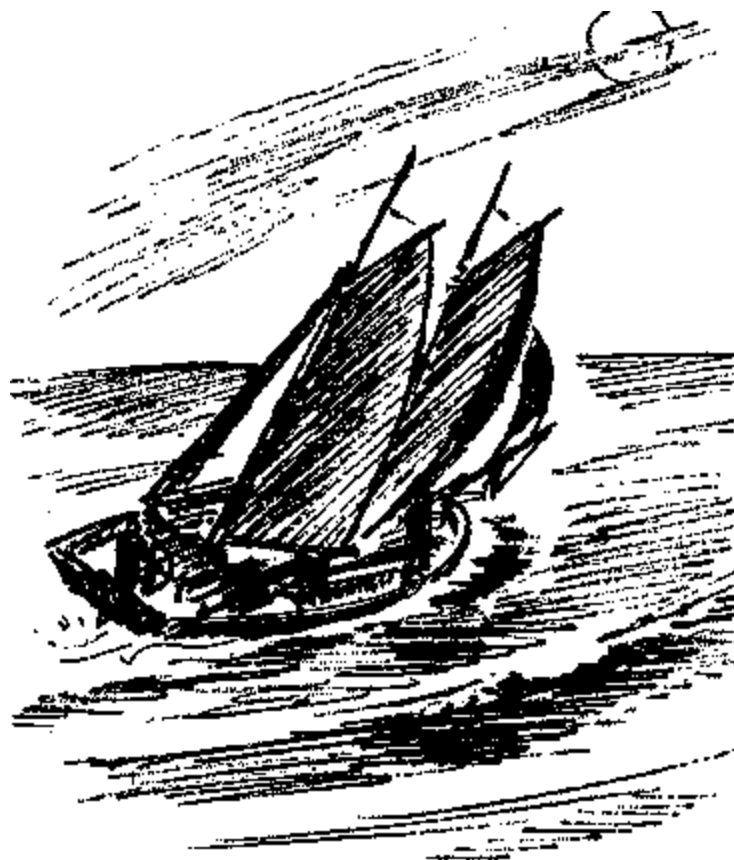
Ковалев остался один. В открытый люк хозяйской каюты он видел, как грек что-то писал в засаленной счетной книге.

Обе пассажирки спали тут же на узкой койке. Настя улыбалась во сне.

«Эта зайца своего видит, – подумал Ковалев, – а дед все пятак: считает».

В это время ветер вдруг прервал свое дыхание, судно выпрямилось, перевалилось на другой борт и стало качаться тяжелыми и широкими размахами. Но снова подул с берега бриз, и судно, прилегли на правый борт, побежало по-прежнему.

Ковалев беспокойно оглянул горизонт. Справа всходила полная луна. Ее диск двумя узкими полосками перерезывали облака. Небо посветлело, и на нем темным силуэтом вырисовывались паруса судна. Но Ковалев не отрывал глаз от той части горизонта, откуда выплывала луна. Он стал следить за облаками и ясно увидал теперь, что они идут навстречу ветру, поднимаясь из-за горизонта вместе с луной.



Бриз усилился, и судно побежало быстрее. Ковалеву казалось, что оно спешит скорее в порт, как конь тянется к дому, чуя опасность. Теперь рулевой весь напрягся и чутко прислушивался. Вдруг его ухо уловило какой-то шум, как будто отдаленный гул толпы. Шум приближался, усиливался и скоро обратился в яростный рев.

– Хозяин, – закричал Ковалев, – шквал идет с подветра!

Грек оглянулся.

– Тридцать девять и сорок пять, тридцать девять и... ах, черт! – сказал он и опять повернулся к столу.

Ковалев опрометью бросился к кубрику.

Шум рос. Теперь уже казалось, что бешеная толпа с ревом несется на судно.

– Хлопцы, хлопцы! – заорал Ковалев в люк. – Шквал идет!

Сонное лицо боцмана показалось из люка.

– Чего орешь? – бормотал он спросонья.

– Шквал! – крикнул Ковалев, нагнувшись к самому уху старика. – Все наверх!

Но он не успел кончить, как резкий порыв ветра налетел на судно, выстрелом рванул по парусам, и «Два друга» стремительно повалилось на левый борт. Ковалев не удержался на ногах и полетел в люк, увлекая за собой по трапу боцмана. На палубе загрохотала, зазвенела черепица, гулко стукнула о борт покотившаяся шляпка, что-то трещало, лопалось и стонало, казалось, все судно рассядется надвое; волной хлынула вода в люк кубрика.

Шквал сделал свое дело и понесся дальше.

Все это совершилось мгновенно, никто не успел опомниться и что-нибудь сообразить. Сонные люди попадали с коек. Послышалась испуганная ругань, проклятья. В темной тесноте, по колено в воде, обезумевшие люди барахтались, наступали друг на друга, выли, ругались и молились. Ушибались об упавшие сундуки, путались в мокрых одеялах, давили друг друга, в ужасе, в смертельном страхе ища дорогу к выходу. А выхода не было.

– Стой! – вдруг покрыл все голоса окрик Ковалева. Обезумевшие люди на мгновенье замолчали, и стало слышно, как спокойно плещет вода в борт опрокинутого судна.

– Нас перекинуло, – сказал Ковалев, воспользовавшись минутой молчанья, – мы не пошли подзаныр<sup>[18]</sup>: вон как зыбь в борт бьется.

– Давай топор, – крикнул матрос Христо, – руби дно!

Все бросились искать топор. Но это было нелегко в этом мокром хаосе. Руки судорожно хватались в темноте за всякую палку, принимая ее за ручку топора. Мешал двигаться висевший сверху привинченный к палубе стол, тряпье, мокрые подушки, путавшаяся в ногах веревка.

– Есть, есть! – закричал Дмитрий, ухватив наконец топор.

– Повыше, повыше рубайте, – молил боцман, – вот тут!

Но в темноте никто не видал, куда он показывал. Вмиг сломали ящик-койку, которая преграждала путь к борту.

Ковалев взял ощупью из рук Дмитрия топор.

– Рубай, рубай скорее, Гришка! – кричали люди. Все знали силу Ковалева. Топор застучал, щепки летели и били в лицо, но все старались протиснуться ближе.

– Давай мне! – крикнул Христо, заметив, что Ковалев устал.

И так, передавая топор из рук в руки, люди по очереди, что было силы, колотили топором, попадая в нарубленное место.

А опрокинутое судно плавало: находившийся внутри воздух не успел выйти, так внезапно его перевернуло. И этот-то воздух и держал судно на поверхности.

В кубрике становилось заметно душно. Запыхавшиеся люди часто дышали и спешили прорубить выход на волю к свежему воздуху. Они боялись задохнуться и каждую минуту думали, что вот-вот судно начнет погружаться под воду.

Ковалев рубил в свою очередь. Он бил топором из последних сил и слышал по звуку, что немного уже оставалось. Сейчас будет дыра. Вот она. Лунный свет пробивался заездочкой сквозь маленькое отверстие. Ковалев перевел дух и хотел крикнуть товарищам, что уже виден свет. Он слышал тонкий свист прорвавшегося через дырку воздуха. Ковалев приставил к дыре мокрый палец: нет, из дыры не дуло. Куда же идет воздух? Ковалев понял, что воздух не входит в каюту. А ведь слышно, как он идет! Значит, вон из каюты выходит воздух?.. И вдруг все сообразил. Их каюта, как опрокинутый вверх дном пустой стакан: если его пихать в воду, то воздух в стакане не даст войти воде. Но если в дне такого стакана сделать дырку, то воздух уйдет через нее, и весь стакан заполнит вода.

– Дай топор! – кричал Дмитрий.

Он шарил в темноте руки Ковалева.

– Да давай же скорей! – кричали кругом.

Но Ковалев быстро схватил плававшую под ногами щепку и забил ею отверстие.

– Стой, хлопцы! – кричал Ковалев. – Не руби!

Дмитрий вырвал из его рук топор. Ковалев знал, что Дмитрий сейчас ударит, и поймал его за руку.

– Стой! Ударишь – пропали все!

– Рубай! – кричал боцман.

– Нет! Воздух уйдет! – выкрикивал Ковалев, удерживая руку Дмитрия, – вода снизу через люк напирает... ее воздух сюда не пускает... Дыра будет... потонем, как мыши... Сюда вода зайдет.

Все замолчали.

– Вот! – Ковалев выдернул на время щепку из отверстия и, поймав в темноте чью-то руку, поднес ее к дырке.

– Верно! – сказал голос боцмана.

– Все одно, рубай! – кричал Христо.



– Хлопцы, – сказал Ковалев, и все почувствовали, что он что-то важное скажет, и замолкли, – сейчас на воле будем. Вот он люк, я ногой нащупал. Давай веревку, я поднырну, а вы по веревке за мной.

Христо торопливо стал совать ему в руку конец веревки. Ковалев сорвал с себя мокрую одежду, быстро сделал на конце веревки петлю, надел ее через плечо и исчез под водой. Бьет проклятая веревка по ногам, мешает плыть; обо что-то острое ткнулся Григорий головой, помутилось на минуту в мозгу, но он все гребет руками. Вот он борт – Ковалев стукнулся в него теменем. Не хватает воздуха – хоть водойдохни. А там внизу чуть светлей: это пробивается лунный свет через воду. Сбросить бы петлю – вмиг на воле. Но Ковалев изо всей силы дернул веревку к себе и нырнул под борт. Вот уж на той стороне. Оттолкнулся из последних сил ногами от борта – грудь рвется, горло сжимает, вот-вот дохнет водой.



– Ну, на воле! Вот дохнул-то! – Огляделся Ковалев. Уж поднявшаяся луна ярко освещала спокойное море. Легкий ветер тянул к берегу. Как брюхо огромного чудовища, чернело дно опрокинутого корабля. Обломки мачт и реи с парусами плавали тут же на оборванных снастях. Ковалев подплыл к рею и закрепил на ней свою петлю. Держался за рею и только дышал. Он сейчас ни о чем не думал, а плотал воздух, цену которому узнал только теперь.

Странно было думать, глядя на огромный опрокинутый корпус судна, что там внутри копошатся и рвутся на волю живые люди.

Через несколько секунд показалась на поверхности воды голова Христо, а за ним вынырнули остальные. Шлюпка, полная воды, но целая, плавала неподалеку, запутавшись в снастях. Матросы подплыли к ней.

Ковалев направился на обломке реи к корме, откуда раздавались глухие удары.

– Рубят, ей богу, рубят! – крикнул Ковалев.

Матросы как попало отливали воду из шлюпки и не слушали.

Ковалев достал конец веревки из воды, сделал опять петлю, надел по-прежнему через плечо и нырнул под судно. Нащупал под водой люк в хозяйскую каюту.

А там и в самом деле рубили. Хозяин-грек отчаянно работал топором, силясь прорубить выход через дно.

Все вздрогнули в капитанской каюте, когда услышали голос Ковалева.

– Брось рубить! Пропадешь! – кричал он греку и хотел впотьмах схватить его руку.

– Оставь! – заорал грек. – Убью!

Ковалев наскоро закрутил свою петлю за стол.

В темноте он нащупал женщину. На руках у нее Настя.

– Давай девочку, а сама за нами по веревке – ныряй под судно.

– Ой, ой! – закричала женщина. Но Ковалев вырвал из ее рук девочку, сгреб под мышку. Одной рукой зажал ей рот и нос, а другой взялся за веревку.

Перебирая веревку одной рукой, он вынырнул с Настей около реи.

Матросы подплывали на шлюпке, пробираясь между обломками снастей. Вслед за Ковалевым вынырнула и женщина.

Все уселись в шлюпку.

Удары изнутри корабля все яснее и яснее слышались, прерывались на минуту – видно, старик переводил дух – и снова гукали в дно.

– Могилу себе рубает, – сказал Ковалев. – Дорубится и поймет.

Шлюпка стояла у борта, откуда слышались удары.

Все молчали и ждали. Вот уж совсем близко бьет топор.

– Заткни дырку, могилу себе рубаешь! – кричал Ковалев. Христо что-то часто кричал по-гречески.

– Ныряй, хозяин, под палубу! – кричал Дмитрий.

Но старик или не понимал, или не слышал: рубил и рубил.

И вдруг послышался свистящий вздох. Это из невидимой дырки выходил воздух.

Удары топора бешено забарабанили по борту. Мелкие щепки летели наружу.

– Ай-ай, дедушка, дедушка! – крикнула Настя.

Вдруг стук сразу оборвался. С минуту все в шлюпке молчали.

– Ну, аминь, – сказал Ковалев, – пропал старик.

Женщина вдруг вскочила, вырвала из рук Дмитрия черпак и в отчаянии застучала по дну судна. Ответа не было.

– Отваливай! – скомандовал Ковалев.

Шлюпка отошла. Легкий ветер гнал ее к берегу и помогал гребцам.

– Чего ты, Настя? – спросил Ковалев.

Девочка плакала.

– А зайнька, где зайнька?

Не плачь, – утешал матрос, – мама другого купит.

Шлюпка медленно двигалась, гребли чем попало: весла пропали, их не нашли.

– Вон, вон что-то! – вдруг крикнула Настя.

Все поглядели, куда указывала девочка. Черное пятно маячило на воде справа.

Подожли. Ящик плавал, слегка погрузившись в воду. Ковалев засунул руку и достал мокрого, но живого зайца.

– Зайнька, вот он, зайнька! – крикнула Настя и стала заворачивать зайца в мокрый подол.

– Вот ведь: скотина бессмысленная спаслась, а человек пропал, – сказал Дмитрий и оглянулся на блестящее на луне осклизлое брюхо корабля.

Гребцы налегли: всем хотелось поскорее уйти от погибшего судна. Каждому чудилось, что грек еще стучит топором по дну.

Через час шлюпка с пассажирами пристала к берегу.

Все невольно оглянулись на море. Но там уже не видно было опрокинутого судна.

## Под водой

Был ясный солнечный день. Эскадра, состоявшая из двух дивизионов миноносцев и дивизионов подводных лодок, вышла на маневры в море. Легкий ветер и веселая зыбь. Совсем по-праздничному. С головного миноносца давали сигналы, и суда перестраивались. Сигнальщики, на обязанности которых разбирать и передавать сигналы, во все глаза в бинокли наблюдали за мачтой головного судна, чтобы не пропустить сигнала. А там то и дело подымались и опускались сигнальные флажки. Подводные лодки шли, выставив свою серую спину из воды, как морские чудовища. Как сердце, глухо стучал внутри каждый дизель-мотор. Сегодня всем было весело, даже кочегары на миноносцах, наглухо закупоренные в котельном отделении, как в коробке, чувствовали веселое напряжение и, хоть не видали, что наверху делалось, знали, что что-то удалое затевается и уже никак нельзя подгадать, и все бойко шевелились в жаркой атмосфере кочегарки, поминутно поглядывали на манометр: не упал бы хоть на йоту пар. На подводных лодках все были в еще большем напряжении: каждую минуту ждали приказа погрузиться в воду и каждому командиру хотелось это сделать на виду у всей эскадры первому. Люди стояли по местам. Вот-вот прикажут под воду – дизель-мотор надо остановить и пустить в ход электрический мотор, ток для которого запасен в аккумуляторах; задраить наглухо входной люк и выставить из воды перископ – длинную трубку, этот глаз подводной лодки: через нее из-под воды можно видеть все, что делается на поверхности. Вдали на горизонте едва обозначался силуэт крейсера: там адмирал, он наблюдает за всеми движениями эскадры, следит, правильно ли суда выполняют то, что им приказано сделать.

Все чувствовали, что дело идет пока превосходно: суда перестраиваются быстро и точно, совсем как солдаты на ученье, держат правильные расстояния, все идут одной скоростью, все одинаковые, как игрушки новые, и, кажется, дымят даже одинаково.

Подводной лодкой № 17 командовал лейтенант Я. Он хорошо знал свое судно и надеялся, что теперь он, пожалуй, погрузится вторым; № 11 погружался всегда так, как будто его какая-нибудь рука

сразу топила, жутко смотреть – за ним не угнаться. Ну, а другим лейтенант Я, спуску не даст. Команда как один. Всем хотелось не дать промашки. По сигналу надо погрузиться и атаковать адмиральский крейсер, затем, не всплывая на поверхность, вернуться в порт. А завтра будет отчет о маневрах, и целый день можно гулять, ходить к знакомым в городе и рассказывать про эту веселую прогулку. Мичман, не доверяя сигнальщику, сам тоже смотрел в большой бинокль на мачту плавного миноносца, ожидая условленного сигнала. Механик со своими машинистами напряженно ждал команды сверху. Все было так натянуто, что, кажется, чихни теперь кто-нибудь громко, и все дружно стали бы переводить лодку в подводное состояние.

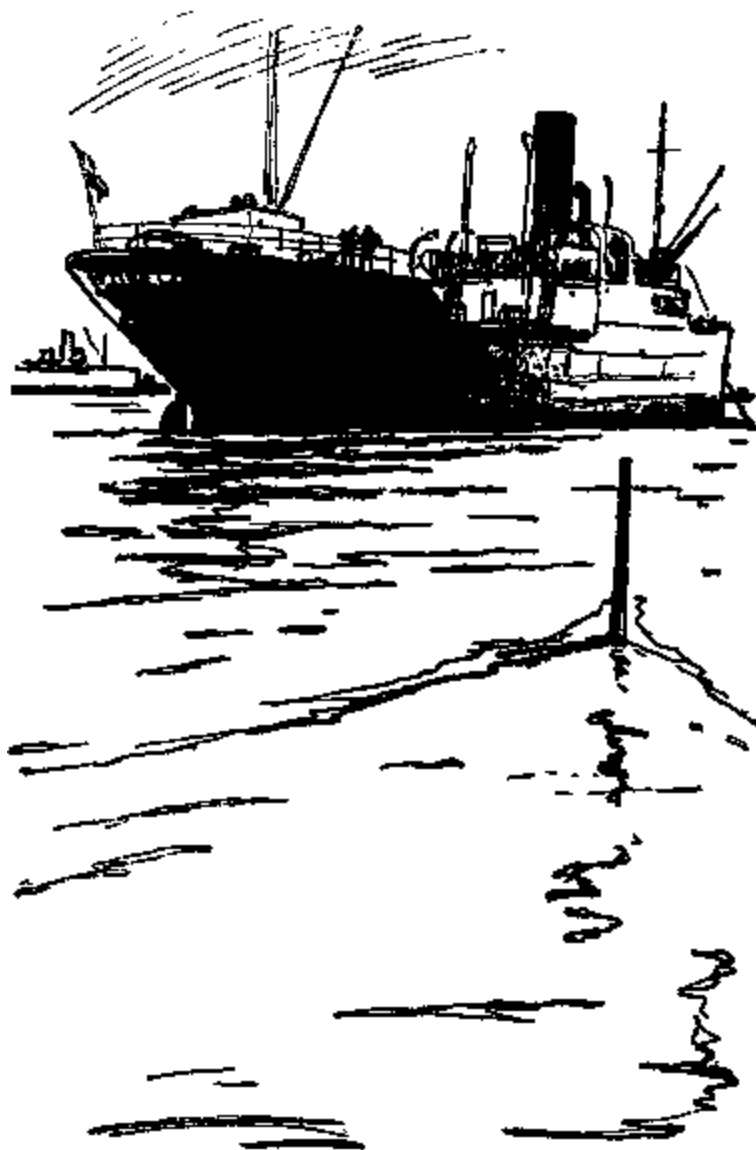
– Ну что? Есть? – спрашивал лейтенант каждый раз, когда новые флаги появлялись на главном миноносце.

– Не нам, – вздохнув, отвечал мичман.

– Есть! – вдруг закричал мичман, отрывая от глаз бинокль. Капитан стал командовать к спуску, но он еще не договорил команды, как дизель уже стал, и вместо него запел, зажужжал электромотор, уже стали наполняться цистерны балластной водой, все делалось само собой: спустился курок напряженного ожидания, и руки, которые томились наготове, быстро делали свое дело.

Вот уже под водой и на столике под перископом шатается на качке мелкая веселая картинка моря, бегущих миноносцев, а вон, как точка вдали, – адмиральский крейсер.

Нет, хорошо идут нынче маневры – всем было весело и радостно.



Вот уже близко крейсер. Теперь надо убрать перископ и идти по компасу в том же направлении. Перископ виден; он торчит все же из воды, и от него, как усы, в обе стороны расходятся от ходу тонкие волны. Уже подойдя ближе, надо только на минуту его выставить, чтобы проверить свое движение, потом подойти как можно ближе и выпустить мину... конечно, учебную, холостую.

Кажется, все удалось. № 17 взял по компасу обратный курс и пошел к порту. Теперь опять поставили перископ, и ясный день снова заиграл на белом столике.

– Ну, молодой человек, поздравляю, – сказал пожилой минный офицер мичману. – Первые маневры, не так ли? Чего на часы

смотрите? Уж ждет вас кто-нибудь на берегу? – и он лукаво погрозил пальцем.

Мичман покраснел и улыбнулся.

– Нет, на что это в порт под водой? – продолжал минер. – Шутки шутками, а курить до смерти хочется. Далеко еще?

– Я считаю, что уже не больше часу, – сказал мичман и посмотрел на свои часы-браслет.

Справа виден был невдалеке перископ другой подводной лодки. Она понемногу обгоняла. Мичман завидовал и каждую минуту смотрел на часы.

– Ну, скажите, – приставал минер, – сейчас на берег, белый китель, и на бульвар! Не терпится?

Мичман отвернулся, но видно было, что улыбался.

Лейтенант сохранял спокойный деловой вид. Его тоже разбирало веселье удачи и радовал веселый вид под перископом, но он сдерживался, чтобы казаться солиднее.

Его интересовало, каким он опустился: вторым или опоздал. Он уже думал, что ничего, если и третьим.

Но вот он, порт. Прошли в ворота. Впереди на якоре торчит всем корпусом из воды порожний коммерческий пароход. «Тут пятьдесят футов, пароход сидит не больше двадцати. Есть где пройти под ним, – подумал лейтенант. – Эх, убрать перископ и поднырнуть под пароход». Веселость вырвалась наружу. Перископ убран, рулями дали уклон лодке вниз и потом стали подниматься.

Но в это время сразу ход лодки замедлился. Все пошатнулись вперед. Лейтенант вздрогнул. Минер вопросительно на него взглянул.

– Сели на мель? Так ведь? – спросил он лейтенанта.

Рули были поставлены на подъем, винт работал, а приборы показывали, что лодка на той же глубине. Лейтенант вспомнил, что тут в порту глинистое липкое дно; понял, что лодка своим брюхом влипла в эту вязкую жижу. И как ногу трудно оторвать от размокшей глинистой дороги, так лодке теперь почти невозможно оторваться от дна. Лейтенант все это соображал, и как он теперь раскаивался, что решил, поддавшись веселости, на этот мальчишеский поступок! Он приказал выкачать воду из всех цистер. Мичман хотел показать, что он ничего не боится, и весело ходил смотреть, исполнено ли приказание лейтенанта. Но вся команда понимала, что дело плохо, и



сосредоточенно исполняла приказания. Лейтенант смотрел на приборы.

Ну хоть бы что двинулось. Приборы показывали ту же глубину.

«Надо попробовать раскачать лодку, – думал лейтенант, – пусть вся команда перебегает из носа в корму и обратно. Может быть, только чуть-чуть в одном месте держит ее эта липкая донная грязь».

Команда стала перебегать из носа в корму и обратно, насколько это позволяло внутреннее устройство лодки, загороженное приборами, аппаратами. Лодка медленно раскачивалась, и лейтенанту представлялось, как липкая глина держит в своем цепком гнезде крупное брюхо лодки, и лодку не оторвать от глины, как не разнять две мокрые пластинки стекла.

Стали раскачивать с борта на борт. Лодка немного переваливалась. Старались угадать такт, чтобы вовремя поддавать, как раскачивают качели. Но и это не помогло. Лейтенант смотрел на приборы, и все по его лицу читали, что дело не подвинулось ни на волос.

– Мы еще, быть может, больше закапываемся, – мрачно проворчал механик.

Лейтенант ничего не ответил. Он, нахмурясь, смотрел вниз, что-то усиленно соображая. Все ждали и смотрели на него. Он чувствовал эти взгляды и напряженное ожидание, и это мешало ему спокойно соображать. Он как будто видел сквозь железную обшивку лодки эту липкую полужидкую глину, которая присосала дно судна; хотелось выскочить наружу и выручить судно хоть ценой своей жизни. Он повернулся и ушел в свою каюту, приказав остановить мотор.

Механик посмотрел сам на приборы.

– Над нами всего двадцать пять футов воды, – сказал он.

Все молчали. Слышно было, как шлепает вверху колесами пароход. Казалось, он толкся на месте.

– Буксир идет, – шепотом сказал один матрос.

– Покричи им, – пошутил кто-то.

Все ждали капитана. А он сидел у себя, в своей крошечной каютке, и не мог сосредоточить своих мыслей. Он все думал о том, что из-за его шалости все эти люди погибли, что нельзя даже крикнуть «спасайся, кто может», потому что никто не может спастись, все они

плотно припаяны ко дну этим глинистым грунтом и не могут вырваться из железной коробки. Эта мысль жгла его и туманила разум.

Ему было бы легче, если бы весь экипаж возмутился, если б на него набросились, стали бы упрекать, проклинать, а лучше всего, если б убили.

А весь экипаж собрался около рулевого управления, изредка шептались, коротко и серьезно. Мичман все посматривал на часы, но теперь не понимал уж, который час.

– Сколько времени? – спросил минер.

Мичман снова взглянул на браслет.

– Четыре часа, – сказал он, но так напряженно спокойно, что все поняли, как он боится.

– Ну еще на час... – начал было механик. Он хотел сказать «на час хватит воздуха», но спохватился, боясь волновать команду. Но все поняли, что если не спасут их, если не найдут и не вытащат, то вот всего этот час и остается им жить.

Тяжелый вздох пронесся над кучкой людей.

– Что ж капитан? – с нетерпеливой тоской сказал механик. Он раздражался и терял присутствие духа.

– Ну что капитан? – сказал задумчиво минер. – Что капитан? Что он может сделать, капитан?

Мичман стоял, красный, опершись о переборку, и все смотрел на свой браслет, как будто ждал срока, когда придет спасенье.

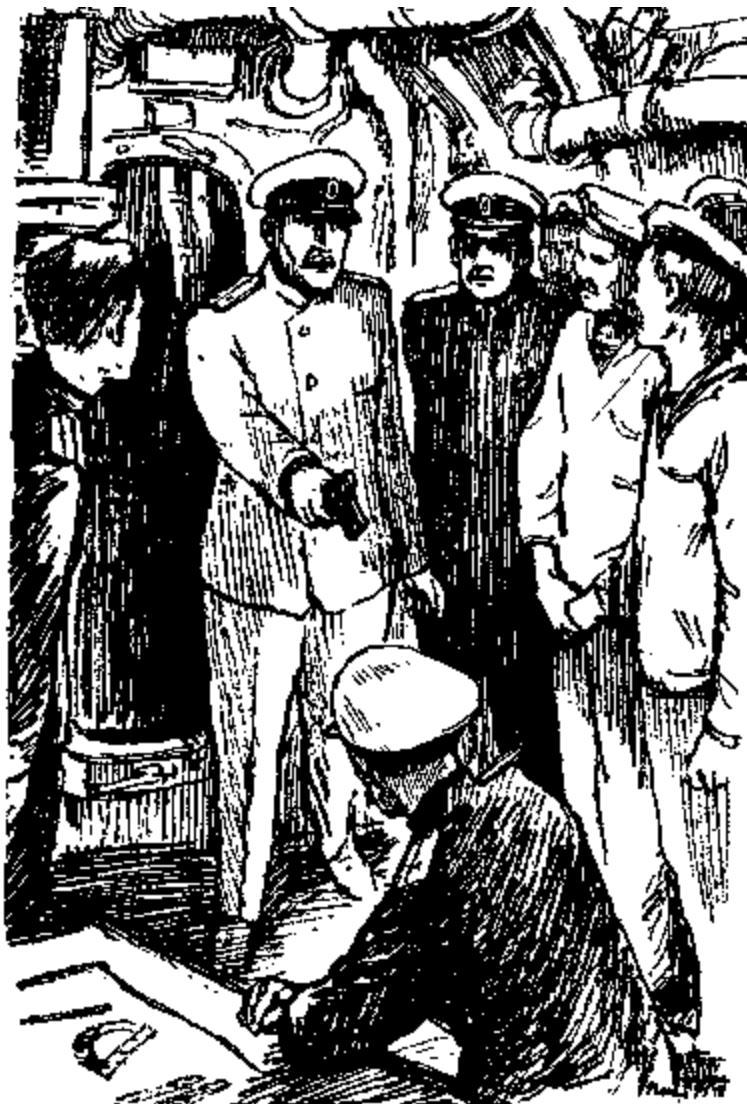
– Ведь мы через час задохнемся. Эй вы, – раздраженно сказал механик по-английски и дернул мичмана за руку, – пойдите скажите капитану, что остается час, идите сейчас же.

Но в это время сам капитан показался в проходе. Он был бледен как бумага, и лицо при свете электрической лампы казалось совсем мертвым. Его не сразу узнали и испугались, откуда мог взяться этот человек. Только черные глаза жили, и в них билась боль и решимость.

Все смотрели на него, но никто не ждал приказаний, все забыли об опасности, глядя на это лицо.

– Я пришел вам сказать, – начал капитан, – что я, я виноват во всем. И не по оплошности, а по шалости, вы сами это знаете, поднырнул – не надо было. Убейте меня.

Он держал за ствол браунинг и протягивал его рукояткой вперед.



– Что вы, что вы! – раздались голоса из команды, – еще, может, спасут! А не то уж вместе как-нибудь.

Капитан с минуту глядел на команду твердыми, горящими глазами. Затем круто повернулся и пошел назад. Мичман побежал вслед за ним.

– Капитан, не беспокойтесь... – начал было он.

Но в лице капитана не было беспокойства.

– Вот возьмите, – сказал он, передавая мичману судовой журнал, – и пишите дальше.

– Приказаний никаких?

– Я советую людям лечь и не двигаться, тогда надольше хватит воздуху. Может быть, дождутся помощи, нас хватятся. Берегите воздух. Пишите, пока будет можно. Ступайте.

Мичман вышел и передал распоряжение капитана. Все молча разошлись и легли.

Мичман сел за стол, раскрыл журнал.

«...20 июня 1912 года в 2 часа 40 мин. полудни, прочел он написанное рукой капитана, я, лейтенант Я., командир подводной лодки № 17, из мальчишеской шалости, вместо того, чтобы обойти стоящий в порту пароход, нырнул под него и, не успев подняться, сел на липкий грунт, чем и погубил 13 человек экипажа. Для спасения пытался...». Затем шло описание попыток раскатать лодку и замечание, что команда вела себя геройски, не упрекнув его ни словом и не выйдя из повиновения.

«4 ч. 17 мин., написал мичман, принял журнал от лейтенанта Я. Команда лежит по койкам».

«4 ч. 29 мин. над нами быстро прошел винтовой пароход».

«4 ч. 40 мин. застрелился лейтенант Я. в своей каюте. Прилагаю его записку:

„Я не имею права дышать этим воздухом“..»

«5 ч. 10 мин. задохся машинист Семенов. Не могу писать и передаю журнал минному...»

«5 ч. 12 мин., писал минер, что-то скребнуло по корпусу судна. Команда задыхается, не могу встать. Что-то...».

Но тут запись прервалась неровным росчерком вниз; очевидно, перо вывалилось из рук писавшего.

А наверху два миноносца тащили по дну проволочный канат, концы которого были привязаны к их кормам. Железная петля тянулась по дну и шарила подводную лодку. С торгового парохода сказали, что видели перископ справа, потом он исчез и снова не показался. Сказали, когда уж по всему порту разнеслась весть, что № 17 с маневров не вернулся.

Миноносцы быстро шарили по всему порту, другая партия искала в море по пути эскадры, пока не дали знать с торгового парохода. Миноносцы бросились в указанное место, все знали, что каждая минута может стоить жизни людей.

На миноносце закричали, когда увидели, как натянулся проволочный канат, задев за лодку. На берегу толпа с напряжением следила за работой миноносцев и радостно загудела, услышав крик. Канат вывернул лодку из ее липкого гнезда, и она всплыла на

поверхность. Спешно заработали мастера, раскупоривая этот железный склеп. Врачи бросились спасать: все уже было приготовлено. Не привели в себя только троих, среди них и мичмана. Странно было слышать, как часы все тикали на мертвой руке.

## Коржик Дмитрий

Вторую неделю уже странствовал парусный кутер<sup>[19]</sup> «Савватий» между льдов. Стояло лето, и в Ледовитом океане было круглые сутки светло. Лед ослепительно сиял на солнце днем и рдел кровавым отливом, когда солнце ночью спускалось к горизонту. Между огромными льдинами темнели озера свободной воды. По ним-то и пробирался кутер в поисках морского зверя: моржа, тюленя, белого медведя.

Команды было одиннадцать человек. Шкипер Титов вел судно, смотрел, чтобы его не затерло льдами. На верхушке мачты была устроена бочка, из которой далеко было видно. Там всегда кто-нибудь сидел и в подзорную трубу осматривал льды и воду: нет ли где какого-нибудь зверя. Спрятаться некуда в этой ледяной равнине.

Вот уже две недели, и ничего не промыслили. Старый промышленник Федор сердился. Титов последнее время молчал и все чаще и чаще бегал в каюту погреться спиртом. Но коржик<sup>[20]</sup> Дмитрий не унывал, шутил и возился с молодыми ребятами, которые от нечего делать боролись на палубе.

Местами проходы среди льдов были узкие, и приходилось идти между ледяных берегов, как в речке, местами эта речка расширялась, но надо было зорко следить, чтобы не попасть в тупик. Вот по такой-то речке, между двух ледяных полей, и пробирался сейчас «Савватий». Два дня уже дул этот свежий ветер и слева гнал льды. Но левый и правый ледяные берега шли одинаково, и пространство свободной воды между ними не изменялось, и сейчас кутер свободно бежал между льдами, пробираясь к огромному озеру свободной воды. Но вот правый берег остановился. Видно, лед где-нибудь уперся в далекую землю и стал. Но ледяное поле с левой стороны продолжало идти, и речка становилась уже. Все на судне знали, что ничто сейчас не остановит движения льда и оба берега сомкнутся, как лезвие гигантских ледяных ножниц. Они пополам разрежут судно, если оно не успеет добежать до свободной воды. Эх, если б ветер дул немного покрепче!

Шкипер Титов стоял сам на руле. Поставили все паруса, сколько было можно. «Савватий» был хороший ходок, но всем казалось, что судно еле ползет, а лед все скорей и скорей двигается по мере того, как уменьшалось расстояние между ледяными берегами. Если не выскочить из этих ножниц, лед зажмет судно и поломает, как спичечную коробку. Теперь никто уж не баловался на палубе, а ребята прислушивались к ветру. То казалось, что он слабеет, то вот будто задул сильнее.

Титов знал, что если и за полсажени до выхода затрет льдом, то все равно судно погибло. Подводную часть сплющит, а то, что над водой, поломается, и придется всем бродить по льду, пока не подберет их какое-нибудь промысловое судно.

Федор с мачты крикнул:

– Еще с полверсты!

Все понимали, что это значит: это до свободной воды осталось с полверсты.

– Ветер плохо держит! – сказал Титов стоявшему рядом коржику Дмитрию и крепко выругался.

– Так тому и быть, – весело сказал Дмитрий и закурил трубку.

– Подобрать, что ли, шкот?<sup>[21]</sup> – спросил он Титова.

– Подбери, – сказал Титов.

Шкипер не знал, будет ли лучше. Он выжал уже из судна всю его скорость и тут уж рассчитывал на легкую руку: знал, что Дмитрий удачлив.

Дмитрий подобрал. Показалось, что судно пошло немного ходче. Еще бы пять минут – и на свободной воде! А лед жмет и жмет, как будто нарочно дает судну еще бежать, чтоб за вершок до выхода зажать и разможжить.

Все смотрели, как все ближе подходило ледяное поле слева.

– Ну, ребята, – сказал кто-то, – выноси пожитки на палубу.

Но люди не оглянулись, не ответили, смотрели на лед, и говоривший не двинулся.

– Хоть дуй в паруса!

Федор слез сверху: боялся, не слетела бы мачта, как затрет льдом.

Оставалось сажени три до выхода, но лед был так близко, что можно было бы на него спрыгнуть.

Титов напряженно и зло смотрел вперед. Ему с кормы не видно было, сколько осталось. Но он знал, что пока не вышли на свободную воду – нечего радоваться.

Вдруг все оглянулись назад, за корму.

Титов понял, что проскочили. Он оглянулся: не верилось, что только что выскочило судно из этого узкого прохода.

– Возьми руль, Тишка, – крикнул он молодому парню, а сам спустился в каюту.

– Пошел старик выпить, – шепнул Дмитрий Тишке.

Теперь все ожили, заговорили. Федор снова полез на мачту.

Он внимательно осмотрел всю свободную ото льда поверхность воды.

Заметил вдали мачту судна. Рассмотрел в трубу все: судно норвежское. Норвежцы с машиной пробирались туда, куда не пролезет неуклюжий парусник. И когда по свободной воде «Савватий» приблизился к новому ледяному полю, с другой стороны его торчали две мачты норвежского кутера. А вон по краю льдины черные точки. Как мухи на скатерти. Федор хорошо видел, что это тюлени. С другой стороны льдины их было больше, и там со шлюпки работали норвежцы. «Савватий» опять лег в дрейф.

– Бери моржовки, ребята! – командовал Дмитрий.

Люди выносили из каюты короткие ружья. Они были новенькие, хорошо смазанные и красиво блестели.

– Эх! – сказал молодой парнишка Тихон, – вот здорово-то! – и приложился, хотелось пострелять.

– Ну, не балуй, в шлюпку лезь, – крикнул Федор.

Тюлени, как овцы: беззащитные и глупые. Они лежали по краю льдины, чтоб в случае опасности плюхнуться в воду. Но они, недоумевая, смотрели на шлюпку с людьми и не двигались.

Дмитрий начал и выстрелом сразу наповал убил крайнего тюленя. Тихон ударил второго. Тюлени оглядывались на выстрелы и с любопытством плядели, как опускал голову сосед. Но ни один не двигался.

С другой стороны льдины ясно стучали выстрелы норвежцев: сухо, как гвозди вколачивают.

– Ишь, черти, – сказал Дмитрий, – вон у них ряд-то какой! Лазят в наших берегах.



– Да ведь это какие уж берега, тут сама голомень<sup>[22]</sup>, - ответил Федор.

– Им хорошо, – не унимался Дмитрий, – судно моторное, куда хочешь, анафемы, пролезут; вон, так и чистят.

Ряд кончался.

– Ну, я им сейчас влею! Стоп, Тишка, не стреляй! Последнего я сам.

– Брось, не надо, – сказал Федор, – знаю ведь...

Молодые ребята не понимали, что затевает коржик, и с любопытством глядели то на стрелка, то на тюленя. Тюлень важно и тупо смотрел, повернув вбок голову.

Щелкнул выстрел, и в ту же минуту раздался пронзительный визг тюленя. Он бился с раздробленной ластой<sup>[23]</sup>.

Дмитрий встал в шлюпке и смотрел на ту сторону льдины.

Тюлени с норвежской стороны, как лягушки с берега, прыгали со льда в море.

– Вот, вон, – хохотал Дмитрий, – штук сорок не добились. Вот игра! Ребята тоже смеялись. Тишка добил раненого тюленя.

С норвежской стороны щелкнул выстрел, и пуля прожужжала совсем близко. Вслед за ним второй. Дмитрий сел.

Ребята нагнулись.

– Видишь, дурак, что теперь, – проворчал Федор.

– Подгреби ко льду, – крикнул Дмитрий. Злым и веселым стало его лицо. Он быстро зарядил моржовку и, прикрываясь обрывом льда, стал стрелять в норвежцев, как из окопа.

Тишка не отставал.

– Да брось, побойтесь бога! – кричал Федор. – Андели – беда, ведь в живых людей бьете!

Раз!.. раз!.. били поморы<sup>[24]</sup>.

Тук!.. тук!.. отвечали норвежцы.

Пулей задело и раскровило ухо гребцу.

Он схватил третью моржовку, забил патрон и стал палить.

Федор быстро выпростал руки из рукавов малицы<sup>[25]</sup> в пазуху, оторвал клоч рубахи, наткнул на багор и выскочил на лед.

Он побежал с этим флагом, скользя по льду, навстречу норвежским выстрелам.

Норвежцы замолкли. Но Дмитрий поднял моржовку.

Ребята схватили его за руку:

– Оставь!

– Да ну вас! Пусти! – вырывался Дмитрий.

Но все уже опомнились и отняли у Дмитрия ружье. Со стороны норвежцев шли навстречу Федору два человека.

Тишка выскочил на лед и побежал догонять Федора.

Скоро один человек только остался в шлюпке. Норвежцы и поморы сошлись на середине льдины.

Норвежцы ругались. Они знали, что нарочно, назло поморы испортили им охоту. Все говорили, кричали и спорили. Федор извинялся, предлагал на мировую десяток тюленей. Почти всякий моряк-помор знает по-норвежски. Кое-как уладил. Норвежцы даже выпить звали.

– Экой ты, Митька, кипяток, – выговаривал ему Федор, когда возвращались к шлюпке, – хорошо еще, никого из них не подбили. Когда-нибудь и сам пропадешь и других, дурак, погубишь.

– Пусть знают, черти! – кричал Дмитрий.

– Да знать-то они лучше нашего знают, а вон что выходит...

– Чего ты-то полез?

– Да ведь зря всё!..

– Баба ты в портках, вот я тебе что скажу. Тьфу!

Он зло плюнул в сторону Федора и пошел вперед.

– Эх, не плюй, парень, в колодец, гляди, пригодится...

– Это кто? Ты-то? – обернулся на ходу Дмитрий. – Тьфу! Видать что баба: кто за ружье, а он за тряпку.

– Гляди, самовар какой, – усмехнулся Федор, – уж немилым глазом на меня глядит.

Когда убирали тюленей, Дмитрий все злился и не говорил с Федором. Дмитрий сам смотрел из бочки с верхушки мачты. Вон далеко на льду что-то черное. Глянул в трубу и сейчас же бросился вниз, чуть не слетел.

– Шлюпку, шлюпку! – кричал он, горячась, и стал надевать свой тяжелый пояс с патронами.

– Ну чего там? – спросил Федор.

Дмитрий только зло плюнул.

– Что? – спросил Титов.

– Морж и два медведя.

– Да врешь?

Шлюпка изо всех сил шла к льдине. Простым глазом можно было уже увидеть зверей.

Огромный морж, поднявшись на лапы, вертелся, сколько позволяло ему его огромное тучное тело. Два медведя, один молодой, старались обойти его и напасть сзади. Морж – лев северных морей, он сильный и храбрый зверь. Бывали случаи, что рассвирепеет и бросится на шлюпку с людьми. Доски клыками выламывал. В воде он никого не боится. Но на льду ему плохо. Грузно движется он на своих неуклюжих лапах. А все-таки один на один медведь боится с ним связаться.

Морж старался подвинуться ближе к воде, оставалось уж недалеко. Медведи боялись, что вот-вот уйдет он от них, но все не решались наброситься.

Дмитрий не спускал с них глаз. Заметят его медведи, убегут еще, а морж тогда живо доберется до воды, и поминай как звали.

Солнце ярко освещало блестящий лед, и его сияние ударяло снизу и слепило глаза. Дмитрий вылез на лед и, держа в руках заряженную моржовку, побежал к зверям. Он хотел подбежать как можно ближе, пока они его не замечают, чтобы без промаха стрелять. Старый медведь забежал со стороны воды и преграждал путь моржу. Морж резко повернулся в его сторону, и медведь попятился, молодой не решался схватить моржа за хвост.

Дмитрий боялся, чтобы медведи не испортили моржовой шкуры раньше, чем он добежит, и боялся, чтоб не упустили моржа в воду.

Со шлюпки с напряжением следили за приближением коржика и за борьбой зверей.

Но вдруг Тишка крикнул:

– Майна, майна<sup>[26]</sup>, не видит! Митька!

Все сразу увидели темневшее впереди коржика затянутое тонким льдом пространство.

Кричали, но Дмитрий ничего не слышал и видел только, что еще сажени три – и морж уйдет.

– Давай багор, бежим! – крикнул Федор и пустился вслед за Дмитрием.

Кляцнул, звякнул лед, и Дмитрий провалился с разбегу в воду. Тяжелые патроны тянули вниз, он на секунду вынырнул и опять скрылся. Снова показались руки.

Никто не решался пойти по тонкому льду. Все смотрели на Федора. Он лег на лед и пополз на животе к краю майны.

Тишка не выдержал и тем же порядком пополз следом и схватил его за ноги. Федор подвел багор как раз под руки, которые показывались из воды и беспомощно хватали воздух. Руки схватили багор. Показалась голова Дмитрия. Испуганные, сумасшедшие глаза глядели на Федора. Вдруг Дмитрий пустил багор. Нарочно ли, или сознание оставило его? Но Федор острым крюком багра уцепил его за малицу и потянул. Тишку тянули ребята за ноги, а он не отпускал Федора. Вытащили Дмитрия. Он был без сознания. Откачали, привели в себя, уложили в койку и напоили мертвецки спиртом.

Когда Дмитрий пришел в себя, позвал к себе Федора.

– Прости, брат, что плюнул, твоя правда...

– Ну, ну, ладно. Ты вот опохмелись, гляди, дрожишь весь.

И налил ему спирту.

## Компас

Было это давно, лет, пожалуй, тридцать тому назад. Порт был пароходами набит – стать негде.

Придет пароход – вся команда высыпет на берег, и остается на пароходе один капитан с помощником, механики.

Это моряки забастовали: требовали устройства союза и чтоб жалованья прибавили.

А пароходчики не сдавались – посидите голодом, так небось назад запроситесь!

Вот уже тридцать дней бастовали моряки. Комитет выбрали. Комитет бегал, доставал поддержку: деньги собирал. Вполголода сидели моряки, а не сдавались.

Мы были молодые ребята, лет по двадцать каждому, и нам черт был не брат.

Вот сидели мы как-то, чай пили без сахара и спорили: чья возьмет?

Алешка Тищенко говорит:

– Нет. Не сдадутся пароходчики, ничто их не возьмет. У них денег мешки наворочены. Мы вот чай пустой пьем, а они...

Подумал и говорит:

– А они – лимонад.

А Сережка-Горилла рычит:

– Кабы у них с этого лимонаду пузо не вспучило. Тридцать дней хлопцы держатся, пять тысяч народу на бульваре всю траву задами вытерли.

А Тищенко свое:

– А им что? Коров на твоём бульваре пасти? Напугал чем!

И ковыряет со злости стол ножиком.

Тут влетает парнишка.

Вспотелый, всклокоченный.



Плюнул в пол, хлопнул туда фуражкой, кричит:

– Они здесь чай пьют!..

– Лимонад нам пить, что ли? – говорит Тищенко и волком на него глянул.

А тот кричит бабым голосом:

– Они чай пьют, а с «Юпитера» дым идет!

Тищенко:

– Нехай он сгорит, «Юпитер», тебе жалко?

– С трубы, – кричит, – с трубы дым пошел!

Тут мы все встали, и Сережка-Горилла говорит:

– Это не дым идет, а провокация.

Парнишка плачет:

– Черный! Там дворники под котлами шевелят. Пошли!

Выскочили мы, пошли к «Юпитеру».

Верно, из паровой трубы шел черный дым, а кругом – и на сходне, и на пристани, и на палубе – кавалеры в черных тужурках.

Рукава русским флагом обшиты, и на поясе револьверы. Не подойти.

– Союзники русского народа, – объясняет парнишка.

Будто мы не знаем, что такое «союз русского народа» – полицейская порода.

Когда мы на бульвар пришли, только и разговору, что про «Юпитер». Стоит народ, и все на дым смотрят.

Взялся капитан с дворниками в рейс пойти, сорвать матросскую забастовку. Капитан – из «русского народу», и охрану ему дали: двадцать пять человек. Дворники не дворники, а уголь шевелят здорово. На руль помощников капитан поставит, в машину – механиков...

– Очень просто, что снимутся, – говорит Тищенко, – а в Варне заграничную команду возьмут – и пошел.

Сережка вдруг оскалился, говорит:

– Не пустим!

– Ты ему соли на корму насыпь, – смеется Тищенко.

– Знаем, как насолить, – говорит Сережка. – Пойдем... – И толкает меня под бок.

Вышли мы из толпы.

Сережка мне говорит:

– Ты не трус?

– Трус, – говорю.

Он помолчал и говорит:

– Так вот, приходи ты сегодня в одиннадцать часов на Угольную, я около трапа тебя ждать буду. И никому – ничего.

Пальцем помахал и пошел прочь.

Чудак!



Прихожу в одиннадцать на Угольную пристань. Фонари электрические горят, и от пристани на воду густая тень ложится – ничего не видать под стенкой. Дошел до трапа, на ступеньках сидит Сережка-Горилла. Сел я рядом.

– Что, – спрашиваю, – ты, дурак, надумал?

– Полезай, – говорит, – в тузик вон у плота, дорогой обмозгуем.

Рассмотрелся, вижу плот и тузик.

Пошел я по плоту, – не видать, где плот кончается. Ступил на воду, как на доску, и полетел в воду. Самому смешно: шинель вокруг меня венчиком плавает, и я – как в розетке.

А вода весенняя, холодная.

Я в туз. Пока вылез, хорошо намок.

Разделся я до белья – и холодно и смешно. Стал грести, согрелся.

– Ну, – говорит Серега, – начало хорошее. А сделаем мы вот что: я на «Юпитере» путевой компас из нактоуза выверну и тебе в мешке спущу.



– А как подойдем? Трап ты спросишь у охранников?  
– Нет, – говорит, – там угольная баржа о борт с ним стоит, какого-нибудь дурака свалием.

– Свалием, – говорю.

И весело мне стало. Гребу я и все думаю, какого там дурака будем валять. Как-то забыл, что «союзники» там с револьверами.

А Сережка мешок скручивает и веревку приготавливает.

Обогнули мол. Вот он, «Юпитер», вот и баржонка деревянная прикорнула с ним рядом. Угольщица.

Гребу смело к пароходу.

Вдруг оттуда голос:

– Кто едет?

Ну, думаю, это береговой, – флотский крикнул бы: «Кто гребет?»

И отвечаю грубым голосом:

– Та не до вас, до деда.

– Какого деда там? – уж другой голос спрашивает.

А на такой барже никакого жилья не бывает, никаких дедов, и всякий гаванский человек это знает.



А я гребу и кричу ворчливо:

– Какого деда? До Опанаса, на баржу, – и протискиваю туз между баржой и пароходом.

Сережка окликает:

– Опанас! Опанас!

С парохода помогают:

– Дедушка, к вам приехали!

Залез я на баржу, с борта прыгнул на уголь и пошел в нос. А нос палубой прикрыт.

И говорю громко:

– Дедушка, дедушка, это мы. Какой вы, к черту, сторож! Вас палкой не поднять, – и шевелю уголь ногой.

Смотрю – и Сережка лезет ко мне.

Чиркнул спичку. А я стариковским голосом шамкаю:

– Та не жгите огня, пожару наделаете, шут с вами.

Сережка, дурак, смеется. А с парохода говорят:

– Да, да, не зажигайте спичек, мы вам фонарь сейчас дадим.

И затопали по палубе.

Сережка говорит мне:

– А дурак ты, дедушка, ей-богу, дурак!

Я выпянул из-под палубы. Смотрю, уже фонарь волокут.

Я скорей к ним.

К мокрому белью уголь пристал – самый подходящий вид у меня сделался, это я уже при фонаре заметил.

Сидим мы с фонарем под палубой и вполголоса беседуем.

Я все шамкаю.

– Лезь, – шепчет Серега, – в туз, а как уйдут с борта – стукни чуть веслом в борт.

Я полез в туз.

Вдруг Серега громко говорит:

– Так вода, говоришь, у тебя в носу оставлена, дедушка?

А я знаю, что он один там, и отвечаю из туза:

– В носу, в носу вода!

– Так заткни, чтоб не вытекла! Не тебя спрашивают, – говорит Серега.

На борту засмеялись. А Серега зашагал по углю в корму. Потом вернулся. Опять прошел на корму, и все смолкло.

Смотрю – один только человек остался у борта.

– Эй, – говорит, – фонарь-то потом верните.

И отошел. Стало тихо.

Я подождал минут пять и стукнул веслом в баржу.

Бережно, но четко: стук!

И тут заколотилось у меня сердце.

Я прислушивался во все уши, но, кроме сердца своего, ничего не слышал.

Глянул вверх – через щели в барже светит фонарь.

Прошел человек по палубе.

Перегнулся через борт и спрашивает, как начальник:

– Это что за лодка?

А я чувствую, что скажу слово – голос сорвется. Молчу.

Он опять. Крикнул уже:

– Что это за лодка? Эй, ты!

Тут ему кто-то из ихних ответил:

– Это сюда, на баржу, к старику, свои приехали.

– Ага, – говорит и отошел.

Опять стало тихо. Я уж вверх не пляжу, смотрю по борту парохода.

Вдруг что-то вниз ползет серое по черному борту.

Я замер. Дошло до воды – стало.

Мешок.

Вся сила ко мне вернулась.

Не брякнул я, не стукнул. Протянулся тузом по борту вперед, ухватил мешок – здорово тяжелый – и осторожно опустил в туз.

В это время туз качнуло; глянул – Сережка уже стоит на корме.

Он по той же веревке слез, на которой и мешок опустил.

Я взялся за весла и стал потихоньку прогребаться вперед.

В это время с парохода кто-то крикнул:

– Эй, дед, фонарь давай! Заснул?

И мы слышали, как кто-то спрыгнул на баржу.

Я чуть приналег посильнее.

Фонарь стал метаться по барже.

На пароходе закричали, заголосили.

Бах, бах! – щелкнули два выстрела.

– Эх, навались!

Мы уже огибали мол.

Сережка оглянулся и сказал:

– Шлюпка за нами – навались!

Я рванул раз, два – и правое весло треснуло, я повалился с банки.

Вскочил, смотрю – Сережка гребет по-индейски обломком весла; как он успел на таком ходу ухватить обезьяньей хваткой обломок весла – до сих пор не пойму.

Мы завернули за мол в темную полосу под стенкой и забились между большим пароходом и пристанью, как таракан в щель.

Мы видели, как из-за мола вылетела белая шлюпка.

Гребли четверо. Гребли вразброд, бестолково.

Орали и стреляли.

Через полчаса мы прокрались под стенкой к своей пристани.

Наутро пришли мы с Серегой на бульвар.

Еще пуше раздымился «Юпитер».

– Снимается, снимается анафема, – говорит Тищенко. – Капитан там аккуратист – все уж в порядке.

А тут сбоку подбавляют:

– Лиха беда начать – все пароходы вылезут. Наберут арапов, охрану поставят – и айда. Завязывай!

Тут какой-то вскочил на скамейку и начал:

– Товарищи! Не надо паники. Сотня арапов весны не делает, – и пошел и пошел.

А мы с Серезжкой переглядываемся.

Снялся «Юпитер». Вышел из порта.

Ну, думаю, через полчаса пойдет капитан курс давать, плянет в путевой компас...

Погудел народ и приуныл. Сели на землю и трут затылки шапками. Всем досада.

Мы с Серезжкой ушли, так никому и слова не сказали.

Зашли в трактир, чаем пополоскались.

Дружина прошла строем, что на охране парохода была.

Серьезно идут, волками по сторонам смотрят.

Часа три прошло.

Вдруг вой с бульвара, да какой! Ну, думаем, полиция орудует на бульваре.

Бросились бегом.

Смотрим – все стоят, в море смотрят и орут.

А это «Юпитер» идет назад в порт. Увидал его народ, вой поднял.

А Серега мне говорит:

– Смотри же, ни бум-бум, чтоб никто ничего!

Я так до сего времени и молчал.

Ну, теперь уж и сказать можно...

## Черная махалка <sup>[27]</sup>

Целую неделю подговаривал меня Васька Косой пойти ночью в море из Фенькиных сеток рыбу красть.

– Вот, – говорит, – как будет поздний месяц, и сорвемся ночью. Моментом дело. Раз и два! По воде следу нету.

Я все мычал да гмыкал.

И вот раз приходит он ночью. Я на дворе спал. Толкнул меня в плечо:

– Гайда, пошли! – Тряхнул за плечо и на ноги поставил. Чего ему: здоровый черт, саженный!

И вот пошли мы берегом, низом. Я, значит, и Косой.

Меня, мальчишку, он вперед пустил, а сам – за мной.

Ночь – ни черта не видать.

Песок холодный, ракуша битая в ногу впивается.

А он еще сзади шипит гадюкой: «Тише!.. Чтоб как по воздуху!»

Чтоб тебя, дьявола, самого на воздух подняло.

Эх, знал бы я, какое дело из этого выйдет, не пошел бы я с Косым ни в жизнь!

Ногу тут я об камень ссадил, аж на землю сел. Качаюсь и шепотом вою. А Косой надо мной стоит, пяткой в самое рыло тычет:

Вставай!

Пятка заскорузлая, корявая.

А когда шаланду стали спихивать, у меня опять сердце упало: что же это мы такое делаем?

Штиль на море, будто и вода притаилась и только шепотком в берег хлюпает. Месяц поздний торчит из моря, как красный штык. Мне страшно стало; я берусь за шаланду и не дергаю. Не хочу, не поеду я из Фенькиных мережей камбалу трясти!

Косой будто знал, что я думаю, и бубнит малым голосом:

– Фенька прорва, раскоряка анафемская! Она мужа-то своего, Ивана, отравила... Черт бы с ним, с Иваном, туда ему, гаду, и дорога, да он у меня сорок пять сеток в море снял. Покарай меня господь!.. А ну, берись!

Дернули. Чуть вдвинулась шаланда в море. А Косой опять:

– Пудами, рванина недомытая, камбалу на базар возит, а кинула хоть раз тебе, мальчонке голодному, хоть кусок? А ну, разом!

Дернули, аж на полсажени сразу шлюпку посунули.

Ждем – и навверх, на обрыв, смотрим: чтоб с Особого отдела патруль не засыпал. Тогда был приказ, чтоб ночью не выходить в море никак. А с патрулем собака; уж это хуже нет!

Посмотрели – никого.

И так это Косой мне Феньку обложил, что я хоть вторые сутки не ел, а шаланду дернул, как большой.

Выкопал Косой из песку весла – это он с вечера приготовил. Сели, гребем, как по воздуху: не стукнем, не плеснем.

Прошли каменья и подались прямо торцом в море.

– Поднавались!

Напер я на весла, а тут снова меня мутить стало. Куда ж это мы едем, на какое дело? «Ну, ничего, – думаю, – не найдем мы ночью Фенькиных сеток – и красть не придется». И подналег даже.

А потом думаю: «Махалки все ж у ней высокие, побольше сажени. А Косой – черт приметливый – непременно увидит». И опять страх войдет.

И я гребу слабей. А Косой:

– Навалися, пролетария!

«Нет, – думаю, – флажки у ней на махалках черные, не найти ночью и Косому. Никому не найти!» И гребу смелей, все стараюсь в уме Феньку обкладывать.

– Отравила? – говорю.

– Ладно, гребь, гребь, мильтон какой сыскался!

«Теперь я мильтон выхожу!»

Я стал со зла крепче грести.

А Месяц вышел и красным глазом на все это дело смотрит.

С час, должно, так гребли.

И вдруг я чуть весла не бросил – прямо тут надо мной кивает черным флагом саженная махалка. Молчит и шатается.

– Хватайся! – кричит Косой.

А мне за нее и взяться страшно. Как живая, как оскаленная.

– Эй, ты! Дуроплюй!

Косой притабил <sup>[28]</sup> и выхватил махалку из воды.

И вот, когда он махалку схватил, тут у меня как что внутри как будто стало и закрепило. «Шабаш, – думаю. – Теперь шевелись!» И я встал на ноги и уж вертел шаланду веслами, как живой, пока мы по сеткам шли.

А Косой стоит на корме в рост, перебивает мережи и шлепает камбалу на дно. Плюхает здоровые рыбины, а я сам, для чего – не знаю, все считаю:

– Раз, два... три... восемь...

Все шепчу, как в жару весь.

Пуда три, как не больше, с одной ставки сняли. Кончили.

Тут с меня все соскочило. Сел на банку и как гребану к берегу! А Косой:

– Куда тебя, черта! Вон она, вторая ставка! Вон махалка маячит!

У меня уже руки ходуном пошли и всего трясти стало, а он – пляжу – взялся за весла, гребанул, как юлу, шаланду вывернул и нагребается к сеткам.

– Садись, – кричит, – на весло!

– Чтоб нас к черту не снесло! – Это я для храбрости сказал.

Косой заругался.

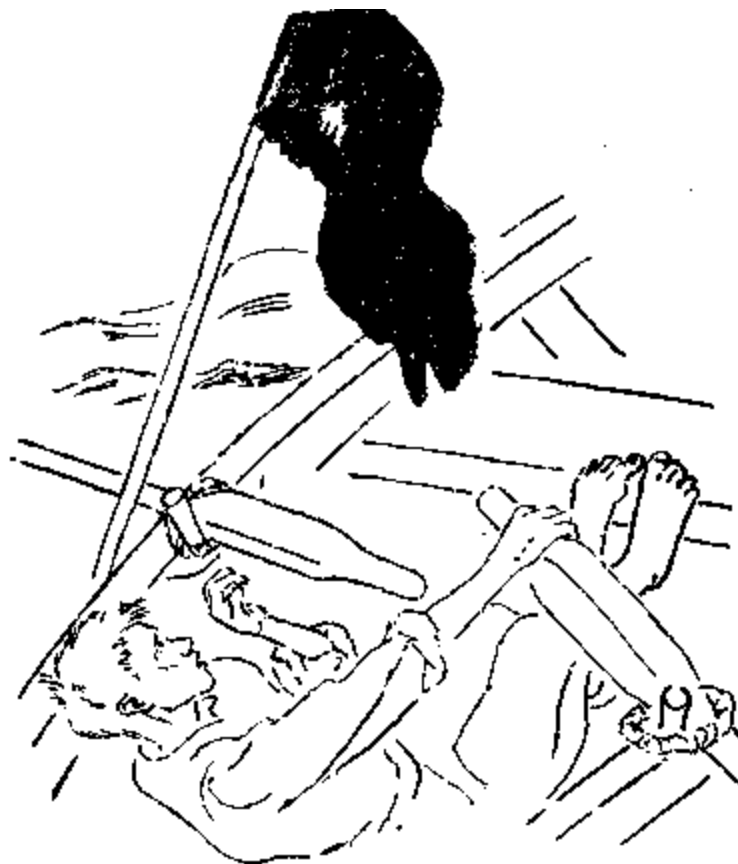
– Гребь, холера! – орет на меня.

Я тянусь, аж душа вон.

На второй ставке Косой опять сети перебирает. Смело взялся, как за свои. А я подгребаю. Тут я заметил, что пошел ветер. И вдруг мне показалось, что сейчас светать начнет, сейчас Фенькины хлопцы придут на желтой шаланде, на ихней, на здоровой, на три пары весел, и нас на месте нахлопнут.

Я тычу шаланду кормой уж как попало, лишь бы скорей. Добрались до второй махалки: черным шестом она из темноты на нас выходит.

Как живая, смотрит, замахивается.



Флажком по ветру треплется, змеится. Я и плядеть на нее боялся.  
Будто стережет!

А Косой ругается, что рыба мелкая пошла.

Я ему ласково говорю:

– Бросьте, Василий Семеныч, не стоит... Если, говорите, мелочь пошла, так господь с ней.

А он мне и брякнул:

– И трети ты своей не получишь, коли дело мне гадишь!

Бросил сетки – и за весла.

У нас дома голод, позагоняли на толчок что было. «Хоть бы дома накормить бы всех один только раз, коли уж на такое дело пошел!» Гребу я скорей от этой махалки, от проклятой. Черт с ней, с рыбой, с третью моей, – только бы, думаю, теперь на берег и домой. Буду, думаю, людям переметы<sup>[29]</sup> живлять и день и ночь за хлеба кусок, только бы все это добром кончилось! Гребу и зарекаюсь, чтоб за такие дела не братья.

Косой вдруг говорит:

– Ты что? Богу молишься?



Я и не знал, что это я громко... Думал, про себя зарекаюсь.

– Не будешь? А не навязывайся!

А я разве навязывался? Сам же он неделю целую мне в уши тархтел: «Мамка твоя голодная, ты голодный, вот так, – говорит, – пролетарий и пролетает. В трубу, значит... Тряхнем Феньку что надо! И черт святой знать не будет, где концы».

А теперь – «не навязывайся»! И так обидно мне стало! «Скорей бы только, – думаю, – на берег, и я – ходу, и чтоб не видеть никогда его».

А он вдруг поднял весла, нагнулся ко мне, рожа зверская.

– Ты, – говорит, – толькодохни кому! Ты забудь, как меня и звать-то! Да ты знаешь, кто я?!

Как присунется ко мне мордой самой. Глаз косой.

– Да ты знаешь... Я ведь не я, а я вот кто!

Такой он мне сразу страшный показался. И вправду не он, а другой. «Вот он, – думаю, – какой он настоящий-то! Ночью-то в море, да один на один!..»

Я и весла бросил. Он как гаркнет:

– Греби!

Я без памяти греб и не знаю, где у нас берег был, и откуда ветер, и сколько времени прошло.

Вдруг он стал легче грести, я тоже. Разворачивает шаланду.

Смотрю, под бортом у нас садок плавает здоровый. Пудов на девять рыбы. Подошли аккуратно. Я шаланду на веслах придерживаю.

Он стал рыбу в садок пересыпать. Тихонько, без шума. И я держусь, чтобы о садок не стукнуть. Пересыпал он рыбу – и чисто у нас в шаланде, ничего как и не было. Тут я огляделся, вижу: мы под берегом. Берег не наш, чужой.

Спустились мы в берег, дернули шаланду раз и два. У меня с голоду, с работы и со страху ноги подкашиваются. Рву руки – шаланда чуть подается. Косой ругается во всех святых и угодников...

Вдруг смотрим: и справа и слева по человеку стоит. С винтовками. И откуда и как они подошли? Я как увидал – все у меня внутри стало, как пустой мешок я сделался. Я и сел на борт – ноги не держат.

Они стоят, и мы не шевелимся.

Косой вдруг говорит так это ласково:

– Закурить у вас, землячки, нельзя?

Они молчат, как неживые. Я уж подумал: есть они или нет?

Потом Косой говорит мне громко, чтоб слышали:

– Ну, отдохни трошки, хлопчик! Сморился, бедный? А ну, дернем еще?

Я встал, хватаюсь за что попало, не дергаю, а, прямо сказать, держусь за шаланду, чтоб только на песок не сесть. Болтаюсь, как рыба на крючке. Шаланда – ни с места.

– Подсобите, товарищи, шаланду вытаскать, – говорит Косой.

Смотрю, те двинулись с двух сторон. Ничего не сказали, взялись, дернули.

– А вот спасибочки вам, – говорит Косой, да и хотел повернуть.

А те ему:

– Стой!

И стали они шаланду осматривать, все пересмотрели. А у нас ничего: весла одни. Ни снастей, ни крючков, ничего как есть.

Один, что повыше, говорит:

– Откуда?

Косой запел:

– С моря. С вечера перемет поставили, вот пошла погода – так мы проверить...

– Кто ж это в летнее время перемет с ночи ставит?

– Брось, товарищ, наливать! Приказ знаете?

– Да что же приказ, приказ? – кричит Косой. – Мы ведь самая пролетария, горькими нашими мозолями...

– А у садка чего вы ковырялись?

– Проверить же, на месте ли, а ведь знаете же... – гудит Косой.

А те говорят:

– Пойдем вот на кордон, там проверим. А ну, айда!

Пошли.

Один впереди, другой сзади, а в середине мы с Косым. И ни ног у меня, ни духу. И только махалку я эту черную вспоминаю, как она кивала на нас.

Вышли на обрыв и пошли по тропинке над кручей. Я только заметил, что чуть светать стало.

Ничего я уж не понимал, что Косой мелет. Только те не отвечали, а все покрикивали: «Айда, айдайте!»

Вдруг Косой дернулся и прыг под кручу.

Тот, что был сзади, вскинул винтовку и бах! бах! вдогонку, вниз, и стал спускаться с обрыва.

А другой схватил за ворот меня. А я – не то бежать, а идти не знал чем. И сел я на землю. Пришли еще красноармейцы с кордона, стали облаву делать, а меня повели на пост, где их казарма и все.

Живо по коридору протолкали к начальнику.

Сидит за столом, важный, в кожаном. На столе наган. Сбоку телефон в ящике. Посмотрел на меня – глаза, как гвоздики, – и спрашивает:

– Это вот что с ним был?

И прямо уперся в меня:

– Как звать?

Я думаю: «Врать или нет? Сейчас, – думаю, – узнают – и к мамке с обыском. Знаю ведь! Чуть что – сейчас обыск и пойдут тягать. Пусть, – думаю, – сгноят меня, а не скажу правду!»

– Ты не верти пуговицу. Говори, как звать!

Я вдруг заорал.

– Васькой, Васенькой, – кричу, – Васильем, Ва-си-ли-ем! – на разные голоса, чтоб поверили.

А меня Петькой Малышевым зовут.

Начальник выскочил из-за стола, как тряхнет меня за шиворот:

– Не врать мне!!

Я вижу, самое остается только реветь, все равно давно хотелось, и я ударился в слезы.

И таким я горьким воем завыл – голоса своего не узнал. Бить меня всего начало, сам не рад, что реветь пустился. Как сорвался.

Ночевал у них в казарме. Утром проснулся, не шевелюсь. Но знаю, что сейчас спрашивать опять будут... И про Косого... Вспомнил, как он в море-то себя показывал, – ну как я про него скажу?

Пусть бы мне кто тогда сказал, что мне надо делать!

Лежу и слышу – идет разговор промеж красноармейцев:

– В Чеку его, в Особый отдел, там, брат, узнают в лучшем виде.

А другой:

– Ну да, очень просто, что с монитором шпионаж возили! Это что к садку подъезжали – так это для понту, глаза отвести!

И вижу я, что все так выходит, что и не придумаешь, что им врать. И правду скажи – тоже веры не дадут.

А тогда эти мониторы офицерские – верно, что в наши берега ходили. Очень даже близко. Что же мне делать? Так бы вот лежал и не шевелился... До самой до смерти моей!

Слышу – затопали, выходить стали, и тишина настала. Полежал, полежал, а в голове все кубарем, кувыркком все кружит, и махалка эта черная, проклятая, так и кивает, кланяется.

И вдруг как будто что взвинтило меня.

Вскочил я, сел на койке. Осмотрелся: лежит на койке красноармеец одевши, ногу свесил и на меня глядит, улыбается. Смешной я, значит, был. Хороший, к черту, смех!

– Васька! – говорит.

А я зыркаю: кого это он кличет?

Он засмеялся, встал.

– Ну, все равно, – говорит, – как там тебя. Чай пить будешь? Я тебе подлопать дам.

Дает мне чашку каши:

– Наворачивай!

А сам сел рядом на койку.

Я думал, что мне не до каши будет, а ковырнул раз и не заметил, как кончил. Красноармеец принял чашку.

– Боишься, – говорит, – за батьку?

– Помер, – говорю.

– Нет, – говорит, – он утек, не нашли его.

Я даже не понял, что это он про Косого.

– Не батька, – говорю, – он мне и не дядька, никто он мне!

– Значит, он тебе вроде хозяина выходит?

И стал он закуривать и мне кисет сует, как большому. Я уж курил раза два. Взял я, а скрутить не умею.

– Эх ты, курец! – говорит и слепил мне сигарку.

Курим, а он говорит:

– Сказывать не будешь? Уговор, значит, держишь? Молодчина!

Мне вдруг обидно стало на Косого, я и говорю:

– А он свой-то уговор... треть мою... черта, говорит, ты получишь.

– Это уж евоное дело.

А я:

– Пудов, – говорю, – пять, не меньше, рыбы было, камбала – во, – говорю, – колесо – не рыба!

– На кухне, – говорит, – она у нас, в обед поешь, как в отдел не сведут.

И так слово по слову я ему все рассказал, как было. А он говорит, что уговор держи, дело святое.

– Хитрый, – говорит, – знал, кого с собой взять. Кто ж, – говорит, – он такой?

– Не знаю я, кто он, не знаю, ненастоящий. Черт он, вот кто!

А его смех взял.

– Какой, – говорит, – с чертом уговор может быть! Однако, – говорит, – дело твое. Думай, братишка, как тебе лучше.

И встал.

А что мне думать? Ничего я не знаю.

Налил он чаю холодного, а я и смотреть на чай не хочу. Не до чаю мне!

Думаю – и ничего в голове, одна эта махалка черная кивает, и ничего больше.

И вдруг я как сорвался.

– Что же делать-то мне, дядя, – говорю, – дорогой ты мой? – И вот-вот опять зареву.

– А ты прямо скажи: такой, мол, я и такой-то, а дела наши вот какие были. Мамка голодная дома пухнет, а он мне треть сулит. Я и пошел на дело. Застращал он меня в море, а кто он – я правильно сказать не умею. И квиты. На этом и стой. Что с тебя взять, с мальчишки!

И отошло все сразу – и махалка и Косой черт.

Вскочил я.

– Веди к начальнику, – говорю.

Встал я перед столом и срыву так и кричу:

– Петька я Малышев! Живу на Слободке, в Пятой улице! А дела наши вот какие!

И все, как было, вывалил.

А начальник смеется:

– Чего же ты вчера Ваньку-то валял? Сразу бы и говорил.

Взялся за телефон.

– Иди, – говорит, – обожди в казарме.

К вечеру отпустили. Потом раза два тягали, спрашивали. Я все на своем стоял:

– Петька я Малышев, а дела наши вот...

Так оно потом и присохло.

Только как приснится мне черная махалка, потом на целый день балдею.

А с красноармейцем я и сейчас друг.

## «Мария» и «Мэри»

Это было в Черном море в ноябре месяце. Русская парусная шхуна «Мария» под командой хозяина Афанасия Нечепуренки шла в Болгарию с грузом жмыхов в трюме. Была ночь, и дул свежий ветер с востока, холодный и с дождем. Ветер был почти попутный. Тяжелые, намокшие паруса едва маячили на темном небе черными пятнами. По мачтам и снастям холодными струями сбегала вода. На мокрой палубе было темно и скользко. Впрочем, сейчас и ходить было некому. Один рулевой стоял у штурвала и ежился, когда холодная струя попадала с шапки за ворот. В матросском кубрике в носу судна в сырой духоте спало по койкам пять человек матросов. Кисло пахло махоркой и грязным человеческим жильем. Мальчишку Федьку кусали блохи, и ему не спалось. Было душно. Он встал, нащупал трап и вышел на палубу. Он натянул на голову рваный бушлат<sup>[30]</sup> и зашлепал босиком по мокрым доскам. Слышно было, как хлестко поддавала зыбь в корму. Федька хорошо узнал палубу за два года и в темноте не спотыкался. Море казалось черным, как чернила, и только кое-где скалились белые гребешки.

Федька заглянул в люк хозяйской каюты.

Там вспыхивал огонек папиросы.

– Эге! – крикнул Нечепуренко. – Кто це? Хведька? А ну, ходы.

Федька спустился в каюту.

– Хлопцы огонь задули? Ну-ну! Жгут дурно керосин, не в думках, что в деревне люди с каганцами живут.

Огня не было не только в кубрике, но не были выставлены и отличительные огни по бортам: справа зеленый и слева красный. По этим огням суда ночью узнают друг друга и избегают столкновений.

– Як не спишь, – продолжал хозяин, – то уж не спи: тут могут пароходы встретиться. Поглядывай в море.

Федька подошел к рулевому.

– Что трясешься? – спросил рулевой. – Ямы боишься?

– Та смерз, – сказал Федька. – А кака та яма?

– Не знаешь?

Федька много слышал рассказней про яму, не верил им, но все-таки любил послушать. А ночью так и побаивался: а вдруг в самом деле есть?

– Нема никакой ямы, – сказал Федька, – ты ее видал?

– А вот и видал: там повсегда зыбь. Ревет! – аж воет. Я раз с греками плавал, видал, как судно туда утянуло. Хоп, и амба!

– Брешешь? – испугался Федька.

– Вот чтоб я пропал! Пароходы затягает.

– А где ж она?

– Аккурат посередь моря. Греки знают.

– Да врешь ты! – отмахивался Федька.

– Верное слово. Вот чего Афанасий не спит? – добавил рулевой вполголоса. – Накажи меня бог, ямы боится.

– Федька! – крикнул из каюты хозяин. – Смотри огни! Уши развесил.

Федька стал вглядываться в темноту, и действительно далеко впереди, справа, ему показался белый огонек. А сам прислушался, не гудит ли впереди яма.

Английский грузовой пароход «Мэри» с полным грузом русского хлеба шел, направляясь вдоль западного берега Черного моря, в Босфор, чтоб оттуда идти дальше в Ливерпуль.

Зеленый и красный огни ярко светились по бортам: там горели сильные электрические лампы. Еще один белый огонь горел на мачте. Этот огонь на мачте носят пароходы в отличие от парусных судов, которым пароходы всегда должны уступать в море дорогу.

Пароход был недавно построен, все было новенькое, и исправная машина работала как часы. На носу судна стоял вахтенный «баковый» и зорко смотрел вперед. Тут же висел большой сигнальный колокол, которым баковый давал знать вахтенному штурману, когда появится на горизонте огонь: ударит раз – значит огонь справа, два – слева, три раза – прямо по пути парохода.

Молодой помощник капитана, штурман Юз, был на вахте и ходил взад и вперед по капитанскому мостику.

Вдруг он услышал три спешных удара в колокол с бака. Он плюнул вперед: почти перед самым носом парохода слабо мигал зеленый огонек.



– Лево на борт! – крикнул Юз рулевому, и пароход резко покотился влево. Реи парусника едва не задели пароход.

– Проклятые! Дикари! Четвертый раз! – ворчал про себя Юз. – На курс! – скомандовал он рулевому.

Рулевой повернул штурвал, закликала рулевая машина, и пароход пошел по прежнему направлению.

Капитан Паркер сидел на кожаном диванчике в своей каюте, которая помещалась тут же у капитанского мостика. Две электрические лампочки горели над полированным столиком, на котором стояла бутылка виски<sup>[31]</sup> и сифон содовой воды. Капитан курил из трубки душистый английский табак и записывал в свой кожаный альбом русские впечатления. Он боялся, что за длинную дорогу забудет и не сумеет толком рассказать своим ливерпульским друзьям про Россию.

«На улицах громко говорят, кричат, – писал он, – на тротуарах толкаются и не извиняются...»

Бах, бах, бах! – опять раздались три удара с бака.

Капитан Паркер надел фуражку и выскочил из каюты.

– В чем дело, Юз? Опять? – спросил он помощника.

– Право, право, еще право! – командовал Юз.

Красный огонек совсем близко проскользнул мимо левого борта.

– Что они, издеваются? – сказал Паркер.

– Мы ведь должны уступать паруснику по закону, – ответил Юз.

– Но ведь закон, мистер Юз, запрещает ходить в море без огней, как пираты. Или вы считаете правильным, когда огни внезапно появляются за три сажени? – назидательно сказал капитан.

– Что же, бить? – спросил Юз.

– Надо быть твердым, когда ты прав.

– Конечно, следовало бы проучить, – слабо заметил Юз.

– Ну, а раз так, то не меняйте в таких случаях курса, Юз, – ответил Паркер.

Капитан круто повернулся и ушел к себе в каюту.

Артур Паркер представил себе, как его пароход, гладко выкрашенный в красивый серый цвет, горит яркими электрическими огнями, чистый, сильный, гордо идет среди этих замухрышек-парусников.

Джентльмен в толпе дикарей.

Он вспомнил, как в русском порту его два раза толкнули на улице.

Черт возьми! Он не успел опомниться, как уже обидчик куда-то исчез.

Никак не подворачивалось удобного случая, чтобы проучить эту публику. Артур Паркер представлял, как он будет рассказывать про это в Ливерпуле и как все будут ждать, что он сейчас скажет, как он сумел показать этим дикарям, с кем они имеют дело. А сказать было нечего. Паркер сильно досадовал на себя.

«Вот и с этим парусником упущен случай. Этот разиня Юз! Надо было просто – трах! Довольно миндальничать – носите огни в море... Какой был удобный случай!» – досадовал капитан.

Паркер снова вышел на мостик. Он надеялся все-таки, что вдруг представится еще такой же случай, и не рассчитывал на Юза.

– Они, кажется, вас выдрессировали, Юз, – едко сказал он помощнику, – вы ловко обходите этих господ, юлите, как лакей в ресторане.

Юз молчал и смотрел вперед.



– Дядьку, – крикнул Федька хозяину, – вже блище огонь, пароход аккурат на нас идет!

Нечепуренко высунулся из каюты.

– А таки здоровый пароход, – сказал он, помолчав, – должно, с Одессы, с хлебом. А ты где, Федька, закинул той старый фалень? С него ще добры постромки выйдуть.

– Дядьку! Ой, фонарь давайте! – кричал Федька. Он не спускал глаз с парохода, и ему ясно было, что если пароход через минуту не свернет, то столкновение неизбежно.

Рулевой не выдержал и стал забирать лево.

– Що злякавсь?<sup>[32]</sup> – крикнул Нечепуренко. – Держи, бисова душа, як було! На серники, – обратился он к Федьке.

Федька вырвал из рук хозяина коробок спичек и бросился в каюту, нащупал на стене фонарь, чиркнул спичку – красный. Надо правый, зеленый. Впопыхах дрожащими руками Федька чиркал спичку за спичкой, они ломались, тухли, он не мог зажечь нагоревшей свечки. Горит! Федька с маху захлопнул дверцу – фонарь мигнул и потух.

– Не сдавайся под ветер! – слышал он, как кричал наверху хозяин рулевому.

Федька снова чиркал спички, чувствовал, что теперь уж каждая секунда стоит жизни. Наконец он выбежал с зеленым огнем на палубу и направил фонарь к пароходу.

Пароход был совсем близко, и Федьке казалось, что прямо в упор глядят красный и зеленый глаза парохода. Он услышал, что там спешно пробили три удара в колокол.

– Так держать! – крикнул Нечепуренко злым голосом.

– Так держать! – раздалась жесткая команда по-английски на пароходе.

Не меняя курса, «Мэри» шла прямо на парусник.

– Лева, лева! – завопил Нечепуренко.

Но было уже поздно. Федька видел, как с неудержимой силой на них из темноты летел высокий нос парохода, не замечая их, направляясь в самую середину судна. Ему стало страшно, что пароход прямо раздавит его, Федьку. Он выпустил на палубу фонарь, опрометью бросился к вантам и, как обезьяна, полез на мачту.

– Гей, гей! – в один голос крикнули хозяин и рулевой, но в тот же почти момент оба слетели с ног от удара: пароход с полного хода врезался в судно.



Раздался страшный хрустящий удар. Федьку тряхнуло, и он едва удержался на вантах. В двух аршинах от себя он ясно увидел серый корпус судна; закрыл глаза, сжался в комок и изо всей силы уцепился за ванты. Что-то грохнуло, ударило, мачту покачнуло, и, когда Федька открыл глаза, он увидел удаляющиеся огни парохода, а внизу – он ничего не мог понять – вода была в двух аршинах под ним. Он вскарабкался выше и с ужасом видел, что вода поднимается за ним. Он стал на салинг и обхватил стеньгу, не спуская глаз с воды. Черная, слепая зыбь ходила там внизу, но теперь она не шла выше, как будто бы мачта перестала погружаться. Но Федька не верил и не отводил глаз от воды.

Капитан Паркер молчал и глядел вперед, как будто ожидая еще чего-то. Ему казалось, что это еще не все. А «Мэри» все удалялась от места крушения. Команда выскочила на палубу, все тревожно спрашивали бакового, что случилось.

«Все правильно, да, да, все правильно...» – думал Паркер. Он сам не ожидал, что так все это будет, и теперь испуганная совесть искала оправданий.

– Капитан, там ведь люди остались? – взволнованным голосом сказал Юз.

– Да, да... – ответил Паркер, не понимая слов помощника.

– Право на борт! – крикнул Юз рулевому. – Обратный румб!

– Есть обратный румб, – торопливо ответил рулевой.

– Да, да, обратный румб, – сказал Паркер, как будто приходя в себя.

Команда без приказаний готовила шлюпку к спуску.

«Мэри» малым ходом пошла назад к месту крушения. Матросы толпились на баке и, перебрасываясь тревожными словами, напряженно вглядывались в темноту ночи.

– Здесь, должно быть, – сказал Юз.

– Стоп машина! – скомандовал Паркер.

«Мэри» медленно шла с разгона. Но никто ничего не видел. Паркер скомандовал, пароход делал круги; наконец всем стало ясно, что места крушения не найти, не увидеть даже плавающих обломков в темноте осенней дождливой ночи.

– Найти, непременно найти, – шептал Паркер, – всех найти, они тут плавают. Они хорошо умеют плавать... Мы всех спасем, – говорил он вслух, – не так ли, Юз?

Юз молчал.

– Да, да, – отвечал сам себе капитан.

И он крутил, то увеличивая ход, то вдруг останавливая машину. Так длилось около часу.

– На курс, – вполголоса сказал Юз, подойдя к рулевому, и дал полный ход машине.

«Мэри» пошла опять своей дорогой на юг.

– Ведь за три сажени показались огни, Юз, не правда ли? – сказал Паркер.

– Не знаю, капитан... – ответил помощник, не повернув головы.

Паркер ушел в каюту.

Теперь он думал: «Там остались в море люди... их спасут. Ну, может быть, одного... он расскажет... а если все утонули, парусника не так скоро хватятся».

Он старался себя успокоить, вспоминая рассказы товарищей моряков, какие он слышал. Как-то все выходило с победой, и было даже весело и смешно. Он попробовал весело подумать, но случайно увидел свое лицо в зеркале, и ему стало страшно. Ему показалось, что теперь не он ведет пароход, а Юз везет его, Паркера, туда, в Константинополь. Ему казалось, что самое главное – вырваться из этого проклятого Черного моря. Прошмыгнуть через Босфор, чтобы не узнали. Проклятый серый цвет – все пароходы черные. Если б черный!.. Ему хотелось сейчас же вскочить и замазать этот предательский серый цвет.

Вдруг Паркер встал, вышел и быстро прошел в штурманскую рубку, где лежали морские карты. Через пять минут он подошел к Юзу и сказал:

– Ложитесь на курс норд-вест восемьдесят семь градусов.

«Мэри» круто повернула вправо.

Когда Паркер ушел, Юз глянул в карту: они шли к устью Дуная.

Русский пассажирский пароход возвращался из Александрийского рейса. Не прекращавшийся всю ночь сильный восточный ветер развел большую зыбь. Низкие тучи неслись над морем. Насилу рассвело. Продрогший вахтенный штурман кутался в пальто и время от времени посматривал в бинокль, отыскивая Федонисский маяк<sup>[33]</sup>, и ждал смены.

– Маяка еще не видать, – сказал он пришедшему товарищу, – а вот там веха какая-то.

– Никакой тут не должно быть.

– Посмотрите, – и он передал бинокль.

– Да, да, – сказал тот посмотрев. – Да стойте, на ней что-то... Это мачта, право, мачта.

Доложили капитану, и вот пароход, уклонившись от пути, пошел к этой торчавшей из воды мачте. Скоро вся команда узнала, что идут к какой-то мачте, и все высыпали на палубу.

– Побей меня господь, на ней человек, чтоб я пропал! – кричал какой-то матрос.

Но с мостика в бинокль давно уже различили человека и теперь приказали спустить шлюпку. Это трудно было сделать при таком волнении, и шлюпку чуть не разбило о борт парохода. Но всем наперерыв хотелось поскорее подать помощь и узнать, в чем дело. Даже бледные от морской болезни пассажиры вылезли на палубу и ожили. Пароход стоял совсем близко, и всем уже ясно было видно, что на салинге торчавшей из воды мачты стоял мальчик.

Все напряженно следили за нырявшей в зыби шлюпкой. Подойти к мачте так, чтоб кому-нибудь перелезть на нее, нельзя было, а мальчик вниз не спускался: видно было, как кричали со шлюпки и махали руками.

– Умер, умер! – говорили пассажиры. – Застыл, бедняга.

Но мальчик вдруг зашевелился. Он, видимо, с трудом двигал руками, распутывая веревку вокруг своего тела. Потом он зашатался и плюхнулся в воду около самой шлюпки, едва не ударившись о борт. Его подхватили. Федька был почти без чувств; с трудом удалось вырвать у него несколько слов: «Ночью... серый... нашу „Марию“... с ходу в бок...» Он скоро впал в беспамятство и бессвязно бредил. Но моряки уже поняли, что случилось, и в тот же день из порта полетели телеграммы: нетрудно было установить, какой серый пароход мог оказаться в этом месте в ту ночь.

Дней через пять после крушения «Марии» черный английский пароход пришел в Константинополь и стал на якоре в проливе. Штурман отправился на шлюпке предъявить свои бумаги портовым властям. Через час к пароходу пришла с берега шлюпка с английским флагом.

– Я британский консул, – сказал вахтенному матросу высадившийся джентльмен, – проводите меня к капитану.

Капитан встал, когда в дверях каюты появился гость.

– Я здешний консул. Могу с вами переговорить? Вы капитан Артур Паркер, не так ли?

– Да, сэр...

Капитан покраснел и нахмурился. Он волновался и забыл пригласить гостя сесть.

– Откуда вы идете? – спросил консул.



– Мои бумаги на берегу.

– Мне их не надо, я верю слову англичанина.

– Из... Галаца, сэр.

– Но вы шли из России? – спросил консул. – У вас был груз для Галаца?

– Ремонт, – сказал Паркер. – Он с трудом переводил дух, и консулу жалко было смотреть, как волновался этот человек. – Маленький... ремонт, сэр... в доке.

– И там красились? – спросил консул.

Паркер молчал.

Консул достал из бумажника телеграмму и молча подал ее Паркеру. Паркер развернул бумажку. Глаза его бегали по буквам, он не мог ничего прочесть, но видел, что это то, то самое, чего он так боялся. Он уронил руку с телеграммой на стол, смотрел на консула и молчал.

– Может быть, вы отправитесь со мной в консульство, капитан? Вы успокойтесь и объяснитесь, – сказал наконец консул.

Паркер надел фуражку и стал совать в карманы тужурки вещи со стола, не понимая, что делает.

– Не беспокойтесь, за вещами можно будет послать с берега, – сказал консул.

На палубе их встретил Юз. Он уже знал, в чем дело.

– Простите, – обратился он к консулу, – они все...

– Спасся один только мальчик, он дома и здоров, – ответил консул, – их было восемь...

Паркер вздрогнул и, обогнав консула, не глядя по сторонам, быстрыми шагами направился к шлюпке. Теперь он хотел, чтобы его скорее арестовали.

На другой день черная «Мэри» вышла в Ливерпуль под командой штурмана Эдуарда Юза.

## Вата

Это наконец нас стало заедать. Вот смотрите, приходите в порт, вот он, таможенный досмотр, ходит и поглядывает, во все уголки нос засовывает:

– Что у нас тут? А под койкой что? А в вентиляторе что?

И вот ничего не находит.

А тут, смотрите, один нашелся такой скорпион, то есть досмотрщик, что ничего ему не надо искать, прямо:

– Вот эту доску мне оторвите!

– Как так рвать? А назад кто ее пришивать будет?

– А если ничего там нет, то все в прежний вид приведу я. А как обнаружено будет к провозу недозволенное, то сами должны понимать... – И пальчиком стучает. – Вот в этом самом месте.

Чиновник, что с ним ходит, брови поднимает, ему в глаза засматривает: так ли, мол? Как бы сраму не было?

А этот скорпион долбит пальчиком:

– Небеспрременно здесь.

Рвут доску – и как чудо: в том самом месте штука шелка.

Потом идет тихонечко в кочегарку, сразу в угольную яму.

– Вот тут копайте.

А в этих угольных ямах угля наворочено гора, и раскидывать его некуда, да и темнота, только лампочка электрическая коптит. А он, как конь, ногой топчет этот уголь:

– Здесь копайте.

Роют.

– Ну, – говорят, – ничего там не сыщешь, тебя туда, черта, закопаем живого.



В этот уголь чиновник поневоле лезет. Назло ребята пыль поднимают, уголь швыряют лопатами, как от собак отбиваются. Гром стоит – ведь железо кругом. Коробка это железная – угольная-то яма. Называется только так. Чиновник чихает, платочком рот прикрывает. А скорпион все ниже лезет и лампочку на шнурке тянет.

– Зачем левой берешь, нет, ты вот здесь, здесь копай. Ага! Это что?

И лапами, что когтями, – цап! Пакет. Наверх, на палубу. Тут распутывать, разворачивать – бумажки. Каки-таки бумажки? Хлоп – и жандарм тут.

– Эге-с! – говорит жандарм. – Понятно-с. Механика сюда! Капитана! Акт писать: найдены зарытыми бумажки, а бумажки насчет того, чтобы царя долой, фабрикантам по затылку, и вообще неприятные бумажки. А пришли из-за границы.

Потом слух проходит, что дознались: бумажки за границей печатались, даже журнальчик среди бумажек нашли. Даже кипку изрядную. Журнальчик-то на тоненькой бумажке отпечатан. Тут всю машинную команду перетрясли. Водили, допрашивали.

Двоих так назад и не привели.

А скорпион этот уже гоголем ходит. То есть как это сказать? Он до сих пор змеей смотрел, а уж теперь прямо аспидом. Идешь мимо, а он дежурным на переезде стоит и провожает тебя глазами, как из дустволки целит. И видать, дрейфит, как бы кто ему не угораздил бульжником в башку. Оружие им полагалось по форме всего «селедка» – одна шашка. Но этому, слышно было, выдали револьвер, чтобы держал в кармане на случай чего. И все это знали.



Чиновник при всех ему говорил:

– С тобой бы, Петренко, клады в лесах искать. С тобой и рентгена никакого не надо. Как это ты? А?

– Это, ваше высокородие, нюх и практика.

Однако взяли двух. Но мы-то с Сенькой остались на пароходе. На берегу мы с ним имели совет меж собой. Ясно, что глаза скорпионовы с нами плавают, кто-то смотрит, слушает и заваливает публику. И мудреного тут нет ничего. У кочегаров и матросов на носу общие помещения – кубрики: кочегарский и матросский. По борту – койки в два этажа и по переборке такие же. Посреди стол. В углу икона, а над койками карточки, картинки разные. Все вместе едят, вместе спят. Тут чуть что пошептал, сейчас всем видать и все слышать. Протрепались ребята или без оглядки языком били, только это уже факт, что есть засыпайлы какие-нибудь меж своих же. А вот кто? Стали план разбивать: кто бы это был и как его узнать? А на пароходе стало совсем паршиво: все друг на друга волком. Всякий думает: «Это ты засыпал». Да и верно. У одного два несчастных фунта чаю цейлонского и то нащупал этот скорпион. Его ребята угощать пробовали. Откупорят заграничную бутылку, ему стакан. Выпьет, губы оботрет: «Доброе вино! А в сундучке у вас как?»

Но нам с Сенькой было задание – держать связь с границей, доставлять журнал. А тут на! Провалили, и двое людей засыпалось. Это с какими глазами мы туда выставимся! Хоть списывайся на берег да на другой пароход. И тут наши товарищи, здешние, стали срамить; нас с Сенькой такая досада взяла, что тех двух арестованных, кочегаров этих, даже и не жалели. Ругали прямо.

А в комитете нам сказали:

– Товарищи дорогие, мы уж и не знаем, как вам и доверять. То есть ребята вы, может, и верные, но нам сейчас швыряться сотнями номеров нельзя. Время горячее. Это не шутки. Не коньяк в пазухе проносить. Мы другой путь будем искать.

И все на нас глядят, и каждый думает, что мы с Сенькой шляпы и свистунки.

– Вы, – говорят, – товарищи, обдумайте.

Тогда я говорю:

– Этот рейс мы не беремся: действительно, надо все проверить. И мы скажем, а когда скажем, то уж... одним словом, скажем.

Чего тут было говорить? Пошли мы, как оплеванные. Но про доносчика этого решили, что выловим и тогда уж его, гада, просто в ходу за борт – брык... и в дамках. Мало что, упал человек за борт. Ночью. Бывает же такое.

Всех мы перебрали с Сенькой, всех обсудили. Да нет, все будто одинаковые. На всякого можно подумать. И вот что выдумали. Выдумали мы уже в море, когда снялись, а совсем уговорились в персидском порту, в Бассоре. Принимали мы там хлопок. Это как бы побольше кубического метра тюк. Он зашит в джут. И затянут двумя железными полосами, как ремнями. Вата, а в таком тюке четырнадцать пудов ее. Это ее прессом так прессуют, что она там, в этом пакете, как камень. Даже не мягкая ничуть.

И вот наш план.

Будем говорить в кубрике за столом вдвоем по секрету. И смотреть, чтобы только один человек мог нас слушать. И начисто никто больше. И говорить будем, как вроде секрет меж собой. Так к примеру: «Так ты не забыл, значит, как это место (тюк, значит) пометил?» А другой должен говорить: «Нет, на каждой стороне красная точка в пятак». – «А сколько там номеров?» – «А две сотни газет положено, так сказывали».

А при другом говоришь, что не точка, а кресты по углам черные. И для каждого разные марки. И, чтобы не спутать, Сенька все себе запишет где-нибудь.

Нас на погрузке ставили трюмными; это значит стоять в трюме и глядеть, чтобы грузчики правильно раскладывали груз. Грузчики – персы – по-русски ни дьявола не смыслят. Значит, что я ни делаю, рассказать они не могут. А потом я над ними вроде распорядитель всех делов. Сенька у себя во втором – тоже. Каждый взял по ведру с краской и кисточку. Это мы наперед приготовили. И жара там, в Бассоре, невыносимая. Краска стынет, как плевок на морозе. Вот я делаю вроде тревогу, персы на меня смотрят. Я сейчас с ведром и мечу красным тюк. Они думают, что это надо по правилу. Уважают, я, значит, приказываю: осторожно, не размажь и кати его туда. Они слушают. Уж к обеду мы все марки наши поставили – 27 марок по числу людей. Теперь осталось 27 разговоров устроить. И чтобы виду не показать, что мы это «на пушку» только.

Первый раз чуть все не пропало. Сенька – смешливый. Я при Осипе так серьезно начинаю:

– А ты, – говорю, – помнишь, какую ты марку ставил?

И вижу – Сенька со смеху не прожует. Меня, дурак, в смех вводит, вот-вот и у меня клапана подорвет. Не могу на него глядеть.

Говорю ему.

– Ты выйди на палубу, – говорю, – погляди, француз нас догоняет, Мессажери.

Он еле до порога добежал. Ну, что ты с таким станешь делать? Я уж думал, пропало наше дело.

Потом ему говорю:

– Если ты мне на разговор смешки начнешь и комики разные строить, то чтобы мне сгореть, я тебя тут же вот этой медной кружкой по лбу. Разобрал?

Опять, что ли, с Осипом наново начинать? Оставили его напоследок. Взяли Зуева. Он все папиросы набивал. Сядет с гильзами и штрикает, как машина. Загонял потом их тут же промеж своих, кто прокурит. Он себе штрикает, а мы вроде не замечаем. Начали разговор.

Сенька со всей, видать, силой собрал губы в трубку и не своим голосом, как удушенник:

– Красным крестом метил.

Ходу нам до дому месяц, и за месяц мы всех 27 человек разметили на все наши 27 марок и всех записали.

Потом я Сеньку спрашиваю:

– На кого думаешь?

– На Осипа, – говорит. – Он аккурат присунулся ближе, как ты сказал, что двести номеров. А ты на кого?

А я сказал, что Кондратов. И потому Кондратов, что он сейчас же встал и отошел. Только услышал, что кружком мечено, и сейчас же запел веселое, вроде нигде ничего, и вон вышел.

Простак, гляди какой!

– На Осипа, – говорю, – думать нечего. Он человек семейный, ему подработать без хлопот, да вот сахару не ест, домой копит.

А уж к порту подходили, я уж совсем смешался, на кого думать. Семейный, а может быть, он самый и есть предатель, этим и подрабатывает. Другой вот: Зуев; чего он веселый, надо не надо? Чего он ломоты эти строит? Так его и крутит, будто штопор в него завинтили. Из кочегаров двое тоже были у нас на мушке. Потом нам стало казаться, что на нас все по-волчьи плядят. Может, меж собой рассказывали про наш разговор? Уж не знали, как до порта дойдем.

Однако ничего. Опять чиновник к нам, опять этот самый скорпион, жандарм, все, как полагается. Но только началась выгрузка, видим, бессменно скорпион стоит и каждый подъем глазом так и облизывает. Мы тоже поглядываем. Грузчики на берегу берутся по четыре человека, таскают эти тюки и городят из них штабель. Вдруг этот скорпион:

– Эй, эй, неси прямо в проходную таможеню! Неси, неси, не рассказывай.

Хорошо я заметил, а то сами бы мы проморгали, – с красным крестом на углу.

Я в заметку – Зуев.

Но уже по всему пароходу шум: понесли тюк хлопка в таможеню. Сейчас уж чиновник пришел на пароход, приглашает немедленно нашего старшего помощника – капитан в городе был, на берегу. Еще двоих понятых из команды. Боцман говорит мне: «Ты пойдешь». И еще кочегар один. Приходим. Комнатка небольшая, всего одна скамейка по стене. Два окошка. В окошки люди пялятся. Посреди этот тюк. Чиновник стоит, губки облизывает. А скорпион весь на взводе. Шепчет чиновнику грозно что-то в ухо. Чиновник уж перед ним девочкой так и ахает.

– Ах, скажите, пожалуйста, да уж знаю, знаю, насквозь видишь, рентген!





Ждали жандарма. Вот и жандарм. Послали кочегара за кусачками. Живо смотался, принес. Наш старший помощник говорит:

– Пишите акт, что вот кипа хлопка в четырнадцать пудов, что по вашему требованию, что вы отвечаете.

Чиновник со смешком:

– Па-ажалуйста, сделайте ваше любезнейшее одолжение.

Тут же на скамейке папку расстелил и пишет.

– Откупоривай, – говорит помощник кочегару.

– Есть! – И кочегар – хлоп-хлоп! – перекусил обручи. Кипа, как живая, поддала спиной и распухла.

– Режь!

Полоснул кочегар по джуту, раскрыл: белая вата плотно лежит, будто снег, лопатой прибитый.

– Начинай, – шепотком говорит чиновник.

И начал скорпион сдирать слой за слоем эту вату. Чиновник тут же крутится. В окна столько народу нажало, что в комнате темно

стало. Жандарм два раза ходил отпугивать. А ваты все больше да больше. Копнет ее скорпион, ломоток один, а начнет трепать, – глядишь, облако выросло. Чиновник уж весь в пуху, пятится. Дорогие мои! Скорпион еще и четверти кипы этой не отодрал – полкомнаты ваты, и уж окно загородило. Он уж в ней по брюхо стоит, как в пене, и уж со злости огрызается, рвет ее клочьями, ямку посередке копает.

Кочегар говорит:

– Пилу, может, принести?

Чиновник как гаркнет:

– Вон отсюда, мерзавец!

А наш старший:

– Это как же? Занесите в акт: оскорбили понятого.

Мы уж к двери пятимся, вата на нас наступает. Чиновник видит: костюм уж не уберечь, там же роется.

Их уж там видно стало, как во сне, потонули вовсе. А старший наш кричит:

– Ничего не видать, может, обман, может, еще подложите чего?

Уж и взбеленился чиновник, выбегает оттуда: домовой не домовой – чучело белое, вата на нем шерстью. Эх, тут как заорут ребята:

– Дед-мороз!

Он назад. Они там с досмотрщиком вату топчут, примять хотят, да где! Она пухнет, всю комнату завалила, а полкипы еще нет.

Выскочил таможенный чиновник:

– Мерзавец! – кричит. – Запереть его там.

И побежал домой. Мальчишек за ним табун целый. Я на пароход. К Сеньке. «Где Зуев?» – «Сейчас был». Мы туда-сюда, нет Зуева. Так больше и не видал его никто. Сундучок его сдали в контору. И за сундучком никто не пришел.

## Николай Исаич Пушкин

Стоят на пристани пассажиры, ждут парохода.

– Вон, вон, кажется, «Пушкин» идет.

Отвечают портовые люди:

– Правильно, это Стратонов.

Пассажиры:

– «Пушкин» ведь?

– Ну да: Николай Исаич.

Пассажиры переглядываются – вот неучи какие моряки: не знают, что Пушкин – Александр Сергеевич. Николай Исаич Пушкин! Вот дураки-то.

А Николай Исаич стоит на мостике «Пушкина», глядит в бинокль и рывкает из бороды:

– Права... еще права. Так, так держать!

И знает Николай Исаич, что весь «Пушкин», от верхушки мачты до днища, – все это он – Николай Исаич. И что когда посадит он «Пушкина» на мель, никто не скажет: «Пушкин» напоролся, а прямо будут говорить:

– Николай Исаич на мель сел. Стратонову скулу помял... пять футов воды в трюме.

Сам все эти пять футов воды ртом бы выпил, и пусть бы обе скулы, всю бы морду ему разворотили, с радостью дал бы Николай Исаич, лишь бы не было такого греха.

И так вот всякий капитан.

Потому и говорят: «Ерохин снялся; Федор с моря идет».

А в «Федоре» этом – десять тысяч тонн, и на носу покрашено: «Меркурий».

Я сам это понял только тогда, когда первый раз посадил парусник. Дело было просто. Шел я в свежую погоду у Тендры, ночью. Помощник мой вахту стоял. Вот по времени должна уж быть Тендра. А это, надо сказать, песчаная коса, ее и днем-то за двести саженой можно не увидеть. Я вышел и слышу: не та зыбь, метет прибой, россыпи слышно.



Я говорю помощнику:

– Сейчас в Тендру вопремся, уваливайтесь под ветер.

А он говорит:

– Приведите к ветру, лот брошу.

То есть чтоб я поставил судно против ветра, а он смерит, сколько глубины!

А привести к ветру – это выходит с ходу еще сажень двадцать пролететь к берегу.

– Приведите! – кричит помощник.

– На вашу голову?

– Ладно. – И побежал он с лотом на бак.

Я привел, и еще ходу не потеряли, как ткнуло в грунт и дрогнуло все судно. Подняло зыбью и ударило дном. У меня душа оборвалась.

Потом на берегу спрашивали:

– Ты под Тендрой сидел?

– Да, понимаешь, помощник...

Все усмеваются, отворачиваются. Никто настоящего слова не сказал. Отец только мне сказал это слово, да его не напечатают. И верно. А помощнику что? Сидел-то ведь не он, а я.

И с тех пор я уже накрепко понял: не судно ходит, а капитан. Не судно гибнет, а...

Вот тут-то я вам и расскажу недавний случай с моим другом-приятелем. Дело было так.

Ледокол промышлял во льдах в Белом море. Промышлял, то есть у него на борту было душ полтораста промышленников, и ледокол лазил меж льдов по свободной воде, шел туда, где залег зверь. Капитан был молодой, лет тридцати пяти мужчина. Промышленники его любили за то, что с ним пойдешь – всегда удача. Зверя было «балго», и набили на льдине тюленей – беда сколько. Били и отстать не могли, в раж вошли люди от крови и от удачи. Такая жара пошла, что капитан сам не выдержал, сбежал на лед и сажил багром тюленьи головы.

– Эх, здорово капитан завел, – красные, в поту и в крови, хвалили капитана промышленники.

А с запада потянул ветерок. Капитан уж на месте и торопит ребят:

– Ну, кончай! Кончай!

Да как бросишь? В десять лет раз, старики говорят, такая удача! Не бросать же, коли само счастье в руки лезет. Отвернись от него, так и оно отворотится. А вест свежает. Свежает вест, давит на лед, и вот двинулась льдина, и дрейфует (дрейфовать – идти без машины, силой ветра) ледокол у кромки со льдом вместе. Помалу дрейфует к востоку.

Темнеть стало. Ай, и капитан, ну и капитан – прямо счастьем в карман вперся! Еще полчаса!

– Все на борт, снимаюсь!

Двинул капитан вдоль кромки: узкой полосой шла, как река в ледяных берегах, свободная вода.

– Умаялись, ребята, вари чего там на ужин.

А капитан дал полный ход: надо уйти из этой щели, а еще не известно, как там лед впереди. Часом бы раньше...

– А ну, смотайся в машину, скажи там, чтоб шевелили, сколько духу.

И стал капитан серьезным. Ходил по мостику и слышал, как внизу гомонят ребята, какого-то Митьку дразнят: вгорячах себе в валенок багром засадил. До Митьки тут! Ходу, ходу еще! Вон лед прямо по носу. Нет, это не поворот в канале, а затор. А может, слабый лед? И капитан заметил, как помощник косым взглядом глянул на него. Капитан подошел к телеграфу и два раза повернул ручку на весь размах и поставил на «полный» – значит, дай самый полный. Слышно

было на мостике, как прозвонил крутым раскатом телеграф в машине. Пароход летел прямо в затор, сейчас, сейчас вонзится. Пароход ударил лед пологим форштевнем (выступающее ребро на носу), выскочил, задрался нос, и сразу смолкли голоса под мостиком. Ледокол влез носом на лед и стал, тужился машиной. И капитан и помощник, сами того не замечая, напирали на планшир мостика, тужились вместе с ледоколом. Нет! Стоп!

– Назад!

Машина стала, и снова заурчало в брюхе парохода. Ледокол слез, скатился форштевнем; соскочил со льда и присел на минуту нос. Лед не поддался. Два раза еще ударил в лед капитан и запыхался, помогая пароходу. Он знал, что назад выхода нет и развернуться в узком канале нельзя. А внизу опять гудят, орут, как на ярмарке.



– Митька-то, в валенок!.. Ах, чтоб тебе!

И кто-то кричит:

– Значит, дрейфует, вались спать, ребята!..

Капитан сам знал, что придется дрейфовать к осту вместе со льдом в этом узком канале, в ледяной коробке. И знал капитан, знал по счислению, что там, справа к осту, – «кошки Литке». Пошел в

штурманскую, плянул на карту, плянул во всю силу. Да, вот ровно на ост – «кошки Литке». И сейчас отлив, малая вода.

А вест свежал и свежал. Стало темно, промышленники уж глухо гудели под палубой, и только две папироски остро горели у правого борта. Двое курили и сплевывали за борт.

Если б можно было ходить пешком по дну, хотя бы в водолазной одеже, то чего бы человек не увидел! Как леса, стоят на камнях водоросли, и в них, как птицы, реют рыбы. Вот, как пустыня, лежит песчаная отмель, и камни, как ежи, сидят, поросли ракушей. А дальше горы. Горы стоят, как пики, уходят ввысь, и, если взобраться на них, уж рукой подать до неба – до водяной крыши, что дышит приливом и отливом каждые шесть часов.

И такие горы стоят на дне Белого моря. Их нащупал Литке, нанес на карту, и с тех пор называются «кошки Литке». И в полную приливную воду может над ними пройти пароход, но в отлив напорется и раскроит себе брюхо.

Эти самые «кошки» и были по правому борту ледокола, и был отлив, то есть была «кроткая вода»; когда кончится отлив, должен начаться прилив.

Капитан знал это. Знал, что в узком канале он будет дрейфовать до самых «кошек»; что если он брюхом упрется в «кошки», то через минуту лед слева подойдет к борту вплотную, напреет, напреет неодолимо, как если бы берег, сам материк надвинулся на него, напреет в борт и положит ледокол мачтами на воду, и тогда – аминь. Звать по радио на помощь? Кто же пробьется к нему, когда он, ледокол, не может выбиться? Только раззвонить по свету... чтоб люди смеялись и враги радовались. И он знал, что вот скоро-скоро царапнет дном.

Приказал держать полный пар и ушел в каюту. Посидел на койке, все смотрел свои большие руки.

«Положит набок пароход... положит...»

Где «кошки»? И спиной чувствовал, что там, сзади него, под водой, подо льдом, стоят эти «кошки» и ждут. Сколько до них? Нельзя знать, тут дело не в сажнях. Поглядел в альманах (астрономический справочник). И без карандаша в уме считалось само до секунды – сейчас идет прилив, – только начался. И капитан натуживался,

помогал подниматься воде, каждый дюйм воды будто сам своей натугой подымал. На пароходе было тихо, и только слышно было под низом, как гудит динамо, качает свет. Свежий вест драил по мостику. А ухо было все внизу, там, у дна, где должны царапнуть камни. Капитан перестал глядеть на часы и считать дюймы, а слушал.



Вот! Чиркнуло. На пароходе спокойно, никто не слышал. Капитан вытянул ящик и вынул кольт.

Камни теперь пойдут выше и выше... Но бежит вода на помощь, оттуда, из океана, через горло Белого моря. Поспееет ли?

Ух, заскребло как, заскрежетал кто-то зубами. И пошатнуло ледокол. И вон голоса на палубе. Помощник прошагал мимо двери, но не стукнул в дверь... Опять! Покренился чуть... Пронесло... Кричит кто-то на палубе:

– На лед, да и пойдём, ещё как пойдём-то, куда с добром. Телеграмму даст... Всех снимут. Да к маяку зашагаем, что по земле.



Погоди скакать, трап спустим.

Гудят, топают. Теперь даже весело кричат. Все на палубе...  
Механик около дверей говорит:

– Так вы спросите, тушить, что ли, котлы? А то я на лед, и марш.

И голос помощника:

– Спрашивайте сами... А я спрашивать не стану. Вона сколько уж народу на льду-то.

И оба отошли через минуту.

Опять! Опять! И в ответ загудело на палубе, но капитан слышал только, как силится, скребется он дном по камням. Капитан взял в руку кольт. Нет, поддувает, поддувает вода... а в упор к борту стоит лед.

Нету! Нету! Уже пять минут, может быть, нету... Капитан взглянул на часы. Если еще пять минут не будет...

И не было. Капитан глянул на себя в зеркало. Он был красен весь, лицом и шеей, в один ровный багровый цвет. Не узнавал красного человека и от глаз не мог оторваться: сам на себя смотрел.

Потом, не брякнув, сунул кольт в ящик и аккуратно притворил. Вышел на мостик. Взошла красная луна.

– Определиться? – спросил помощник.

– Всех я вас уж определил, кто чего стоит, – сказал капитан и сам взял секстант (астрономический прибор) из штурманской.

А утром стал бриться и увидал, что виски седые.

## «Мираж»

Прежде я напишу о «Мираже». У меня сейчас воспоминанья о нем, как о таинственном чуде. Он пришел в ночь перед гонкой, стал поодаль от других на якоре. Он стоял и не глядел. Все яхты глядели, подмигивали блеском меди, болтали на ветре полуспущенными парусами, другие грозили бушпритом – казалось, высунулся он вперед не в меру. На всех хлопотали около снастей, перекрикивались. «Мираж» стоял, строго вытянувшись обтянутым обводом борта, с тонкими, как струны, снастями; казалось будто он подавался вперед, будто, стоя на якоре, шел.

Ничто не блестело. Ни одного человека на палубе. Это никого, как видно, не удивляло; казалось, такой пойдет без людей. Я не мог отвести глаз: он был без парусов, но он стоя шел. Я все смотрел на эти текущие обводы корпуса – плавные и стремительные. Только жаркой, упорной любовью можно было создать такое существо: оно стояло на воде, как в воздухе.

– Видал ли? – Мой хозяин подтолкнул меня локтем и кивнул на «Мираж».

Я должен был вести его яхту. Дело шло не только о чести: полуторатысячный приз. Один только: первый.

– Что думаете? – шепотком спросил хозяин и метко в меня прищурился сбоку. Потом вытащил свой золотой хронометр. – Там поговорим, – и застучал английскими ботинками по каменному трапу к шлюпке. Подстелив под белые брюки платочек, сел в корму.

Даже сажень отойдешь от берега, и вас охватывает вода. Вы чувствуете ласковую мягкость под ногами, там, под дном шлюпки, плотный запах морской воды, яркие зайчики на зыби – плянуть и отвернуться. Мне стало весело от воды с солнцем, я уж не думал о призе, о конкурентах, мне просто хотелось выйти поскорей в море, в веселый ветер, в живую зыбь и вот поглядеть бы, как этот «Мираж» будет делать свое дело.

На яхте боцман пришивал к парусу наш гоночный номер: белый квадрат с цифрой 11. Мне не о чем было хлопотать: команда «надраена». Все маневры она производила без запинки ночью. Снасти

первейшего качества. Гоночные паруса пойдут в работу нынче всего третий раз. Я смотрел на «Мираж» и случайно увидел, что наша шлюпка подошла к одной яхте. Мой белый хозяин что-то говорил через борт и отвалил дальше. Что за визиты? До гонки оставался час. Ровно в десять – пушка и старт. Старт «хронометрический». Это значило, что каждому отметят время, когда он вышел и когда пришел. Выходить можно в любой момент в течение десяти минут. Затем дается второй выстрел из пушки, и после «старт закрыт». То есть, если ты прошел старт после второго выстрела, то не считаешься участником гонки. На старт уже вышел буксирный пароход. Там судейская комиссия, дамы с зонтиками и оркестр музыки. Этой музыки не любили – она принижала: балаган или карусели?..

Я сказал ставить грот, и парус стал медленно подниматься. Смятую пока парусину бойко принялся трепать ветер. Мне надо было теперь смотреть, чтоб парус стал в меру туго. Я стоял, задрал голову. Мачта чуть забила в небо, и белый, как сливки, парус вырастал и оживал. Я хотел забежать и глянуть с носа на все это дело, как тут за мной прислал хозяин – просят в каюту.

В кают-компани сидело трое: двое наших и один иногородний. Хозяева яхт. Они были тоже в белых костюмах.

Мой хозяин брезгливо и зло насупился на меня.

– Мы останемся с носом. – У него вздернулся ус. Он сделал пальцами нос. – И они тоже. – И он направил нос поочередно на каждого. – Я предлагаю – «коробку». Бросьте, это вполне законно. Первый старт проходит «Мэри», – он ткнул на иногороднего. – «Миражу» выскочить первому мы не дадим. Затем «Зарница» и «Джен». Теперь пусть они, – хозяин мой ткнул толстым пальцем в стол, будто поймал блоху, – а тотчас следом мы. Стойте! Стойте! Мы потому, – он стал грозить мне пальцем, он уж весь вспотел от азарта, – потому, что у нас паруса больше всех и на попутном ветре мы ему закроем ветер. Он вправо, – хозяин оскалился от улыбки и мотнул задом вправо, – а там «Зарница»! Он влево – а это тебе собака? – и он ткнул на гостя. – То есть «Джен», я говорю, собака? И вот выкуси, выкуси! – И хозяин сложил шиш и, вывернув локоть, завил шиш под самую палубу. – И вполне, вполне законно! Раз ты такой ходок, вырывайся своим ходом-то знаменитым!

Он стал обмахиваться фуражкой. Лицо уж серьезное, законное, будто о просроченном векселе речь.

– Что вы хотите сказать?

– Вы-то, такой руленой, не сумеете закрыть ветер? Бросьте! Именно вы!

– Да с вами, – галдели гости, – мы уж... Да что говорить! – и меня хлопали по спине.

Мне это польстило.

Хозяин выдернул золотой хронометр.

– Ну, я скажу вирать якорь.

Оставалось полчаса. Я выскочил наверх и плянул: «Мираж» все так же стремительно стоял, не глядел на меня и не поднимал парусов.

Мы снялись и побежали из порта. Я оглядывался на «Мираж». Вдруг я увидел белую птицу; она, чуть наклонив крыло, летела над морем – я не узнал «Миража», я не видал, когда он поднял паруса. Казалось, не было корпуса: одни паруса, как перья, гнало ветром над водой.

Без шума, без всплеска он проскользил мимо нас и бросил, как стоячих.

– Машина, – сказал наш боцман и покрутил головой.

Хозяин сплюнул за борт.

Ветер с утра заметно упал. Я все последнее время следил за погодой и ждал, что к полудню будет мертвый штиль. С двух часов пойдет ветер с моря и раздуется часам к пяти до свеженького. К этому времени мы рассчитывали закончить нашу дистанцию.

Прямая между портовым маяком и мачтой судейского парохода – линия старта. Яхты добежали до прямой и отбежали назад, ожидая пушки. «Мираж» курсировал поодаль. «Мэри» стояла перед самым стартом, полоская парусами на ветре: стерегла старт, чтобы вырваться раньше «Миража». «Зарница» и «Джен» вертелись подле. На старте для развлечения публики оркестр играл вальс.

Пушка!

«Мэри» подобрала паруса и сунулась вперед. За ней «Джен» и «Зарница».

Да, так и вышло: первая прямая попутным ветром до вехи – она за шесть миль впереди.

Я не спешил. Я боялся только, чтоб прочая мелюзга, что шла для счету только, чтоб она не замешкалась по дороге. Я смотрел и не проходил старта. Прошло восемь минут. «Мираж» не проходил. Я двинулся к старту, рисковать было нечего: я всегда мог отойти в сторону, пропустить «Мираж» вперед и потом выйти ему в корму и отнять ветер.

За минуту до второй пушки я прошел старт. Грянул выстрел, но «Мираж» уж вдвинул свой нос в линию старта. Это он сделал с жонглерской ловкостью. Я больше всего боялся, что он ударится прямо в сторону и большой зигзагой придет к вехе раньше, чем мы напрямки. А тогда ищи-свищи! Он так бы и сделал, догадайся он о «коробке». Но «Мираж», раскинув паруса, как бабочка крылья, легко понесся следом за нами. Когда я глядел, как он нас догоняет, мне казалось, что он скользит с ледяной горы, и все скорей и скорей.

Его пронесло мимо нас.

– А ну! – продышал мне в ухо хозяин.

Я чуть положил руля, и наш «Буревестник» всем своим беленым забором – мне уж наши паруса казались досками – закрыл ветер «Миражу». У него ход сразу спал. Опали надутые паруса. Я видел, как он попробовал взять вправо и как «Зарница» открыто подставила борт. «Джен» подошла поближе с левой стороны «Миража». Уж совсем явно, совсем в открытую показали «контору», захлопнули в «коробку».

Я думал: что делать, если я нагоню «Мираж» вот теперь, когда он без ветра? Уменьшать паруса? Отпустить их слабее при попутном ветре я не могу.

Но все шло по-чудесному: «Мираж» с парусами «без ветра» шел не тише нас, и мы его не нагоняли.

Хозяин мой с носу пялился в цейсовский бинокль и кричал мне на корму:

– И они, каналы! Никто не обернулся ни разу. Скажите, райские птицы!

Он сбегал в каюту и вернулся оттуда, жуя, с графинчиком и рюмкой.

– Одну? А? Не пьете в море? Ну, ну, святое дело!

Ветер падал. Он из последних сил дохнул раза два и выдулся. Кой-где повеял в стороне – мазанул черными рябинками на море и

стал; море поглянцевело.

– Ну вот, пожалуйста, – хозяин мой выгнутую ладошку совал к «Миражу», – можете чайк пить! Вы говорите, до двух часов? – обернулся он ко мне. – Дайте руль боцману, идемте вниз.

Да, море лоснилось и дышало длинными валами, как после работы.

Впереди, мили за две от нас, болталась черная шлюпка с обвисшим красным флагом. Нас течением относило понемногу влево и назад. До двух часов – где-то мы будем!..

Я пошел на нос и стал глядеть на «Мираж». В бинокль мне виден был рулевой в черном пиджаке и в серой кепке. Он что-то рукой показывал двум молодым людям. Что же это они? Они подтягивают паруса. Ну, ну, валяйте! «Мертвый штиль». Но через минуту мне показалось, что «Мираж» стал дальше. Да, он обходит «Зарницу»; «Мэри», что впереди, недвижна: она не может подставить корму, она не может не выпустить «Мираж». Хозяин мой два раза из каюты присылал матроса за мной. Но чем шел «Мираж»? Изредка, правда, передували сквознячки, но они и папиросной бумажки со стола не сдули. Зажженная спичка спокойно горела, как свеча. Хозяин прибежал за мной, когда «Мираж» уже обогнул веху.

– Да идите же! – и тянул меня за рукав. – Стоп! А где «Мираж»?

Я протянул руку.

– Да черт вас подери! Да что ж вы тут делали? Чего смотрели?

Он вернулся и топал по палубе каблуками. Он стучал кулаком по борту.

– Эх, ей-богу, я-то думал, беру человека... Тьфу, дьявол! – И он побежал в каюту.

А впереди «Миража», далеко правда, чернела полоса на море: видно, там работал какой-то ветерок. «Мираж» шел туда. Шел в полном штиле, как волшебной силой.

Нас несло течение все так же: влево и назад.

Мы видели, как «Мираж» подхватил ветер, как он прилег набок.

К трем часам ветер дошел до нас. И черт бы его, этот ветер: с ним прилетел и выстрел со старта. «Мираж» кончил дистанцию, и нам больше нечего было делать: мы повернули и пошли назад.

Мы узнали, что «Мираж» прошел старт, сделал поворот и пошел в море, домой. Никто не съехал на пароход, чтоб выслушать решение

судейской комиссии. «Мираж» не ответил на салют со старта, а молча пронесся мимо. И даже не оглянулся никто – прибавляли.

Мне лет через пять рассказывали про эту гонку, но я не сознался, что «коробку» замыкал я.

## Механик Салерно

### I

Итальянский пароход шел в Америку. Семь дней он плыл среди океана, семь дней еще оставалось ходу. Он был в самой середине океана. В этом месте тихо и жарко.

И вот что случилось в полночь на восьмые сутки.

Кочегар шел с вахты спать. Он шел по палубе и заметил, какая горячая палуба. А шел он босиком. И вот голую подошву жжет. Будто идешь по горячей плите. «Что такое? – подумал кочегар. – Дай проверю рукой». Он нагнулся, пощупал: «Так и есть, очень нагрета. Не может быть, чтобы с вечера не остыла. Неладно что-то». И кочегар пошел сказать механику. Механик спал в каюте. Раскинулся от жары. Кочегар подумал: «А вдруг это я зря, только кажется? Заругает меня механик: чего будишь, только уснул».

Кочегар забоялся и пошел к себе. По дороге еще раз тронул палубу. И опять показалось – вроде горячая.

### II

Кочегар лег на койку и все не мог уснуть. Все думал: сказать, не сказать? А вдруг засмеют? Думал, думал, и стало казаться всякое, жарко показалось в каюте, как в духовке. И все жарче, жарче казалось. Глянул кругом – все товарищи спят, а двое в карты играют. Никто ничего не чует. Он спросил игроков:

– Ничего, ребята, не чуете?

– А что? – говорят.

– А вроде жарко.

Они засмеялись.

– Что ты, первый раз? В этих местах всегда так. А еще старый моряк!



Кочегар крикнул и повернулся на бок. И вдруг в голову ударило: «А что, как беда идет? И наутро уже поздно будет? Все пропадем. Океан кругом на тысячи верст. Потонем, как мыши в ведре».

Кочегар вскочил, натянул штаны и выскочил наверх. Побежал по палубе. Она ему еще горячей показалась. С разбегу стукнул механику в двери. Механик только мычал да пыхтел. Кочегар вошел и потолкал в плечо. Механик нахмурился, плюнул сердито, а как увидел лицо кочегара, крикнул:

– Что случилось? – и вскочил на ноги. – Опять там подрались?

А кочегар схватил его за руку и потянул вон. Кочегар шепчет:

– Попробуйте палубу, синьор Салерно.

Механик головой спросонья крутит – все спокойно кругом. Пароход идет ровным ходом. Машина мурлычет мирно вниз.

– Рукой палубу троньте, – шепчет кочегар. Схватил механика за руку и прижал к палубе.

Вдруг механик отдернул руку.

– Ух, черт, верно! – сказал механик шепотом. – Стой здесь, я сейчас.

Механик еще два раза пощупал палубу и быстро ушел наверх.

### III

Верхняя палуба шла навесом над нижней. Там была каюта капитана.

Капитан не спал. Он прогуливался по верхней палубе. Поглядывал за дежурным помощником, за рулевым, за огнями.

Механик запыхался от скорого бега.

– Капитан, капитан! – говорит механик.

– Что случилось? – И капитан придвинулся вплотную, плюнул в лицо механику и сказал: – Ну, ну, пойдете в каюту.

Капитан плотно запер дверь. Закрыв окно и сказал механику:

– Говорите тихо, Салерно. Что случилось?

Механик перевел дух и стал шептать:

– Палуба очень горячая. Горячей всего над трюмом, над средним. Там кипы с пряжей и эти бочки.

– Тсс! – сказал капитан и поднял палец. – Что в бочках, знаем вы да я. Там, вы говорили, хлористая соль? Не горючая? – Салерно кивнул головой. – Вы сами, Салерно, заметили или вам сказали? – спросил капитан.

– Мне сказал кочегар. Я сам пробовал рукой. – Механик тронул рукой пол. – Вот так. Здорово...

Капитан перебил:

– Команда знает?

Механик пожал плечами.

– Нельзя, чтобы знали пассажиры. Их двести пять человек. Начнется паника. Тогда мы все погибнем раньше, чем пароход. Надо сейчас проверить.

Капитан вышел. Он покосился на пассажирский зал. Там ярко горело электричество. Нарядные люди гуляли мимо окон по палубе. Они мелькали на свету, как бабочки у фонаря. Слышен был веселый говор. Какая-то дама громко хохотала.

#### IV

– Идти спокойно, – сказал капитан механику. – На палубе – ни звука о трюме. Где кочегар?

Кочегар стоял, где приказал механик.

– Давайте градусник и веревку, Салерно, – сказал капитан и закурил.

Он спокойно осматривался кругом. Какой-то пассажир стоял у борта.

Капитан зашагал к трюму. Он уронил папироску. Стал поднимать и тут пощупал палубу. Палуба была нагрета. Смола в пазах липла к руке. Капитан весело обругал окурок, кинул за борт.

Механик Салерно подошел с градусником на веревке.

– Пусть кочегар смерит, – приказал капитан шепотом.

Пассажир перестал глядеть за борт. Он подошел и спросил большим голосом:

– Ах, что это делают? Зачем, простите, эта веревка? Веревка, кажется? – И он стал щупать веревку в руках кочегара.

– Ну да, веревка, – сказал капитан и засмеялся. – Вы думали, змея? Это, видите ли... – Капитан взял пассажира за пуговку. – Иди, – сказал капитан кочегару. – Это, видите ли, – сказал капитан, – мы всегда в пути мерим. С палубы идет труба до самого дна.

– До дна океана? Как интересно! – сказал пассажир.

«Он дурак, – подумал капитан. – Это самые опасные люди».

А вслух рассмеялся:

– Да нет! Труба до дна парохода. По ней мы узнаем, много воды в трюме или нет.

Капитан говорил сущую правду. Такие трубы были у каждого трюма.

Но пассажир не унимался.

– Значит, пароход течет, он дал течь? – вскрикнул пассажир.

Капитан расхохотался как мог громче.

– Какой вы чудак! Ведь это вода для машины. Ее нарочно запасают.

– Ай, значит, мало осталось! – И пассажир заломил руки.

– Целый океан! – И капитан показал за борт. Он повернулся и пошел прочь. Впотьмах он заметил пассажира.

Роговые очки, длинный нос. Белые в полоску брюки. Сам длинный, тощий.

Салерно чиркал у трюма.

## V

– Ну, сколько? – спросил капитан.

Салерно молчал. Он выпучил глаза на капитана.

– Да говорите, черт вас дери! – крикнул капитан.

– Шестьдесят три, – еле выговорил Салерно.

И вдруг сзади голос:

– Святая Мария, шестьдесят три!

Капитан оглянулся. Это пассажир, тот самый. Тот самый, в роговых очках.

– Мадонна путана! – выругался капитан и сейчас же сделал веселое лицо. – Как вы меня напугали! Почему вы бродите один? Там наверху веселее. Вы поссорились там?

– Я нелюдим, я всегда здесь один, – сказал длинный пассажир.

Капитан взял его под руку. Они пошли, а пассажир все спрашивал:

– Неужели шестьдесят? Боже мой! Шестьдесят? Это ведь правда?

– Чего шестьдесят? Вы еще не знаете чего, а расстраиваетесь. Шестьдесят три сантиметра. Этого вполне хватит на всех.

– Нет, нет! – мотал головой пассажир. – Вы не обманете! Я чувствую.

– Выпейте коньяку и ложитесь спать, – сказал капитан и пошел наверх.

– Такие всегда губят, – бормотал он на ходу. – Начнет болтать, поднимет тревогу. Пойдет паника.

Много случаев знал капитан. Страх – это огонь в соломе. Он охватит всех. Все в один миг потеряют ум. Тогда люди режут позвериному. Толпой мечутся по палубе. Бросаются сотнями к шлюпкам. Топорами рубят руки. С воем кидаются в воду. Мужчины с ножами бросаются на женщин. Пробивают себе дорогу. Матросы не слушают капитана. Давят, рвут пассажиров. Окровавленная толпа бьется, ревет. Это бунт в сумасшедшем доме.

«Этот длинный – спичка в соломе», – подумал капитан и пошел к себе в каюту. Салерно ждал его там.

## VI

– Вы тоже! – сказал сквозь зубы капитан. – Выпучили глаза – утопленник! А этого болвана не увидели? Он суется, носится за мной. Нос свой тычет, тычет, – капитан тыкал пальцем в воздух. – Он всюду, всюду! А нет его тут? – И капитан открыл двери каюты.

Белые брюки шагнули в темноте. Стали у борта. Капитан запер дверь. Он показал пальцем на спину и сказал зло:

– Тут, тут, вот он. Говорите шепотом, Салерно. Я буду напевать.

– Шестьдесят три градуса, – шептал Салерно. – Вы понимаете? Значит...

– Градусник какой? – шепнул капитан и снова замурлыкал песню.

– С пеньковой кистью. Он не мог нагреться в трубе. Кисть была мокрая. Я быстро подымал и тотчас плюнул. Пустить, что ли, воду в

трюм?

Капитан вскинул руку.

– Ни за что! Соберется пар, взорвет люки.

Кто-то тронул ручку двери.

– Кто там? – крикнул капитан.

– Можно? Минуту! Один вопрос! – Из-за двери всхлипывал длинный пассажир.

Капитан узнал голос.

– Завтра, дружок, завтра, я сплю! – крикнул капитан. Он плотно держал дверь за ручку. Потушил свет.

Прошла минута. Капитан шепотом приказал Салерно:

– Первое: дайте кораблю самый полный ход. Не жалейте ни котлов, ни машины. Пусть ее хватит на три дня. Надо делать плоты. Вы будете распоряжаться работой. Идемте к матросам.

Они вышли. Капитан осмотрелся. Пассажира не было. Они спустились вниз. На нижней палубе беспокойно ходил пассажир в белых брюках.

– Салерно, – сказал капитан на ухо механику, – занимайте этого идиота чем угодно! Что хотите! Играйте с ним в чехарду! Анекдоты! Врите! Но чтобы он не шел за мной. Не спускайте с глаз!

Капитан зашагал на бак. Спустился в кубрик к матросам. Двое быстро смахнули карты на палубу.

– Буди всех! Всех сюда! – приказал капитан. – Только тихо.

Вскоре в кубрик собралось восемнадцать кочегаров и матросов. С тревогой глядели на капитана. Молчали, не шептались.

– Все? – спросил капитан.

– Остальные на вахте, – сказал боцман.

## VII

– Военное положение! – крепким голосом сказал капитан.

Люди глядели и не двигались.

– Дисциплина – вот. – И капитан стукнул револьвером по столу. Обвел всех глазами. – На пароходе пожар.

Капитан видел: бледнеют лица.

– Горит в трюме номер два. Тушить поздно. До опасности осталось три дня. За три дня сделать плоты. Шлюпок мало. Работу покажет механик Салерно. Его слушаться. Пассажирам говорить так: капитан наказал за игру и драки. Сболтни кто о пожаре – пуля на месте. Между собой – об этом ни слова. Поняли?

Люди только кивали головами.

– Кочегары! – продолжал капитан. – Спасенье в скорости. Не жалеть сил!

Капитан поднялся на палубу. Глухо загудели внизу матросы. А впереди капитан увидал: Салерно стоял перед пассажиром. Старик-механик выпятил живот и покачивался.

– Уверяю вас, дорогой мой, слушайте, – пыхтел механик, – уверяю, это в Алжире... ей-богу... и арапки... танец живота... Вот так!

Пассажир мотал носом и вскрикивал:

– Не верю, ведь еще семь суток плыть!

– Клянусь мощами Николая-чудотворца! – Механик задыхался и вертел животом.

– Поймал, поймал! – весело крикнул капитан.

Механик оглянулся.

Пассажир бросился к капитану.

– Все там играли в карты. И все передрались. Это от безделья. Теперь до самого порта работать. Выдумайте им работу, Салерно. И потяжелее. Бездельники все они! Все! Пусть делают что угодно. Стругают. Пилят. Куют. Идите, Салерно. По горячему следу. Застегните китель!

## VIII

– Идемте, синьор. Вы мне нравитесь... – Капитан обхватил пассажира за талию.

– Нет, я не верю, – говорил пассажир упрямо, со слезами. – У нас есть пассажир. Он – бывший моряк. Я его спрошу. Что-то случилось. Вы меня обманываете.

Пассажир рвался вперед.

– Вы не хотите сказать. Тайна! Тайна!

– Я скажу. Вы правы – случилось, – сказал тихо капитан. – Станемте здесь. Тут шумит машина. Нас не услышат.

Капитан облокотился на борт. Пассажир стал рядом.

– Я вам объясню подробно, – начал капитан. – Видите вы вон там, – капитан перегнулся за борт, – вон вода бьет струей? Это из машины за борт.

– Да, да, – сказал пассажир, – теперь вижу.

Он тоже глядел вниз. Придерживал очки.

– Ничего не замечаете? – сказал капитан.



Пассажир смотрел все внимательнее. Вдруг капитан присел. Он мигом схватил пассажира за ноги. Рывком запрокинул вверх и толкнул за борт. Пассажир перевернулся через голову. Исчез за бортом. Капитан повернулся и пошел прочь. Он достал сигару, отгрыз кончик. Отплюнул на сажень. Ломал спички, пока закуривал.

Капитан пошел наверх и дал распоряжение: повернуть на север.

Он сказал старшему штурману:

– Надо спешить на север. Туда, на большую дорогу. Тем путем ходит много кораблей. Там можно скорее встретить помощь.

Машина будто встрепенулась. Она торопливо вертела винт. Пароход заметно вздрагивал. Он мелко трясся корпусом – так сильно вертела машина.

Через час Салерно доложил капитану:

– Плоты готовят. Я велел ломать деревянные переборки. Сейчас машина дает восемьдесят два оборота. Предохранительные клапаны на котлах заклепаны. Если котлы выдержат... – и Салерно развел руками.

– Тогда постарайтесь дать восемьдесят пять оборотов. Только осторожно, Салерно. Машина сдаст, и мы пропали. Люди спокойны?

– Они молчат и работают. Пока что... Их нельзя оставлять. Там второй механик. Третий – в машине. Фу!

Салерно отдувался. Он снял шапку. Сел на лавку. Замотал головой. И вдруг вскочил:

– Я смерю, сколько градусов.

– Не смей! – оборвал капитан.

– Ах да, – зашептал Салерно, – этот идиот! Где он? – и Салерно огляделся.

Капитан не сразу ответил.

– Спит. – Капитан коротко свистнул в свисток и приказал вахтенному: – Третьего штурмана ко мне!

– Слушайте, Гропани, вам двадцать пять лет...

– Двадцать три, – поправил штурман.

– Отлично, – сказал капитан. – Вы можете прыгать на одной ножке? Ходить колесом? Сколько есть силы, забавляйте пассажиров! Играйте во все дурацкие игры! Чтобы сюда был слышен ваш смех! Ухаживайте за дамами. Вываливайте все ваши глупости. Кричите петухом. Лайте собакой. Мне наплевать. Третий механик вам в помощь, на весь день. Я вас научу, что врать.

– А вахта? – и Гропани хихикнул.

– Это и есть ваша вахта. Всю вашу дурость сыпьте. Как из мешка.

А теперь спать!

– Есть! – сказал Гропани и пошел к пассажирам.



– Куда? – крикнул капитан. – Спать!

## X

Капитан не спал всю ночь. Под утро приказал спустить градусник. Градусник показал 67. «Восемьдесят пять оборотов», – доложили из машины. Пароход трясся, как в лихорадке. Волны крутым бугром расходились от носа.

Солнце вошло справа. Ранний пассажир вышел на палубу. Посмотрел из-под руки на солнце. Вышел толстенький аббат в желтой рясе. Они говорили. Показывали на солнце. Оба пошли к мостику.

– Капитан, капитан! Ведь солнце вошло справа, оно всходило сзади, за кормой. Вы изменили курс. Правда? – говорили в два голоса и пассажир и священник.

Гропани быстро взбежал наверх.

– О конечно, конечно! – говорил Гропани. – Впереди Саргассово море. Не знаете? Это морской огород. Там водоросли, как змеи. Они опутают винт. Это прямо похлебка с капустой. Вы не знали? Мы всегда обходим. Там завязло несколько пароходов. Уж много лет.

Пожилая дама в утреннем платье вышла на голоса.

– Да, да, – говорил Гропани, – там дамы хозяйничают, как у себя дома.

– А есть-то что? – спросила дама.

– Рыбу! Они рыбу ловят! – спешил Гропани. – И чаек. Они чаек наловили. Они у них несутся. Цыплят выводят. Как куры. И петухи кричат: «Ку-ка-ре-ку!»

– Вздор! Вздор! – смеялась дама.

А Гропани бил себя в грудь и кричал:

– Клянусь вам всеми спиртными напитками!

Пассажиры выходили на палубу. Вертлявый испанец суетился перед публикой.

– Господа, пока не жарко, партию в гольд! – кричал он по-французски и вертел черными глазами.

– Будьте мужчиной, – говорил испанец и тряс за руку Гропани, – приглашайте дам!

– Одну партию до кофе! Умоляйте! – Испанец стал на колени и смешно шевелил острыми усами.

– Вот так и будете играть, – крикнул Гропани, – на коленях!

– Да! Да! На коленях! – закричали дамы.



Все хохотали. Испанец делал рожи, смешил всех и кричал:

– Приглашайте дам!

Гропани поклонился аббату и сделал руку кренделем:

– Прошу.

Аббат замахал рукой:

– Ах, простите, я близорук.

Всем стало весело. Кто-то притащил клюшки и большие шашки. Началась игра; на палубе начертили крестики. Клюшками толкали шашки.

– Сегодня особенно трясет, – вдруг сказал испанец. – Я чувствую коленками. Не правда ли?

Все минуту слушали.

– Да вы посмотрите, как мы идем! – крикнул Гропани.

Публика хлынула к борту.

– Это секрет, секрет, – говорил Гропани. Он поднял палец и прищурил глаз.

– Матео! – крикнул Гропани вниз. – Скорей, скорей, бегом!

Третий механик быстро появился снизу. Он был маленький, черный. Совсем обезьянка. Он бежал легко, семенил ножками.

– Гой! – крикнул Гропани, и механик с разбегу прыгнул через испанца. Все захлопали в ладоши.

– Слушай, секрет можно сказать? – спросил Гропани. – Нам не влетит?

– Беру на себя, – сказал маленький механик и улыбнулся белыми зубами на темном лице.

Все обступили моряков. Испанец вскочил с колен.

– Наш капитан, – начал тихим голосом механик, – через два дня именинник. Он всегда останавливает пароход. Все выходят на палубу и должны поздравлять старика. Часа три стоим все, поздравляем, все равно, даже в шторм. Вот он и велит гнать. А то опоздает в порт. Чудачина-старичина! И катанье какое-то затевает, морской пикник, – совсем тихо прибавил механик. – Только, чур, молчок! – И он волосатой рукой прикрыл рот.

– Ох, интересно! – говорили дамы.

Буфетчик звонил к кофе.

Механик и Гропани отошли к борту.

– У нас в кочегарке, – быстрым шепотом сказал механик, – переборка нагрелась – рука не терпит. Как уют. Понимаешь?

– А трюм нельзя открыть, – сказал Гропани. – Войдет воздух, и сразу все вспыхнет.

– Как думаешь, продержимся два дня? Как думаешь? – Механик глянул в самые глаза Гропани.

– Пожар, можем задохнуться в своем дыму, – сказал Гропани, – а впрочем, черт его знает.

Они пошли на мостик. Капитан их встретил.

– Идите сюда, – сказал капитан. Он потащил механика за руку. В каюте он показал ему маленькую рулетку, новенькую, блестящую.

– Вот шарик. – Капитан поднес шарик к носу механика. – Пусть крутят, бросают шарик, пусть играют на деньги. Говорите – это по секрету от капитана. Тогда они будут сидеть внизу. Мужчины хотя бы... Дамы ничего не заметят. Возьмите, не потеряйте шарик! – И капитан ткнул рулетку механику.

Третий механик вышел на палубу. Официанты играли на скрипках. Две пары уже танцевали.

## XII

Команда работала и разбирала эмигрантские нары. Под палубой было жарко и душно. Люди разделись, мокрые от пота.

– Ни минуты, ни секунды не терять! – говорил старик Салерно. Он помогал срывать толстые брусья.

– Потом покурите, потом! – пыхтел старик.

– Ну, чего стал? – крикнул Салерно молодому матросу.

– Вот оттого и стал! – во всю плотку крикнул молодой матрос.

Все на миг бросили работу. Все глядели на Салерно и матроса. Стало тихо. И стало слышно веселую музыку.

– Ты это что же? – сказал Салерно. Он с ключом в руке пошел на матроса.

– Там танцуют, – кричал матрос, – а мы тут кишки рвем! – Матрос подался вперед с топором в руке. – Давай их сюда!

– Верно, правильно говорит! – загудели матросы.

– Кому плоты? Нам шлюпок хватит.

– А плоты пусть сами себе делают.

Все присунулись к Салерно, кто с чем: с молотком, с топором, с долотом. Все кричали:

– К черту! Довольно! Баста! Остановить пароход! К шлюпкам!

Один уже бросился к трапу.

– Стойте! – крикнул Салерно и поднял руку.

На миг затихли. Остановились.

– Братья матросы! – сказал с одышкой старик. – Ведь там пассажиры. Мы взяли их свезти... А мы их... выйдут... выйдут...

погубим... Они ведь ехать сели, а не тонуть...

– А мы тоже не гореть нанялись! – крикнул молодой матрос в лицо механику.

И молодой матрос, растолкав всех, бросился к трапу.

### XIII

Капитан слышал крик. Он спустился на нижнюю палубу. Шел к мостику и прислушивался.

«Бунт, – подумал капитан. – Они бьют Салерно. Пропало все. Уйму, а нет – взорву к черту пароход, пропадай все пропадом!»

И капитан быстро зашагал к люку.

Вдруг навстречу матрос с топором. Он с разбегу ткнулся в капитана. Капитан рванул его за ворот. Матрос не успел опомниться, капитан толкнул его в люк. По трапу на матроса напирал народ. Все стали и смотрели на капитана.

– Назад! – рявкнул капитан.

Люди попятились. Капитан спустился вниз.

– Чего смотреть?! – крикнул кто-то.

Народ встрепенулся.

– Молчать! – сказал капитан. – Слушай, что я скажу.

Капитан стоял на трапе выше людей. Все на него глядели. Жарко дышали. Ждали.

– Не будет плотов – погибли пассажиры. Я за них держу ответ перед миром и совестью. Они нам доверились. Двести пять живых душ. Нас сорок восемь человек...

– А мы их свяжем, как овец! – крикнул матрос с топором. – Клянусь вам!

– Этого не будет! – крепко сказал капитан. – Ни один мерзавец не тронет их пальцем. Я взорву пароход!

Люди загудели.

– Убейте меня сейчас! – Капитан сунулся грудью вперед. – И суньтесь только на палубу – пароход взлетит на воздух! Все готово, без меня есть кому это сделать. Вы хотите погубить двести душ – и женщин и малых детей. Даю слово: погибнете вместе. Все до одного.

Люди молчали. Кто опустил вниз злые глаза, а кто глядел на капитана и кивал головой.

Капитан с минуту глядел на людей.

Молодой матрос вскинул голову, но капитан заговорил:

– Плоты почти готовы. Их осталось собрать и сделать мачты. На шесть часов работы. У нас ведь есть сутки. Двадцать четыре часа. Пассажиры в воде – это дети. Они узнают о несчастье – они погубят себя. Нам вручили их жизнь. Товарищи моряки! – громко крикнул капитан. – Лучше погибнуть честным человеком, чем жить прохвостом! Скажите только: «Мы их погубим», – капитан обвел всех глазами, – и я сейчас пушу себе пулю в лоб. Тут, на трапе. – И капитан сунул руку в карман.

Все загудели глухо, будто застонали.

– Ну, так вот вы – честные люди, – сказал капитан. – Я знал это. Вы устали. Выпейте по бутылке красного вина. Я прикажу выдать. Кончайте скорее – и спать. А наши дети, – капитан кивнул наверх, – пусть играют, вы их спасете, и будет навеки вам слава, морякам Италии. – И капитан улыбнулся. Улыбнулся весело, и вмиг помолодело лицо.

– Bravo! – крикнул молодой матрос.

Он глядел на капитана. Капитан быстрыми шагами вбегал по трапу.

– Гропани! – крикнул капитан на палубе. Штурман бежал навстречу. – Идите вниз, – говорил капитан, – работайте с ними всю ночь! И по бутылке вина всем. Сейчас. Там танцуют? Ладно. Я пришлю за вами, в случае станут скучать. Ну, живо!

– Есть! – крикнул Гропани и бегом бросился к люку.

#### XIV

Капитан прошел в свою каюту. Он сел на койку, сжал кулаки со всей силой и подпер бока. «Держаться, держаться, – говорил капитан, – что есть сил держаться! Сутки одни, одни только бы сутки!» И нисколько не легче становилось капитану. Он знал: не за сутки, а за один час, за минуту все может погибнуть. Крикнет этот матрос с топором: «Пожар!» – и готово. «Дали им вина?» – подумал

капитан и вскочил на ноги. Но тут влетел в каюту Салерно. Старик осунулся в эти два дня. Он схватил капитана за плечи, стал трясти. Тряс и все плядел в глаза, и лицо у старика кривилось и вдруг совсем сморщилось, и он заплакал, заревел в голос. Он с размаху сел на койку и уткнул лицо в подушку.

– Что ты? – Капитан первый раз заговорил с ним на «ты». – Что ты? Салерно...

Капитан повернулся, взялся за ручку двери. Старик встрепенулся.

– Минуту! – говорил старик.

Он задыхался, схватил графин и пил из горлышка. Обливался. Другой рукой он держал капитана.

– Ведь я умру подлецом, – говорил старик сквозь слезы. – Пожар не потухнет. В этих бочках, ты не знаешь, – в них бертолетова соль!

– Как? – спросил капитан. – Ведь ты сказал – хлорноватая какая-то соль...

– Да, да! Это и есть бертолетова. Я не соврал. Но я знал, что ты не поймешь.

– Я спрашивал ведь тебя: не опасно? А ведь это – взрыв!..

– Нет, нет, – плакал старик, – не взрыв! Ее нагревает, она выпускает кислород, а от него горит. Сильней, сильней все горит. – Старик умоляюще глядел на капитана. – Ну, прости, прости хоть ты, господи! – Старик ломал руки. – Никто, никто не простит... – И Салерно искал глазами по каюте. – Мне дали триста лир, чтобы я устроил... дьявол дал... эти двадцать бочек. Что же теперь? Что же? – Салерно плотал воздух ртом. – Иисусе святой, милый, дорогой...

– Идите к аббату, приложите к его рясе. Нет? Тогда вот револьвер – стреляйтесь! – сказал капитан и брякнул на стол браунинг.

Старик водил выпученными глазами.

– Тоже не хотите? Тогда умрите на работе. Марш к команде.

– Капитан, – хрипло сказал Салерно, – на градуснике... вчера было не семьдесят восемь, а восемьдесят семь...

– Капитан вскинул брови, вздрогнул.

– Я не мог сказать... – Старик рухнул с койки, стал на колени.

Капитан с размаху ударил старика по лицу, вышел и пристукнул за собой дверь.

Капитан взял веревку с градусником. Он сам смерил температуру – было 88 градусов.

Маленький механик подошел и сказал (он был в одной сетке, мокрый от пота):

– На переборке краска закудрявилась, барашком пошла, но мы поливаем... Полно пару... Люди задыхаются... Работаем мы со вторым механиком...

Капитан подошел к кочегарке. Глянул сверху, но сквозь пар не мог увидеть. Слышал только – лязгают лопаты, стучают скребки.

Маленький механик шагнул за трап и пропал в пару.

Солнце садилось. Красным отсветом горели буруны по бокам парохода. Черный дым густой змеей валил из трубы. Пароход летел что есть силы вперед. В трюме парохода горел смертельный огонь. Пассажиры приятно пели испанскую песню. Испанец махал рукой. Все на него смотрели, а он стоял на табурете выше всех.

– Споемте молитву, – говорил испанец. – Его преподобию будет приятно.

Испанец дал тон.

Капитан быстро пошел вниз, к матросам.

– Сейчас готово! – крикнул навстречу Гропани. Он, голый до пояса, долбил долотом. Старик Салерно, лохматый, мокрый, тесал. Он без памяти тесал, зло садил топором.

– Баста! Довольно уж! – кричал ему судовой плотник.

Салерно, красный, мокрый, озирался вокруг.

– Еще по бутылке вина, – сказал капитан. – Выпить здесь – и по койкам. Двое – в кочегарку, помогите товарищам. Они в аду. Вахта по часу.

Все бросили инструменты. Один Салерно все стоял с топором. Он еще два раза тяпнул по бревну. Все на него оглянулись.

Капитан вышел на палубу. На трюме в пазах стена пошла пузырями. Они надувались и лопались. Смола прилипла к ногам. Черные следы шли по палубе.

Солнце зашло.

Яркими огнями вспыхнул салон; оттуда мирно мурлыкал пассажирский говор.

Гропани догнал капитана.



– Я доложу, – весело говорил Гропани, – очень здорово, то есть замечательные плоты, говорю я... а Салерно...

– Видел все, – сказал капитан. – Готовьте провизию, воду, флаги, ракеты. Фальшфейера не забудьте. Сейчас же...

– А Салерно чудак, ей-богу! – крикнул Гропани и побежал хлопотать.

## XVI

Ночью капитан пошел мерить температуру. Он мерил каждый час. Температура медленно подходила к 89 градусам. Капитан осторожно прислушивался, не гудит ли в трюме. Он приложил ухо к трюмному люку. Было горячо, но капитан терпел. Было не до того. Слушал: нет, ничего – это урчит машина. Ее слышно по всему пароходу. Капитану начинало казаться: вот сейчас, через минуту пароход не выдержит. Взорвется люк, полыхнет пламя – и конец: крики, вой, кровавая каша. Почем знать, дотерпит ли пароход до утра? И капитан снова щупал палубу. Попадал в жидкую горячую смолу в пазах. Снова мерил градусником уже каждые полчаса. Капитан нетерпеливыми шагами ходил по палубе. Глядел на часы. До рассвета было еще далеко. Внизу Гропани купорил в бочки сухари, консервы. Салерно возился тут же. Он слушал Гропани и со всех ног исполнял его приказы. Как мальчик, старик глядел на капитана, будто хотел сказать: «Ну, прикажи скорее, и я в воду брошусь!»

Около полуночи капитану доложили – двоих вынесли из кочегарки в обмороке. Но машина все вертелась, и пароход летел напрямик к торной дороге.

Капитан не мог присесть ни на миг. Он ходил по всему пароходу. Он спустился в кочегарку. Там в горячем пару звякали дверцы топок. Пламя выло под котлами. Распаренные люди изо всех сил швыряли уголь. Не попадали и снова с ожесточением кидали. Ругались, как плакали.

Капитан схватил лопату и стал кидать. Он задыхался в пару.

– Валяй, валяй, сейчас конец, – говорил капитан.

Гайки закрыли. Капитан вылез наверх. Ему показалось холодно на палубе. А это что? Какие-то фигуры в темноте возятся у шлюпки.

Капитан опустил руку в карман, нащупал браунинг. Подошел. Три матроса и кочегар вываливали шлюпку за борт.

– Я не приказывал готовить шлюпок, – тихим голосом сказал капитан.

Они молчали и продолжали дело.

– На таком ходу шлюпки не спустить, – сказал капитан чуть громче. – Погибнете сами и загубите шлюпку.

Капитан сдерживал сердце: нельзя подымать тревогу.

Матросы вывалили шлюпку за борт. Оставалось спустить.

Двое сели в шлюпку. Двое других готовились спускаться.

– А, дьявол! – вскрикнул один в шлюпке. – Нет весел. Они запрятали весла и паруса. Все. Давай весла! – крикнул он в лицо капитану. – Давай!

– Не ори, – сказал тихо капитан, – выйдут люди, они убьют вас!

И капитан отошел в сторону. Он видел, как люди вылезли из шлюпки. До рассвета оставалось три часа. Капитан увидел еще фигуру: пригляделся – Салерно. Старик, полуголый, шел шатаясь.

Он шел прямо на капитана. Капитан стал.

– Салерно!

Старик подошел вплотную.

– Что мне теперь делать? Прикажите.

Салерно глядел сумасшедшими глазами.

– Оденьтесь, – сказал капитан, – причешитесь, умойтесь. Вы будете передавать детей на плоты.

Салерно с сердцем махнул кулаками в воздухе. Капитан зашагал на бак. По дороге он снова смерил: было почти 90 градусов.

Капитану хотелось подогнать солнце. Вывернуть его рычагом вверх. Еще 2 часа 45 минут до света. Он прошел в кубрик. Боцман не спал. Он сидел за столом и пил из кружки воду. Люди спали головой на столе, немногие в койках. Свесили руки, ноги, как покойники. Кто-то в углу копался в своем сундучке. Капитан поманил пальцем боцмана. Боцман вскочил. Тревожно глядел на капитана.

– Вот порядок на утро, – тихо сказал капитан. И он стал шептать над ухом боцмана.

– Есть... есть... – приговаривал боцман.

Капитан быстро взбежал по трапу. Ему не терпелось еще смерить. Градусник с веревкой был у него в руке. Капитан спустил его вниз и

тотчас вытянул. Глядел, не мог найти ртути. Что за черт! Он взял рукой за низ и отдернул руку: пеньковая кисть обварила пальцы. Капитан почти бегом поднялся в каюту. При электричестве увидел: ртуть уперлась в самый верх. Градусник лопнул. У капитана захватило дух. Дрогнули колени первый раз за все это время. И вдруг нос почувствовал запах гари. От волнения капитан не расчужал. Откуда? Озирался вокруг. Вдруг он увидел дымок. Легкий дымок шел из его рук. И тут капитан увидел: тлеет местами веревка. И сразу понял: труба раскалилась докрасна в трюме. Пожар дошел до нее.

Капитан приказал боцману поливать палубу. Пустить воду. Пусть все время идет из шланга. Тут под трюмом пар шел от палубы. Капитан зашел в каюту Салерно. Старик переодевал рубаху. Вынырнул из ворота, увидел капитана. Замер.

– Дайте химию, – сказал капитан сквозь зубы. – У вас есть химия. Салерно схватил с полки книгу – одну, другую...

– Химии... химии... – бормотал старик.

Капитан взял книгу и вышел вон.

«Может ли взорвать?» – беспокойно думал капитан. У себя в каюте он листал книгу.

«Взрывает при ударе, – прочел капитан про бертолетову соль, – и при внезапном нагревании».

– А вдруг там попадет так... что внезапно... А, черт!

Капитан заерзал на стуле. Глянул на часы: до рассвета оставалось двадцать семь минут.

## XVII

Остановить пароход в темноте – все пассажиры проснутся, и в темноте будет каша и бой. А в какую минуту взорвется? В какую из двадцати семи? Или соль выпускает кислород? Просто кислород, как в школе на уроке химии?

Капитан дернулся смерить, вспомнил и топнул с сердцем в палубу.

Теперь капитан как закаменел: шел твердо, крепким шагом. Как живая статуя. Он прошел в кубрик.

– Буди! – сказал капитан боцману. – Двоих на лебедку! Плоты на палубу! Собирать!

Люди просыпались, серые и бледные. Всеми глазами глядели на капитана. Капитан вышел. С бака на него глядели бортовые огни: красный и зеленый. Яркие, напряженные. Капитан уже слышал сзади возню, гроханье брусьев. Тарахтела лебедка. Вспыхнула грузовая люстра.

– Гропани, к пассажирам! – сказал капитан на ходу. Он слышал голос Салерно.

– Салерно, ко мне! – крикнул капитан. – Вы распоряжайтесь спуском плотов. И ни одной ошибки!

Второй штурман с матросами вываливал шлюпки за борт. Одиннадцать шлюпок. Капитан глянул на часы. Оставалось семнадцать минут. Но восток глухо чернел справа.

– Всех наверх! – сказал капитан маленькому механику. – Одного человека оставить в машине.

Пароход несся, казалось, еще быстрее – напоследки – очертя голову.

Капитан вышел на мостик.

– Определитесь по звездам, – сказал он старшему штурману, – надо точно знать наше место в океане.

Легкий ветер дул с востока. По океану ходила широкая плавная волна. Капитан стоял на мостике и смотрел на сборку плотов. Салерно точно, без окриков руководил, и руки людей работали дружно, в лад. Капитан шагнул вправо. Ветром дунул свет из-за моря.

– Стоп машина! – приказал капитан.

И сейчас же умер звук внутри. Пароход будто ослаб. Он с разгону еще несся вперед. Люди на миг бросили работу. Все глянули наверх, на капитана. Капитан серьезно кивнул головой, и люди вцепились в работу.

## XVIII

Аббат проснулся.

– Мы, кажется, стоим, – сказал он испанцу и зажег электричество.

Испанец стал одеваться. Поднимались и в других каютах.

– Ах да! Именины! – кричал испанец.

Он высунулся в коридор и крикнул веселым голосом:

– Дамы и кавалеры! Пожалуйста! Прошу! Все в белом!

Непременно!

Все собрались в салоне. Гропани был уже там.

– Но почему же так рано? – говорили нарядные пассажиры.

– Надо приготовить пикник, – громко говорил Гропани, – а потом, – шепотом, – возьмите с собой ценности. Знаете, все выйдут, прислуга ненадежна.

Пассажиры пошли рыться в чемоданах.

– Я боюсь, – говорила молодая дама, – в лодках по волнам...

– Со мной, сударыня, уверяю, не страшно и в аду, – сказал испанец. Он приложил руку к сердцу. – Идемте. Кажется, готово!

Гропани отпер двери.

Пароход стоял. Пять плотов гибко качались на волнах. Они были с мачтами. На мачтах флаги перетянуты узлом.

Команда стояла в два ряда. Между людьми – проход к трапу.

Пассажиры спустились на нижнюю палубу.

Капитан строго глядел на пассажиров.

Испанец вышел вперед под руку с дамой. Он улыбался, кланялся капитану.

– От лица пассажиров... – начал испанец и шикарно поклонился.

– Я объявляю, – перебил капитан крепким голосом, – мы должны покинуть пароход. Первыми сойдут женщины и дети. Мужчины, не трогаться с места! Под страхом смерти.

Как будто стон дохнул над людьми. Все стояли оцепенелые.

– Женщины, вперед! – скомандовал капитан. – Кто с детьми?

Даму с девочкой подталкивал вперед Гропани. Вдруг испанец оттолкнул свою даму. Он растолкал народ, вскочил на борт. Он приготовился прыгнуть на плот. Хлопнул выстрел. Испанец рухнул за борт. Капитан оставил револьвер в руке. Бледные люди проходили между матросами. Салерно размещал пассажиров по плотам и шлюпкам.

– Все? – спросил капитан.

– Да. Двести три человека! – крикнул снизу Салерно.

Команда молча, по одному, сходила вниз.

Плоты отвалили от парохода, легкий ветер относил их в сторону. Женщины жались к мачте, крепко прижимали к себе детей. Десять шлюпок держались рядом. Одна под парусами и веслами пошла вперед. Капитан сказал Гропани:

– Дайте знать встречному пароходу. Ночью пускайте ракеты!

Все смотрели на пароход. Он стоял один среди моря. Из трубы шел легкий дым.

Прошло два часа. Солнце уже высоко поднялось. Уже скрылась из глаз шлюпка Гропани. А пароход стоял один. Он уже не дышал. Мертвый, брошенный, он покачивался на зыби.

«Что же это?» – думал капитан.

– Зачем же мы уехали? – крикнул ребенок и заплакал.

Капитан со шлюпки оглядывался то на ребенка, то на пароход.

– Бедный, бедный... – шептал капитан. И сам не знал – про ребенка или про пароход.

И вдруг над пароходом взлетело белое облако, и вслед за ним рвануло вверх пламя.

Гомон, гул пошел над людьми. Многие встали в рост, глядели, затаив дыхание...

Капитан отвернулся, закрыл глаза рукой. Ему было больно: горит живой пароход. Но он снова взглянул сквозь слезы. Он крепко сжал кулаки и глядел, не отрываясь.

Вечером виден был красный остов. Он рдел вдали. Потом потухло. Капитан долго еще глядел, но ничего уже не было видно.

Три дня болтались на плотках пассажиры.

На третьи сутки к вечеру пришел пароход. Гропани встретил на борту капитана.

Люди перешли на пароход. Недосчитались старика Салерно. Когда он пропал, – кто его знает.

## «Погибель»

Так все в порту и звали этот пароход; на него я нанялся поденщиком. Так и сказали мне кричать: «На „Погибели!“ Давай шлюпку!» Пароход стоял у стенки волнолома. Наконец шлюпка отвалила. Один человек юлил веслом за кормой. Человек оказался рыжий. Весь в ржавчине и в веснушках. Я сказал, что хозяин прислал меня поденщиком.

Рыжий сказал:

– Ну, вались! Юли сам назад.

Он пихнул весло ко мне, а сам сел на банку. Я погнал шлюпку. На полдороге рыжий спросил:

– Ты знаешь, куда поступил?

– Чего мне знать? На поденщину. Ржу обивать.

– На «Погибель» ты поступил. Если там ржу обить, так останется от нас всего, что только нас – четыре поденщика. Ты приставать будешь, так легче – борт пробьешь.

– Заливай! – сказал я.

– Нам, брат, не заливать, а отливать только поспевай. Смеешься? Мы на палубе ночуем, а то как пойдет под заныр – выскочить не успеешь.

Мы подошли к борту. Борт был страшный: рябые ржавые листы местами были покрашены суриком, вмятины обрисовывали ребра, как у голодной клячи. Пока я влезал по штурмтрапу, я уже измазался ржавчиной. Я вошел в кубрик, поздоровался и поставил на стол две бутылки водки. В кубрике было полутемно, и, когда зажгли лампу, я поразился обстановкой: все, все – и деревянные койки, и стол, и скамейка, – все было черно и все было изъедено морским червем. Лампа была зеленого цвета, иллюминаторные рамы, медные крючки и замки на дверях – вся медь была густо-зеленого цвета. На потолке приросла засохшая ракушка.

– Что смотришь? – сказал рыжий. – «Погибель» пять лет на боку под берегом лежала. Здесь утопленники в карты дулись. Вот на этом самом столе.

– А до того на ней без ремонту пятьдесят годов кряду мертвых спать возили.

Это сказал другой, маленького роста, седоватый.

Третий все молчал и сидел в углу.

Стали пить водку. Закусывали луком, грызли его, как яблоко. Больше ничего у поденщиков не нашлось. Я узнал, что рыжего зовут Яшкой, а старика – Афанасием Ивановичем.

– Маша, Маша! – закричал рыжий. Я оглянулся. – Маша, ты сядь к нам, выпей.

Третий, что сидел в углу, поднялся и подошел. Это был человек высокого роста, с большими черными глазами. «Грек – не грек», – подумал я.

– Да ты не удивляйся: у него бабье имя – Мария. У него с пяток имен, и вот Мария тоже. Так мы его – Маша. Он не русский – испанец. Испаньоло! – Тут Яшка ткнул испанца в плечо и показал на жестяную кружку: – Вали!

Испанец немного отпил. Яшка со стариком собирались на берег за третьей бутылкой. Я отдал последние медяки. Мы остались с испанцем вдвоем. Он плохо говорил по-русски. Но я кое-как понимал. Он прихлебывал водку, будто вино, из стакана. Сначала конфузился, потом сел картинно, а потом вскакивал на ноги, когда говорил.

Он рассказал мне, что был тореадором. Я первый раз в жизни видел живого тореадора. Он был в синей куртке, в парусиновых портках, весь измазан ржавчиной, но так бойко вскакивал на ноги и в такие позиции становился, что я забыл, в чем он одет. Казалось, все блестит на нем. Я только боялся, чтобы не вернулись Яшка с Афанасием и не сбили бы с ходу тореадора. Он говорил, что уже входил в славу. Был на лучшей дороге. Жил в гостинице. Каждый день с утра – цветы. Полно, полно цветов! Руками показывал, сколько, – некуда поставить. Прислуга крала, торговала этими цветами. Даже в комнате было душно от цветов. У него был выпад – удар шпагой – такой, как ни у кого, – молния!

– Я не становился в позицию, я стоял как будто рассеянно, как будто я сейчас буду ногти чистить. И я следил глазами за быком, я точно знал, что это – последний миг. Нет, пол, четверть мига! – Он звонко щелкнул ногтями. – И вот замерли, всем кажется, что вот поздно уже, – и в это мгновение – молния! – Испанец ткнул в воздух



рукой. Я, сидя, отшатнулся. – Вот! И секунду весь цирк молчит, и я слышу шум вдоха. Вы знаете, когда весь цирк враз вздохнет... Что аплодисменты! – Он небрежно постукал в ладонь. – Или крик. Это что! Но надо знать быка. Надо смотреть на его скак, на его прыть, когда его дразнят, когда бросают бандерильи<sup>[34]</sup>, когда он бодает лошадь, – это все надо подметить, тогда можно угадать это мгновенье: вот он стоит перед тобой, и вот... и тут молнии. Ах! И это все.

Он сел.

И вот раз случилось – на полмгновения раньше ринулся бык. Тореадор стоял небрежно, как всегда. Он не мог отскочить и ткнул шпагой, просто защищаясь, ткнул не по правилам и не туда, за рогами, – ткнул, чтобы попасть в сердце. Он убил быка, спасая свою жизнь. Цирк взревел. Он слышал, что крикнули: «Мясник!» Шпага осталась в быке, а он бежал, как был, в тореадорском наряде, – он знал, что его разорвет толпа. Бежал даже больше от стыда, как сфальшививший на поединке трус. Дело было в портовом городе, и он не помнит, как оказался на иностранном пароходе и там забился в какой-то угол. Он не выходил на свет до самого отхода. А потом ему дали переодеться и сунули в руки лопату.

– Теперь я угольщик – карбонеро. Но я сказал себе, что это я испугался первый, но и последний раз. Я теперь всю жизнь ничего не смею пугаться.

Афанасий с Яшкой уже стояли в дверях. Они выпили по дороге половину.

– Ничего не должен бояться! – закричал Яшка с порога. – А ну! Ну! Ты плавать, говоришь, не можешь? Нет? Ну, прыгай с борта в воду. Трусишь! Машка, должен ты сейчас прыгать, или ты...

Но испанец уже шел к дверям. Я побежал за ним, но он оттолкнул Яшку и вышел на палубу. Было темно, только далеко на пристани горели фонари. Внизу с высокого борта вода чернела, как мокрый асфальт. Я не успел задержать испанца, он козлом перемахнул через борт и сильно плюхнул вниз. Яшка с Афонькой притопали к борту.

– Круг, круг давай! – кричал я им. Но они, свесившись, глядели за борт.

– Греха-то, греха! – завыл Афанасий.

– А ну, вынырнет где? Или раков кормит? – пьяной губой шлепал Яшка.

Я бросился по штурмтрапу к шлюпке.

Я слышал, как сверху закричали:

– Ай, Машка, выплыл!

Я не успел отвязать шлюпку: испанец неподалеку бил по воде руками. Я подсунул ему весло. Он ухватился.

В кубрике я совал мокрому испанцу свою куртку. Афанасий – кружку с водкой. Испанец отмахивался.

– Ну, скажи, какая утопленница фокусная, – хрипел Яшка.

Они с Афанасием допили.

– Да и черт с тобой! – бубнил Яшка. – Утопленница! Думаешь, испугался? Да тут поискать – может, в каком углу и живой утопленник-то есть, – я говорю,дохлый, – найдется на «Погибели» на нашей, где-нибудь в трюмах. Или под котлами? А? Афонька, правду я говорю?

Но никто не отвечал. Яшка погрыз луковицу. Поглядел на нас и вдруг озлился.

– В воду летом сигать – подумаешь, фокус какой, а вот я сейчас пойду в машину, и я вот этой кувалдой как тарарахну по борту, так вся она, «Погибель» эта, тут на дно и сядет. Что! Тогда сами, как лягушата, с нее попрыгаете. Машка первый. Что? Не пробью? Нет? А вон!

Яшка схватил из-под койки тяжелую скрябку и изо всех силы швырнул ею в борт. На том месте осталась черная дырка – скрябка пролетела наружу.

– Ага! ага! – закричал Яшка.

Он схватил из угла кувалду, вскинул на плечи и, мотаясь на ходу, побежал к двери.

– Вот сейчас вы у меня увидите!

Афанасий слабо махнул вслед рукой:

– Не дойти ему... темно... трап крутой...

Мы слышали, как Яшка обронил кувалду на железную палубу и как поволочил ее.

Афанасий пьяно мотал головой и махал на дверь рукой:

– Там и заснет... и свалится в болото.

Испанец подрагивал в одном белье. Лампа потрескивала. Афанасий заснул сидя.

Вдруг мы услышали глухие стуки; они по железу корпуса ясно доносились к нам в кубрик. Афанасий встрепенулся.

– Крушит, ей-богу, крушит! Очень просто, что проломает. Не... не переночуем.

Он встал. Вскочил и испанец. Он бросился к своему сундучку, огарок свечи уж у него в руках; он схватил со стола спички и был уже на палубе, пока я вылез из-за стола.

– Го! го! – кричал испанец откуда-то снизу.

Я не знал этого огромного парохода. Шел спотыкаясь, наобум, пока не увидел, что свет маячит где-то справа. Я бросился туда. Свет был из входного люка. Оттуда глухо я слышал «го! го!» Я спустился по трапу. Нашупал ход. Вот коридор. Вдали белая фигура со свечкой – испанец. Я догнал его бегом. Сзади где-то дрябло топали сапоги Афоньки. При свечке видны были вымоченные посинелые двери кают, кожа на диванах, треснувшая, как картон, позеленелые медные часы и желтый намет песку в углу кают-компания. Местами сухие водоросли свешивались с потолка и щекотали лицо. А снизу бухал и бухал молот. То замирая, то остервеняясь, ухали удары.

Вот трап вниз. Испанец легко босыми ногами перебирал ступеньки. Я боялся потерять его свечку. Сзади я слышал, как падал и ругался старик. Мы теперь были ниже уровня воды.

Вдруг удары молота смолкли, и вдали коридора из дверей высунулась рожа:

– Ага! Перетрусили! А я и не пушу!

И дверь захлопнулась. Когда мы добежали, дверь уже не поддавалась. Яшка, видно, припер ее чем-нибудь изнутри. Молот бил теперь отчаянно.

Я кричал, но не слышал своего голоса за гулом. Удары скоро оборвались.

– Что? – услышали мы запыхавшийся Яшкин голос. – Теперь на коленках... просите... Машка, проси меня по-испански...

Испанец стукнул ногой в дверь. Стукнул голой пяткой, и дверь затрещала. Вот они, легкие ноги!

– Открой, дурак! – крикнул я.

– Стой, ребята! – Афанасий просунулся между нами. – Он это по цементу садит. Там этого цемента пол-аршина, – шептал старик. И вдруг гнусавым голосом, как дьячок с клироса, Афанасий запел: – Тебя мы здесь запре-е-ем! И ты сыщешь себе гнусную могилу на этой «Погибели». А мы пошли! На шлюпку! И на берег! И будь ты четырежды анафема. Примешь смерть, как мышь в ведре. Аминь!

Афанасий икнул. Минуту было молчание. Потом два раза стукнул молот. Но уже слабо.

– Пошли! – скомандовал Афанасий громко.

Мы двинулись. И вдруг сзади услышали бой и треск: это Яшка крушил кувалдой дверь.

Афанасий дунул на свечку, толкнул меня и шепнул:

– Ховайся!

Мы с испанцем ощупью юркнули в какую-то дверь и замерли. Мимо нас прошлепал сумасшедшей рысью Яшка. На бегу он кричал:

– Пошла, пошла! Ходом пошла вода!

Я слышал, как за Яшкой затопал старик. Он успел крикнуть:

– Тикайте!

Но испанец снова зажег свечу и спросил меня, что случилось. Я сказал:

– Он пробил насквозь, пошла вода, как водопад.

Испанец весь напряжился.

– Они туда, – он указал вдоль коридора, – а я должен сюда.

И он зашагал к разбитой двери.

Я понимал, что Яшка не мог сделать пробоину, от которой наша «Погибель» пошла бы ко дну сразу, как дырявая плошка, но, если вся подводная часть держалась на цементе, мог провалиться в тартарары сразу большой кусок обшивки. Она – как слоеный пирог из трухлявых листков хрупкой ржавчины.

Но испанец шел уже со свечкой, он отгреб обломки двери. Он выпрямился, напряжился, будто шел на арену.

Мы вошли в небольшое помещение. Среди разбитых досок, черных, источенных червями, разбросан был цемент, разбитый в щебенку. Кувалда валялась тут же. Воды не сочилось ни капли.

Испанец нахмурился, коряво обругался по-русски, и мы молча поплелись обратно.

В кубрике мы не нашли ни Яшки, ни Афанасия. Под бортом я не увидел шлюпки. Уже занималась заря, когда мы легли спать в кубрике. На «Погибели» нас осталось двое в эту ночь.

– Как это по-русски? – вдруг спросил испанец, когда я уже начал дремать. – Я не можно...

Я догадался.

– Я не должен ничего бояться. Спите, дон Мария, ну его – на сегодня хватит.

Я забыл, что уже наступило «завтра».

А назавтра не оказалось ни шлюпки, ни Яшки с Афанасием, ни кое-чего из сундучка испанца.

Испанец мне объяснил, что наша работа заключается в осторожном отбивании ржавчины и подмазывании оставшегося суриком. К полудню он меня спросил:

– Как это: мне не можно?..

Но я был голоден и сказал:

– Не можно голодать вторые сутки, вот что.

Я бросил скрябку и рашкет и полез просить харчей на соседнюю баржу: она стояла у стенки, неподалеку от нас. Я добыл хлеба, кукурузной муки, и мы на горне варили кашу без грамма жиру. Машка называл наш корабль «Погибелья». Я объяснил ему, что это по-русски значит.

Под вечер приехал хозяин, привез полтора десятка поденщиков, и пошел ремонт.

У нас с испанцем удержалась дружба. Мы работали вместе на подвеске за бортом, и он пел в такт молотка испанские песни. Каждый день хозяин давал расчет, и мы получали свои «рупь двадцать». И каждое утро испанец спрашивал: «Как это: мне не можно?..» – и я учил его говорить: «Я не должен всю жизнь ничего бояться».

Это так. А ремонт я понял. Хозяин готовил судно, как барышник лошадь: лишь бы не тонуло и могло двигаться. «Ремонт» приходил к концу. Все поденщики понимали, в чем дело.

– На таком судне только пьяный дурак в море пойдет, одно слово – «Погибель», – говорили поденщики.

Я это понимал не хуже их.

Судно назвали «Петр Карпов». Сам Петр Карпов как-то под вечер явился на судно и объявил, что все могут идти на берег. Ремонт закончен. На другой день члены комиссии с осмотром прошли по судну, после завтрака, шатаясь и с очень громкими голосами; главный инженер попал ногой между шлюпкой и трапом. Но его быстро вынули из воды, так что даже не успел намочнуть.

– Что, боитесь остаться? – спросил нас хозяин, когда увезли комиссию. – Кто не боится?

И хозяин лихо вздернул подбородком ввысь.

– Не должен бояться...

Гляжу, мой испанец вышагнул вперед:

– Я!

Не знаю почему, но и я сделал за ним шаг. Хозяин прищурился на нас и спросил фамилии.

На другой день нас поставили к пристани под погрузку. Песку уже достаточно взято было для балласта. Ну, пусть песок, это экономия. Но ящики с апельсинами, что подавали с берега в трюм, были что-то легковаты. Я хотел взять один хотя бы апельсин, подорвал в трюме ящик, он оказался порожним. Я подорвал еще десятка три; только в четырех были апельсины. Я сказал об этом испанцу. Он, моему, только обрадовался. Будто и не понял, что дело становится все темней и темней. Помощники капитана распоряжались погрузкой. Капитана мы все еще не видели.

Наконец был назначен день отхода. За сутки пригнали кочегаров. Испанец пришел, махая руками:

– Это разбойники и пьяницы. Я один за всех.

Однако пар подняли. Котлы текли, и пар шел от котлов, как из самовара. Два юрких механика попевали всюду: они сами хватались за лопаты и кидали уголь, потом мазали машину. К нашему удивлению, в четыре часа вечера машина дала пробные обороты.

Наконец пригнали матросов. Их было семеро. Шестеро из них были пьяны, и пятеро сейчас же сознались, что они природные дворники. То есть... Что «то есть»? То есть после военной службы они ничем другим не занимались. Сюда пошли, соблаздившись деньгами. Какими? Они хныкали, пока не заснули.

Последним, за час до отхода, явился капитан. Это был толстенький человек, ядовитый, грязненький. Глазки навывкате. Он

ими вовсе не глядел в лицо, а если вдруг упирался глазами в глаза, то глядел, как очумелый баран. И человек не знал: бросится ли он на него, или навек замрет, застекленеет в своем взгляде, и потом не разбудишь?

Мы о нем ничего не успели услышать. Но только одно: когда он во время отхода вышел на капитанский мостик, то с берега грянуло такое «га», что мы долго не могли расслышать никакой команды. Мне все время хотелось выпрыгнуть на берег, но мне уже нельзя было бросить испанца.

Мы снялись под вечер. Испанец был на вахте внизу, в кочегарке. Мне заступать вахту на руль через час. Я глядел с борта на огни в городе, курил и сплевывал в воду. Было жутковато идти в море на такой посудине и с такой командой, но, признаться, меня забавляло: что же будет дальше? Я думал: зачем этот фальшивый груз?

И вдруг надо мной на мостике я услышал ругань. Сначала вполголоса, потом крик:

– Ну и гони его! В шею!

И по трапу скатился человек. Это был матрос. Следом за ним сбежал вниз старший помощник капитана. Было уже совсем темно. Он подскочил ко мне вплотную, сгреб за плечо и зло тряс:

– А ты-то, ты можешь стоять на руле?

Это шипел он мне в лицо. Я крепче потянул папироску, огонек раздулся, и я увидел лицо, оскаленное от злости. Не лицо, а кулак.

– А конечно, – сказал я.

– Ну так марш, марш! – Он тянул меня, вцепившись в плечо. – Вахта? Какие вам еще вахты? По сто целковых на брата дают, а еще вахты!

– Ничего мне не известно, – говорил я.

Но мы были уже на мостике. Свет из нактоуза освещал лицо капитана – это он сейчас стоял на руле.

– Так вот и держи: зюйд-ост шестьдесят три, – сказал капитан, когда я взялся за штурвал.

«Странный курс», – подумал я. Я знал, что груз адресован на Ялту, что курс наш должен быть приблизительно градусов на двадцать южнее. Неужели такая поправка компаса?

Помощник стоял у меня за спиной и глядел через плечо, держу ли я пароход на курсе. Через пять минут он сунул мне папиросу в рот:

– На, кури!

И сам поднес спичку. Он стал ходить по мостику.

Я заметил, что он задерживается иногда подолгу в правом углу.

Наконец я увидел, что он запрокидывает голову, а вот швырнул за борт бутылку.

«Что за плавучий кабак, – думал я, – рулевой с папироской, а вахтенный штурман пьет на мостике прямо из горлышка!»

Я на минуту огляделся по сторонам: капитана уже не было.

Помощник подошел ко мне и над самым ухом сказал:

– Как же тебе не говорилось про сто рублей? – От него сильно разило вином. – Все равно получишь все.

Но в это время на мостик поднялся капитан. Я слышал, как помощник его спросил:

– Так вы говорите – еще упал? А вон штиль какой стоит! Могут и сутки-другие пройти.

Я понял, что они говорят про барометр. Мне слепил глаза свет из компаса, и я не видел впереди ничего, кроме ночи, но знал, что должен уж открыться Тендровский маяк. Он горит на конце низкой песчаной косы. Она тянется почти прямо на юг, сотни на полторы километров. Кроме кордонов пограничной стражи, ничего нет на этом песке. Редкий рыбак забредет сюда в это время года.

– Дайте-ка мне бинокль, – услышал я голос капитана. – Верно, верно – это Тендровский.

И я услышал, как зазвонил телеграф в машине. Машина сбавила ход и теперь еле слышно ворчала внизу.

– Право! – скомандовал капитан. Он подошел к компасу. – Еще право! Так! Так и держи.

Мы шли теперь малым ходом на юг, то есть вдоль Тендровской косы.

– Огни гасите, – сказал капитан.

Они с помощником ушли в штурманскую рубку. И до меня через открытую дверь долетели слова:

– Именно, именно этим часом, на вашей вахте, так и запишите... Нет, вашей рукой должно быть записано в журнале: загорелся подшипник, коренной подшипник... – Это говорил капитан. – Теперь старшего механика ко мне с машинным журналом.

Через две минуты механик был здесь.



– Принесли машинный журнал? – слышал я капитана из штурманской. – Пишите: загорелся подшипник. Что-о? Струсил? Пиши, а то полетишь у меня за борт... Нет, не я должен, твоей рукой должно быть написано. Писать! Ага, то-то! Покажи! Ты что ж это написал? Ах ты...

Механик быстро сбежал с трапа, как скатился. Я слышал, как капитан треснул журналом о стол, точно выстрелил.

– А, черт! Помарок же делать нельзя!

Я уже давно отстоял свои два часа, – часа три я уже стоял у штурвала.

– Ты отдохни, – сказал помощник. – Я постою. А ко мне пришли второго.

Я пошел вызывать второго штурмана на мостик. Он был грек, черный, как жук, маленький, на кривых ножках. Он вскочил с койки и затараторил куда-то мне через плечо, как будто кто еще за мной стоял. Я даже не мог понять: по-русски это или по-гречески?

– Ой, голубчик, она ж лопнет сейчас, маты панайя<sup>[35]</sup>, лопнет наша барка. Я уже не могу терпеть больше! – Он закрыл глаза и замотал головой. Я думал, она у него отлетит. – А, дьяволос! Когда же берег? Не знаешь? Я тоже не знаю, никто не знает. Хорошее дело. Ай, нет! Дело очень хорошее, очень-очень-очень может выйти хорошее дело. Ай, только надо берег, скорее берег! Ма, давай берег скорей! – Он топтался на месте. – Давай, давай!

Но тут резкий свисток с мостика и крик:

– Спирка!

Спирка замахал руками и, как был, в брюках и сетке на голое тело, покатился по палубе. Таких шулеров я видел в севастьяпольских бильярдных.

В кубрике все спали. Только двое под лампой дулись в затрепанные карты. В жестяном чайнике нашелся холодный чай. Я потянул из носика и пошел на палубу посидеть.

Тендровский маяк слабо мерцал направо за кормой. С мостика было слышно, как галдел грек и как покрикивал старший помощник:

– Ты правь, Спирка, а не махай руками. Держись хоть за штурвал, обезьяна!

Из кочегарского кубрика протопали четверо – смена. И через минуту испанец уже сидел со мной рядом.

– Я бил их, механик тоже их бил. Они не могут кидать уголь, они не могут держать пар. Это не кочегары, это...

Я перебил его:

– Ты знаешь, куда мы идем?

– Нет. – Испанец стал глядеть по сторонам, как будто можно было увидеть.

– И я не знаю. – И я ударил его кулаком по колену. – Понимаешь ты: это кабак плывет по морю. Кабак – ну, таверна, или как по-вашему?

И в тот же миг я вдруг отчетливо вспомнил треугольник из красных огней на молу на мачте, когда мы выходили, – штормовое предупреждение. Закрыв глаза на минуту и вспомнил, что вверх острием висели огни, – шторм с юго-запада.

– Ты дурак, и я дурак, – говорил я. – Ведь это корыто развалится, это ж песок, склеенный слюнями. Как он от хода не рассыплется в порошок!

– Я не можно никогда... – Испанец встал.

Встал и я. И тут заметил, что пароход чуть покачивает на зыби. Зыбь шла с правого борта, шла к юго-западу. Но ветра еще не было. Зыбь шла с моря, оттуда, где работала уже погода.

– Хозе, – сказал я испанцу на ухо. – Ты смотри за шлюпками с правого борта, вон за теми, а я здесь. Они могут удрать и нас бросить, – я говорю про начальство. Капитан, механики, помощники...

Нет, Хозе ничего не понял.

– Хозе! Сядь здесь и смотри, чтобы не подходили к шлюпкам. И сейчас же скажи мне. Я буду здесь.

Но Хозе хотелось пить. Я сказал, что принесу ему целый чайник воды.

Когда я вышел с чайником на палубу, уже махал в воде порывистый бойкий ветерок. Он наскากивал, отступал, пробегал дальше. И вдруг задуло. С мостика помощник свистел и кричал, чтобы я шел на руль. Там были уже капитан и оба помощника. Машина все так же работала малым ходом. Я оглянулся с мостика вдаль, назад – Тендровского маяка уже не было видно.

Я взялся за штурвал – курс был тот же: на юг.

– Лево! – крикнул капитан.

Я сильно положил руль. Пароход покати́лся влево, и теперь мы шли прямо на восток, то есть прямехонько в берег, в эту песчаную косу, которую и днем-то за полкилометра иной раз не увидишь.

– Спирка! – крикнул капитан греку. – Пошел на лот!<sup>[36]</sup> Пошел, не болтать мне!

Кто-то поднялся на мостик; я слышал, как он крикнул через ветер:

– Надо ходу больше, мы воду не успеваем качать!

– Вон отсюда! – крикнул капитан.

Зыбь теперь подавала в корму справа. Я боялся, что каждую минуту может лопнуть пополам наша жестянка, вода хлынет в машину, под нами взорвутся котлы, и кашлянет нами «Погибель», как вареным горохом. Скорей бы к берегу!

– Стоп машина! – скомандовал капитан.

Зазвонил телеграф. Но машина наддала ходу.

– Дайте им по зубам! – заорал капитан.

И помощник скатился с трапа.

Через минуту машина стала.

– Спирка! Набрось! – закричал в рупор капитан. – Сколько? Не слышу!

Спирка взбежал с мокрым линем<sup>[37]</sup> в руках.

– Двенадцать саженей! – крикнул Спирка. – Ну, ей-богу, двенадцать! Сейчас берег, честное слово, как я Спиро Тлевитис.

– Готовь якорь, – сказал капитан.

Но Спирка вернулся через минуту.

– Они все закачались, капитан, они все как барашки, они рыгают, они не могут ничего, совсем...

– Молчать! – оборвал его капитан. – Зови из машины.

Ветер крепчал. Он уж рвал белые гребни валов. Наносило острый дождь; он бил в лицо, как свинцовой дробью.

– Бросай руль! – сказал мне капитан. – Найди людей, бей их аншпугом. Вывалить все четыре шлюпки за борт, приготовить к спуску!

Я бросился к испанцу. Хозе тянул из чайника воду и что-то жевал.

– Хозе, к шлюпкам! Бей их, скажи, что тонем.

Я вошел в кубрик, и меня едва не стошнило от вони.

– Вставай! Гибнем!

Многие сели на койках и глядели на меня, выпуча глаза. Но тошнить их перестало.

– Все на палубу! Марш!

Они спрыгивали с коек; я толкал, бил их в шею. Они падали на мокрой, шатающейся палубе, вставали на четвереньки.

На баке<sup>[38]</sup>, я слышал, громыхала цепь: видно, Спирка наладил дело, якорь готовит.

Кое-как добрались до шлюпок. Они лезли в них тут же, не вывалив их за борт. Я нашарил в шлюпке румпель<sup>[39]</sup> и бил этих людей по чему приходилось. Это привело их в чувство. Они теперь слушались и кое-как исполняли, что я велел.

На другом борту орудовал испанец с кочегарами. Мы возились уже с последней шлюпкой. Сколько всякого припаса было наложено в этих шлюпках! Тут грохнула цепь – это отдали якорь. Теперь ничего не было слышно. Над нашими головами ревел пар, его выпускали из котлов: видно, боялись взрыва.

Теперь дело пошло легче: оба помощника и капитан помогали делу. Я бросил их на минуту, чтоб захватить из кубрика кое-что из моих вещей. По дороге я видел, как два механика освобождали запоры трюмов. В кубрике я застал Хозе. Он возился над своим сундучком, что-то выбирал оттуда. Лампа еще горела, и он подносил каждую вещь к лампе.

– Скорей! – крикнул я. – Они могут нас тут бросить.

– Я не можно... – Хозе улыбнулся.

– Пойдем! – Я дернул его за рукав.

Но он не спеша завязывал в узелок свои вещи. Ох, наконец он их завязал, надел узелок на локоть. Мы вышли. Команда уже сидела на шлюпках. Я боялся, что трудно будет спустить их с высокого борта. Но вода была теперь совсем близко. «Погибель» быстро набирала воду. Пароход грузно переваливался на волне. Казалось, что меньше стало качать. Он стоял теперь носом к зыби.

Одну шлюпку уже спустили. Никто не греб, только один человек стоял на корме с веслом. Шлюпка быстро исчезла в темноте, в дожде. Мы с Хозе спустили последнюю; в ней кроме нас был Спирка и еще двое кочегаров. Мы отвалили по всем правилам. Спирка что-то городил, быстро, как молитву. Но я крикнул ему: «Молчать!» Он

затих. Я успел плянуть на «Погибель»: до борта оставалось не больше трех метров.

Нас несло штормовым ветром к берегу, это мы знали. Я правил сзади веслом. Уговорились: при первом толчке о песок – всем в воду и подтащить, сколько можно, шлюпку вручную.

Мы уже слышали, как рассыпался прибой в прибрежном песке. Зыбь становилась мельче и круче. Вдруг я достал веслом дно.

– Готовсь! – заорал я.

Шлюпку ударило носом в песок, подбросило валом корму и вмиг повернуло. Мы едва успели выскочить, как следующий вал ударил ее в борт и опрокинул. Воды было по грудь.

– Бежим! – крикнул я и дернул за шиворот Хозе.

Я помнил, что он не умел плавать.

Нас поддало волной, повалило. Но мы уже стояли на четвереньках, и здесь было на локоть воды. Испанец хохотал и что-то кричал. Куда разбросало остальных, я не видел. Через три минуты мы были уже на суше, то есть на мокром песке. Но это был берег. Я стал гукать, свистеть. «Го! го! го!» – кричал Хозе. Нам было холодно в мокрой одежде на ветру. Дождя уже не было, но ветер остервенело рвал и облеплял нас мокрым, холодным платьем. Никто не подходил, не отзывался на наш крик.

– Черт с ними! – сказал я. – Утром увидим.

Мы отошли от воды. Зуб не попадал на зуб. Вдруг мы стали на колени рядом и, не стовариваясь, оба стали рыть песок. Мы накидали руками вал и легли за ним, прижавшись спинами друг к другу. Вал прикрывал нас от ветра.

Мы проснулись, когда совсем рассвело. Еле развели скрюченные ноги и оба сейчас же поглядели на море. Желтый прибой все так же буравил берег, низкие тучи гнало от самого горизонта. Из воды, саженьях в ста от берега, торчали черные мачты «Погибели». Они, как две пики, направлены были на берег. Из валов временами показывалось жерло трубы, как открытый рот. Я плянул вдоль берега – неподалеку из воды торчало белое дно нашей шлюпки: прибой занес ее песком, как метель снегом. Разбросанные ящики – наш груз – волны таскали взад и вперед, кувыркали и били о песок. Испанец тыкал пальцем куда-то вдаль и гоготал. Я присмотрелся: шалаш из

брезента. Дым из него гнало ветром низко по земле. Испанец дергал меня, чтоб идти. Но он глядел уже налево, и было на что: шагах в ста от нас у воды на корточках сидел человек. Он чем-то ковырял в воде.

– Апельсины! Ловит апельсины. Бежим!

Испанец заочечеными ногами заковылял что было силы по песку. Но скоро мы узнали капитана в этом человеке. У него что-то серое в руках. Теперь видно: это книга. Ну ясно, это машинный журнал в парусиновом переплете, в масляных пятнах. Я дернул испанца, чтобы говорил тише. Но за ревом прибоя капитан все равно нас не услышит. Я подошел совсем близко и присел на корточки. Капитан что-то подмывал морской водой на странице журнала. Наконец он крикнул, закрыл страницу и до половины окунул журнал в подоспевшую зыбину.

– Теперь ол-райт! – сказал капитан. Он повернулся и увидел меня.

Хозе в десяти шагах стаскивал с себя мокрые ботинки. Капитан с минуту глядел на меня, выкатив глаза.

– Это откуда? Наши?

Он не знал в лицо своей команды.

А я молчал, ухмыляясь, и глядел на него снизу.

– Да кто ты есть? – крикнул капитан и шагнул ко мне.

Я молчал. Он сделал еще два шага. Но тут босиком подбежал Хозе.

Капитан глядел на него. Я помотал головой. Хозе понял и тоже молчал.

– Что вы за люди? Говорите, бестии! Говорите же!

Мы молчали. Хозе улыбнулся во весь рот. Игра ему понравилась.

– Тьфу! – плюнул капитан.

Он с журналом под мышкой зашагал прочь. Но вдруг круто повернул назад.

– Что ты видел? – крикнул он мне. – А ты? А ты?

Капитан двигался на Хозе.



Хозе стал боком, скосив глаза на капитана. Тот насутулился и глядел остекленелым взглядом: неподвижным, пристальным. Он приоткрыл рот и сдвигал все ближе брови, весь подавшись вперед. Я глядел, что будет. Вдруг что-то мелькнуло, и капитан опрокинулся навзничь. Чем и когда попал ему Хозе в переносицу? Я и сейчас сказать не могу. «Вот она, молния», – вспомнил я. Капитан не сразу очнулся. Наконец он сел на песок. Мы оба сидели против него.

– Слушайте, – сказал он хрипло. – Не будем много говорить. Вы, наверное, двое из команды... кого недосчитались. Значит, никто не погиб. Все в порядке. – Он говорил просительно, как больной. – Вы, значит, и есть испанец. – Он указал на Хозе. – А вы – рулевой. Ведь верно? Я вами очень доволен. Теперь никакой заботы, всего только – молчать. Вы, я вижу, на это мастера. Вот ему, – он указал на Хозе, – я даю триста рублей. – Капитан выставил три пальца.

Хозе их поймал в кулак и завернул дудочкой; капитан вскрикнул.

– Мало? Поезжайте в Испанию – на триста рублей можно год пьянствовать. Там вино дешевое. И вам триста. И вы уезжайте себе подальше. Понимаете? Чего вы молчите? Не поедете?

И глаза его снова остекленели.

Он встал и пошел к палатке, оглянулся и крикнул коротко, кажется «ладно», – отнесло ветром.

Хозе хохотал. Он прыгал. Должно быть, чтобы согреться.

Мы выловили дюжины две апельсинов – их вынесло прибоем – и съели. Признаться, я трусил теперь идти к палатке. Нас очень просто могли сделать утопленниками, погибшими при кораблекрушении. Я не говорил об этом Хозе, а то непременно полезет в драку.

Должно быть, было уже около полудня, когда слева показались подвода и трое верховых.

Это были пограничники.

Среди солдат на подводе сидел Спирка.

– Хлеб тоже возем! – кричал он нам с подводы. – Борщ немножко, и сейчас едем все на маяк.

Мы пошли за подводой. У Хозе за пазухой были апельсины. Солдаты сейчас же отрезали нам хлеба. По берегу против «Погибели» поставили часовых: «имущество потерпевших в море под непосредственным ее величества государыни императрицы покровительством».

В палатке дворники кипятили чай на досках от ящиков. Солдаты провожали нас до маяка. Офицер слез с коня и шел рядом с капитаном. У капитана на лбу был багровый кровоподтек. Офицер глядел и расспрашивал его про катастрофу. Дворники на расспросы солдат только хмыкали и жевали хлеб. Поздно ночью мы добрались до Тендровского маяка, и о катастрофе полетела на берег телеграмма. Наутро, если позволит погода, за нами придет катер.

У смотрителя на квартире офицер записывал показания капитана. В окно мне видно было, как они переворачивали слипшиеся листы судового журнала.

Тут меня застал Спирка. Он тоже не ложился спать. Он взял меня под руку и повел в сторону.

– Ну слушай: ну какую же пользу ты имеешь? Ты что же хочешь? Пятьсот? Я! Я! – бил себя в грудь Спирка. – Я, вот побей меня бог, не получаю пятисот. А ты тысячу хочешь? Ну, а что? Такой пароход – это хорошо, что погиб, ему так и надо. А? Нет, скажешь? Человек один пропал? Не пропал! Груз? Какой же был груз? Сам знаешь. Значит, хорошее все это дело. И зачем ты хочешь, один ты, миллионы?



Мириадес! А страховка – страховку хозяин получает, а не капитан. Капитан не хозяин. Люди получают сто рублей и говорят «спасибо».

И Спирка остановился и снял шапку.

– А ведь вы двое всем делать хотите зло! Люди же тоже могут обижаться. Знаешь, если люди обижаются...

Он тараторил без умолку, и я понял, что надо быть начеку. Я не знал, куда делся Хозе.

– Ладно, мы подумаем, – сказал я и вырвался от него.

– Чего думать? – крикнул мне вдогонку грек. – Это можно сейчас. А то может нехорошо выйти.

Я пошел искать Хозе. Дворники уже спали в сарае на полу. Среди них Хозе не было. Я вышел на двор и вдруг ясно услышал голос испанца:

– О! Я не можно ничего...

Я поспешил на голос. Кто-то прошел мимо меня. Я оглянулся и в свете окна узнал фигуру капитана. Хозе стоял посреди двора и потягивался.

– Он мне говорил: «Возьми триста, а то тебе плохо будет». А я сказал...

Я слышал, что он сказал: на весь двор сказал.

Мы спали вдвоем на кухне смотрителя. Я лег под самой дверью на полу, припер дверь собой.

К полудню шторм стал стихать. За нами приполз катерок только к вечеру. На длинном буксире притащил шлюпку с харчами для маячных. Нас по пяти человек подвозили на шлюпке. Катер снялся. На море не улеглось еще волнение, и катерок здорово качало на зыби. Порожня шлюпка волоклась сзади и мешала ходу. Я хватился Хозе. Мне помнилось, он сел на лавку в каюте. Я всех спрашивал. Дворники проклятые опять все жевали что-то и только мычали. Их скоро укачало. Капитан стоял рядом со шкипером и не хотел со мной говорить. Когда высаживались, я протиснулся к сходне, перебрал всех. Не было только Хозе. Я тогда же ночью пошел в портовую полицию и заявил. Там сказали:

– Ну, значит, остался на маяке. Капитан список подал на всех людей, ничего не заявлял. Приходи утром.

Тогда я стал ругаться, требовать, чтобы сейчас же записали мои показания, но в это время вошел портовый надзиратель.

– Это еще кто? А ну, документ? Нету? С парохода, говоришь, с погибшего? А ну, дайте-ка мне ихний список! Как, говоришь, твоя фамилия? Такого, братец, нет. Вон ты что за гусь! Гляди-ка, чего выдумал! Ай же и мастер! С погибшего? Отвести! – крикнул он стражникам.

Мне вывернули карманы, сняли поясок и пропихнули в «холодную». На полу храпел какой-то пьяный.

Это капитану обошлось, конечно, дешевле трехсот рублей. Я сел в угол на цементный пол и, признаться, заплакал с досады.

Надо было мне взять и за испанца и за себя по триста рублей, тишком-ладком, а потом на суде грохнуть все.

Наутро я растолкал пьяного. Оказался – ломовой извозчик. Я ему толковал, чтобы всем говорил: «Одного человека, мол, утопили, а другого в полицию взяли».

Всю ему историю раза четыре пересказал. А он с похмелья только глазами хлопал, как сова.

Его вытолкали на улицу, а меня повели в тюрьму. Я был уверен, что испанца кинули в море, пока мы на катере добирались. Плавать он не умеет, его за три сажени от берега утопить можно.

В тюрьме я ребятам рассказал, в чем дело. Мало кто верил, только стали меня звать «погибшим». А потом меня вызывал жандарм и спрашивал: не я ли слесарь Храмцов Иван с Брянского завода, которого полиция ищет, – он прокламации разбрасывал и бунтовал рабочих? Я говорил, что нет. А он говорит: «Погоди, дорогой, доберемся!»

Я уже второй месяц годил. Народу в камере сколько переменялось! Вдруг как-то привели новенького. У него сменка белья в газету завернута. Я попросил газетку. К окну, к решеткам. Вдруг, вижу, картинка, и нарисован пароход: лежит на боку, торчат труба и мачты из воды.

Потом читаю:

### **«ТРАГИЧЕСКАЯ КАТАСТРОФА»**

Пароход „Петр Карпов“, следуя по пути в Ялту, был застигнут свирепым юго-западным штормом и прижат к Тендровской косе. Машина не выгребала против урагана. От усиленной работы загорелся подшипник коренного вала.

Были отданы оба якоря. Но силой шторма пароход все гнало на берег, и якоря стали сдавать. Распорядительность и хладнокровие капитана, старого, опытного моряка, находчивость и удачные маневры среди разбушевавшейся стихии – все это не дало возникнуть обычной в этих случаях панике. Команда благополучно достигла на шлюпках берега.

Авария произошла по стихийной причине. Судовой журнал – этот главный документ корабля, беспристрастный свидетель его героической борьбы со стихией – час за часом говорит нам, как боролось судно за свою жизнь и честь. Машинный журнал говорит об этом размывами чернил по страницам, просоленным морской водой.

Многие записи нельзя разобрать. Но они подписаны самим морем.

Пароход шел первым рейсом после капитального ремонта с грузом апельсинов. Прибывшая на место гибели комиссия нашла пароход занесенным песком. Напором воздуха изнутри, при погружении парохода в воду, вырвало грузовые люки, и груз частью оказался выброшенным на берег в виде обломков ящиков и разбросанных апельсинов, частью же погребен песком. Груз был застрахован в сумме 350 тысяч рублей».

Внизу был помещен портрет нашего капитана. Выражение на портрете было благородное и скорбное. Я даже не узнал его сначала.

Вот те и на! Не боятся даже в газетах печатать: «из капитального ремонта», когда весь порт называл пароход «Погибелью». Но коли хозяин получает 350 тысяч, то можно тысконок пять бросить на подмазку. Комиссии за фальшивый осмотр он дал, агенту страхового общества дал, газетчикам дал...

Черт возьми! Не дал ли он еще кому надо, чтобы меня гноили по тюрьмам, пока я не сознаюсь, что я не матрос Николай Чумаченко, а слесарь с Брянского завода Иван Храмцов?

А не объявить ли, что я и есть Храмцов? Будет суд, на суде все рассказать. На суде уж не затрешь. Я посоветовался с одним рабочим, что сидел в нашей камере, и он сказал:

– Чудак ты! Ты думаешь, они глупей тебя? Никакого тебе суда не дадут, а просто административным порядком сошлют тебя, знаешь, где в бане льдом моются, снегом пару поддают. Там у тебя глаза от холоду лопнут. Суда еще захотел! Гляди ты какой!

Я задавил в себе досаду. Но было – хоть об стенку головой! Тут случился в тюрьме тиф; попал я в больницу. Говорили, я бредил этой «Погибелью». А потом слышно стало: кругом забастовки, тюрьму набили народом доверху. Стало уж не до меня. Из больницы меня, полуживого, вытолкали за ворота. Одна была бумажка, что из-под следствия освобожден.

Нищим оборванцем добрался я до своего порта. Здесь товарищи мне помогли. Сказали, что суд был, капитана оправдали. Дело у них сошло с рук. Испанца никто не знал, и такого не видели.

– А капитан?

– А он плавает на портовом буксире «Силач».

У меня, видно, рожу перекосило, потому что все стали говорить:

– Брось, мало насиделся?

Но я ничего не говорил.

Вечером я пошел в порт и стал ждать «Силача». Вот он подошел и стал кормой к пристани. Я узнал голос, он крикнул:

– Сходню ставь веселей!

Я прислонился к штабелю угля. В руке у меня был кусок фунтов в десять. Капитану дорога мимо меня, и народу сейчас мало. «Сейчас тебе, дракону, конец», – говорил я про себя. Вот он идет мимо фонаря, вот зашел в тень, и я в тени. Тьфу! За ним бегут двое.

– Господин капитан, Леонтий Андреич! Разрешите полтинничек. Ей-богу, мы ж за вас! В счет получки, вот истинный Христос! – И уж совсем почти рядом со мной: – Мы ж зато молчим.

Знакомые голоса. Фу ты! Да это Афанасий с Яшкой. Они шли за ним и клянчили. Я пошел следом. Тут уж вышли на людное место, я бросил свой уголь. Капитан полез в карман, и я слышал, как он сказал:

– Последний раз, а то я вас уберу. Знаете?

Афанасий с Яшкой дошли до пивной и ввалились туда. Они сидели за столиком, когда я вошел. Они меня не узнали, так переменили меня тюрьма и болезнь. Я спросил кружку пива за гривенник и сел рядом. Из их разговора я понял, что их взял служить капитан на «Силач», чтобы они помалкивали, и что теперь как бы в

самом деле не был это последний полтинник, что они выудили у капитана. Потом они подвыпили, и Афанасий пьяным голосом кричал:

– Ей-богу, он хороший человек! Вот мы с тобой выпили, честное слово: сам живет и другим жить дает. А это он так. Пугает только. Надо же попугать. А он, ей-богу...

И вдруг он уставился на меня. Обернулся и Яшка и тоже выпучил глаза. Он еле сказал:

– Ты... живой?

Я скорее встал, кинул официанту гривенник и вышел. Может, они еще не поверили своим пьяным глазам. Нет, нет, все равно дурака я свалял! Они скажут капитану и уж за десятку, а не за полтинник, продадут ему меня.

Я ночевал теперь по ночлежкам, работал на сноске. Я решил переждать с неделю и снова пойти стать под углем.

И вот раз в ночлежке, когда все в полутьме уже засыпали и только в углу шел гулкой разговор, вдруг слышу:

– Мне не можно...

Я так и подскочил: не может быть! Я крикнул на всю ночлежку:

– Машка!

Действительно, это был испанец. Он подбежал ко мне. Я не мог ничего говорить. Я его ощупывал и ругал. Ласкательно ругал, но последними словами. Я не мог его разглядеть, было полутемно. Старики уже бранились, что мы шумим.

Хозе начал вполголоса:

– Они спихнули меня с катера. Я не видел, кто сзади. Но я бил руками и ногами. Я не боялся. Bravo! Сзади это шлюпка на буксире! О! Я поймал шлюпку. Они не видели, что я влез туда. Я там лег. Они шлюпку оставили на якоре до утра, далеко от берега. Я видал ночной пароход. Они на нем уехали. Утром я попал на берег. Искал тебя до ночи. Значит, и ты уехал с ними. Так я думал. Я не видал капитана, как он уехал. Я б ему голову разбил, как горшок камнем.

Хозе уже говорил громко, но всем было забавно, как он говорил; многие поднялись и подошли.

– У меня не было денег, не было документа, я в этом городе никого не знаю. Я пошел носить мешки на погрузку. Потом меня взяли на пароход угольщиком. Я думал, ты уехал с ними. Я здесь

третий день. Я без места. Нет паспорта. Консул говорит: «Ты эмигрант, пошел вон!» Я его хотел бить, такая каналья!

Я не хотел говорить сейчас Хозе, что капитан здесь. Он бы начал ругаться, грозить, а тут кругом народ и непременно есть «лягаши», как во всякой ночлежке. Завтра мы сидели бы за решеткой.

Я рассказал о себе. И мы заснули на одной койке.

Наутро я сказал Хозе, что капитан здесь, на буксире «Силач».

В ту же ночь мы стояли у штабеля угля. Мы слышали, как стал «Силач» на свое место. Было пусто. Где-то по набережной шаркали пантуфлями грузчики-турки, возвращаясь с работы. Я выглядывал из-за штабеля. Сердце мое колотилось. Вот он, капитан. Он в белом кителе. Да, и двое по бокам. У одного в руке дубинка. Ого! С конвоем. Ну да: Яшка и Афанасий по бокам. Я шепнул Хозе:

– Их трое.

– Мне не можно... – и он прижал меня ближе к углю. – Идут!

И вдруг Хозе сказал что-то по-испански, вышел на середину и стал перед капитаном.

Они все трое остановились как вкопанные.

– Тебе... тебе чего? – сказал Яшка и завел назад дубинку.

Я подбежал с куском антрацита. Яшка попятился.

– А я живой! А! Капитан! – Испанец ударил себя кулаком в грудь. – Я Хозе-Мария Дамец.

Яшка замахнулся дубинкой. Я бросил изо всей силы в него уголем, но уголь пролетел мимо – Яшка уже лежал. Я видел, как капитан сунул руку в карман. Револьвер! Застрелит! Но «молния» – и капитан сел, расставив руки. Револьвер звякнул о мостовую. Афанасий бежал назад и выл на бегу длинной коровьей нотой. Я успел наступить ногой на револьвер.

Капитан вскочил – он хотел повернуться. Но Хозе поймал его за грудь.

Да... А потом мы бросили его, как тушу, на штабель. Яшка лежал молча. Мы пошли. Я слышал, что сзади топают несколько ног. Мы вошли в людное место и смешались с народом.

– Идем вон отсюда, из этого города, сейчас же! – говорил я испанцу.

– Ого! Мне не можно ничего...

– Тебе не можно, а мне нужно, и я боюсь один. Ты что же, меня не проводишь?

К утру мы были уже за тридцать пять верст, на берегу, у рыбаков. Там всегда всякого народу много толчется.

А что скажете: в полицию идти жаловаться? Или в суд подавать, может быть?

## Волы

Все это было очень давно, когда я был мальчишкой (сейчас у меня усы седые). Так что не удивляйтесь, если непохоже на сегодняшнее. На сегодняшнее похожим осталось море. И на этом море случилось вот что.

Я плавал учеником на грузовом пароходе. Дело было осенью, и стояло «бабье лето»: тихая ласковая погода, и море – будто не море, а прудок в саду. Глянцевое, масляное. Мы уже закрыли люки и ждали только капитана, чтобы сняться в рейс. Прислушивались, не катит ли он на извозчике. Вдруг прибегает наш капитан, а за ним какой-то грек, черный, потный, шапка в руке, и этой шапкой все время красное лицо обтирает, и лопочет, лопочет, и кулаком в грудь бьет. А наш толстенький спокойненько кругленькими ножками вышагивает по сходне на борт. Кочегары опустили в свою кочегарку, зашевелились матросы – сейчас сниматься в море. Нет! Наш Лобачев, капитан, тихим голосом говорит мне: «Позови Иван Васильича». И ушел с греком в каюту. Я позвал старшего помощника. Он через минуту выскочил от капитана красный, стукнул кулаком по планширю<sup>[40]</sup>.

– А, дьявол! Копейки он свои выгоняет! Хлев тут устраивать! Люди мыли, скребли. Тьфу, тьфу! – и он со злостью три раза плюнул не за борт, а прямо на нашу белоснежную палубу. А сам кочегаров с палубы гонял, чтобы пыли не натрясли.

Грек уже рядом:

– Честное мое слово, они два дня не кушали ни одна соломинка и вот крест! – он перекрестился шапкой в кулаке. – Мы все вымоем. Будет как бумага.

Иван Васильич дико засвистел в свисток и тут же крикнул мне:

– Ты чего суешься? Смолинского ко мне!

Я побежал за боцманом. Горячка – этот Иван Васильич. Он, говорят, на парусниках плавал, судно потопил хозяйское и теперь вот злится: не нравится ему служить, да еще помощником. Смолинский шел навстречу. Иван Васильич кричал:

– Грузить стадо целое! Да! Волон! Две сотни! Ну да! Прямо на палубу! Взагон! Какие стойла!!



Я не глядел на берег, фу ты! За это время уж вся пристань полна была волов. Какие-то дядьки сгоняли их палками в кучу, лупили по хребтам и сипло кричали:

– Цобе, ледаща худоба!

Я сказал бравым голосом:

– А что? Не довезем, что ли?

– Дурак! – крикнул Иван Васильич, а Смолинский крепко плянул на меня. Я обиделся:

– А что, капитан не знает, что делает? Тоже, значит, дурак?

– Крышу ему красить надо, каменный дом ставить, – сказал спокойно Смолинский, – а с волов, знаешь... копейки хорошие.

Я пляжу, не выйдет ли на разговор капитан, но капитан крепко сидел в своей каюте.

Я отошел и сказал на ходу:

– Это не на паруснике.

Ой, хорошо, что Иван Васильич не слышал!

Грек суетился на берегу, толкался среди волов, кричал на погонщиков. И вот по грузовым сходням заскользили копытами волы. Они потерянно мотали головами, а дядьки орали, нещадно дубасили и крутили им хвосты. Я решил, что так оно и надо, и тоже выскочил на берег помогать. Я думал, капитан видит из окна каюты мою работу. Мне жаль было волов, но я решил, что надо тут по-деловому, остервенился, хватил одного в зад камнем. Промазал и зашиб плечо греку. С нашего борта захохотали.

– Так! А ну еще его!

Мне пришлось тоже хихикнуть. Но тут Смолинский вышел на берег; взял меня за плечо и сказал:

– Ты иди, продуй рулевую машину, а это не твоя работа.

Тут я заметил, что к нему подошли женщина и девочка лет пятнадцати. Она глядела на меня и смеялась. Видела, должно быть, как я камнем-то. С парохода слышались резкие свистки Ивана Васильевича. Он кричал на погонщиков:

– Да чем ты мотаешь? Чем вяжешь? Лопнет эта привязь!

Иван Васильич злыми шагами подошел к капитанской двери, стукнув кулаком.

– Чем волов крепить? Чем направить?

Капитан ответил через двери:

– Вам надо знать самому, как вязать, как направить. Вы, кажется, с парусника?

– Нечем! Нечем, говорят вам. Тьфу! Выйдите, пляньте.

Иван Васильич отошел шагов пять. Он со всей силы стучал ногами о палубу и вдруг вернулся.

– Штормовые сигналы на лоцманской станции, – сказал он вполголоса у дверей и отошел.

Следом за ним пулей выскочил капитан:

– Где, где? Дайте бинокль. Эй, где вы видите?

Но Иван Васильич уж скрылся.

Капитан долго глядел в бинокль.

– Ничего не вижу, – он сунул бинокль мне. – У тебя глаза помоложе...

Но лоцманская мачта была пуста, капитан еще раз пять выходил с биноклем к борту. Наконец заперся в каюте на ключ.

Два матроса, Герман и Генрих, немцы, весело прыгали по спинам волов: они укрепляли поверх них доску, чтобы ходить. Они привязывали ее к спинам волов, кричали что-то по-немецки и хохотали.

Палубы не стало видно: она вся покрылась волами. С каждого борта их стояло два ряда, хвосты с хвостами. Немцы ныряли между ними, и вот Генрих (что помоложе) пробежал, балансируя, по доске. Он засунул руки в карманы, притопнул было ногой, но Герман вынырнул из-под волов и прикрикнул на товарища. Генрих как мальчишка сконфузился и степенно пошел по доске. Я продул паром рулевую машину. Смолинский на баке распорядился подъемом якоря. Кочегар не мог на ходу включить барабан, боялся сунуть руку, что ли! Было, правда, темно. Лобачев спокойно вполголоса сказал Ивану Васильичу:

– Что же якорь-то?

Иван Васильич рявкнул:

– Да вира якорь!

Смолинский отодвинул кочегара и сунул руку, ага! Сразу взяло, и завизжала цепь. Но в сумерках видно было, как Смолинский затряс рукой: так трясут только от страшной боли, от ожога.

Нет, чего Иван Васильич ворчит в самом деле? Отлично стоят волы, хорошо погрузили. Вон люди шутят про доску, что «мост на

быках». И волны покойны, и море как масло; как по асфальту выкатывается наш пароход мимо тихого зеленого огонька в воротах порта. Действительно, к чему эта горячка, ругань? Достойное спокойствие – это вот настоящий капитан.

Все отлично. Только вот с этим камнем у меня немножко неловко вышло, и эта девчонка. Чтоб ей!..

Я стоял на руле, осторожно перебирал рукоятки парового штурвала и слушал, как зло топал Иван Васильич над моей головой по мостику. Мы взяли курс на Севастополь. Через шестнадцать часов мы будем там. Я сменился, лег на койку и сквозь подушку слышал, как мерно урчит машина в брюхе судна. Я сказал: «А чтоб ей!..» (это девчонке) и стал засыпать. Сквозь сон слышал, как вошел в кубрик Смолинский и старик Зуев сказал:

– Это если б на берегу, то я траву такую знаю, ее надо прикладывать, и тогда всякая рана присохнет как на собаке.

И вдруг я услышал голос Германа. Он круто сказал по-немецки:

– Зер шлехт!

Я привскочил: мне с верхней моей койки видно было: Герман держал руку Смолинского и разглядывал окровавленный палец у лампы. Все кругом молчали и сипло дышали. Зуев отошел, кинул окурок на палубу, крепко тер его ногой.

– Было б на берегу... – начал снова Зуев.

– Зер, зер шлехт, – сказал еще раз Герман. Он рвал чистый платок, обматывал палец Смолинскому. Смолинский отвернулся в мою сторону и шипел от боли. Ему брашпиль<sup>[41]</sup> разможил палец.

Я проснулся под утро. Было еще темно в иллюминаторе. Что это? Никак шторм? И я тотчас же услышал напряженный вой ветра там, над палубой. Да, вот и шум зыби в скулу парохода, когда нос зарывается в воду, вот тут, за бортом. Я быстро оделся и вышел на палубу и тотчас схватился за фуражку: ее чуть не унесло. Вслед за тем меня обдало сверху водопадом. Это с полубака, с носовой надстройки: наш пароход, значит, зарывался носом в зыбь. Волы топтались передо мной в темноте серой массой. Я слышал, как чокают их рога друг о друга. Кое-где взывал то один, то другой. Вот подняло зыбью корму, и на меня из темноты двинулся вол. Он скользил ногами по мокрой палубе, беспомощно топал. Его несло на меня. Он на колени и поехал рогами вперед. Я успел увернуться. Вола с разлету ударило в двери

кубрика. Я слышал, что кто-то рвал изнутри двери, но их прижало воловьим боком. Но тут нам задрало нос, вода хлынула с полубака. Вола понесло назад. Он сбил с ног еще какого-то. Тут двери распахнулись. Я узнал на свету силуэт Смолинского. Вольная рука за пазухой. Другой он держался за ручку двери.

– Кто?

Я откликнулся.

– Волы оторвались? Иди на руль. Скачи как знаешь. Старик лишний час уже стоит.

Это, значит, Зуев.

Я, мокрый, стал в темноте нащупывать доску, «мост на быках». Но быки уже метались по палубе, и там, с левого борта, их грудой носило вперед и назад, стоявших и упавших, – всех вместе. В это рогатое месиво мне не хотелось лезть. Но кто это покрикивает весело, скачет над волами?

ТЬфу ты! Это немец Генрих верхом с вола на вола перескакивает, и вот он уже вскочил на трюмный люк, я увидел уж хорошо.

– Кавалер-р-рист! – крикнул Генрих и соскочил с люка ко мне. – Алло! – он мигом открыл дверь и пролетел в кубрик, а водопад ударил с полубака как раз ему вслед. Я высматривал путь по воловьим спинам. Рога то подымались, то ныряли вниз. Наконец я решился: я переваливался брюхом с вола на вола, мне зажимало ноги меж воловьих боков. Наконец я добрался до трапа. Но волон несло назад, меня вместе с ними. С новой волной нас бросило обратно к трапу. Я успел ухватиться за поручни. Я уже в рулевой. Зуев щурится в компас и шепчет: «Бойся, бойся Лобач наш, что перекинет пароход, бойся повертать боком к зыби...» Он отдал мне руль, не передал даже, какой курс. Я стал держать на том, какой застал по компасу. Вот с мостика сбегает кто-то. Рвет двери в капитанскую каюту, что за рулевой рядом. Слышу голос Иван Васильича:

– Волы оторвались! Вы слышите?

Я слышал, как громко и ровно сказал капитан:

– Надо уметь принайтовить палубный груз. Надо знать свое дело... и не терять головы.

– И совести! – крикнул Иван Васильич за дверями. Он стукнул кулаком в дверь, и, пожалуй, треснула деревянная решетка.

– Выходите! – крикнул Иван Васильич.

– Спокойствие! – ответил капитан. – Мне надо свериться с английскими картами, они у меня здесь.

Ветер дул нам в лоб, чуть слева. Слева же я видел Тарханкутский маяк. Он то вспыхивал, то тонул в зыби: значит, мы сделали больше половины пути. Впереди серел рассвет: небо было в густых тучах как в войлоке. Прошло два часа – пароход топтался на месте. Мы почти не продвинулись вперед. Смолинский стоял на люке, он что-то кричал немцам и Зуеву. Они старались канатом обхватить стадо и притянуть его к борту. Грек кричал сверху, плакал, все это как-то сразу и со всех сил. На корме Иван Васильич с другими матросами старался припереть волов к борту досками. Но они падали, стоящие валились им на рога. Кровь и помет смешались на палубе, и эту грязную жижу перемывала морская вода. Обед нельзя было пронести в кубрик, и команда топталась в коридоре, у кухни. Я хотел пробраться помочь Смолинскому. Я добрался до темного люка. Тут какой-то кочегар крикнул: «А ну, камнем, камнем их!» – и кивал на волов. Я прыгнул с люка к дверям, в кубрик, на койку.

Что же Лобачев? Карту сверяет? А может быть, и в самом деле?

Я опять стоял на руле. Теперь уже темнело. Тарханкутский маяк остался по корме слева, и впереди, справа, блестел Херсонесский, от него влево, я знал: вход в Севастопольскую бухту. Второй помощник, молодой и тихий, изредка потопывал по верху. Слышу шаги, крепкие, злые – Иван Васильич.

– Брось курс, ложись прямо на Херсонесский, – сказал он мне.

– Лобачев приказал? – спросил было я.

– Я тебе говорю! – Иван Васильич все это кричал. Лобачев не мог не слышать у себя в каюте. Я ждал, что он войдет.

Дверь его отворилась. Ага! Капитан все же слышал, как я переспросил. Я довольно громко сказал: «Лобачев приказал?» Надо было еще громче. Но подошел старший механик. Я про этого старика знал, что он любит помидоры, и он всегда молчал. А тут вдруг громко стал ворчать.

– Говорил ему, – сказал механик. – Не велит прибавлять ходу. Уголь, говорит, есть, а в эту погоду лагом (боком) к зыби нельзя пароход ставить – перевернет нас. Повернуть в Севастополь оно и можно бы, да тут смелость нужна. А откуда она у него возьмется? Держаться, значит, будем пока...

– Пока! Смолинский сдохнет, у него гангрена! – Иван Васильич топнул об палубу ногой, никогда он этого не делал.

Механик молчал.

– Вы обедали? Нет? И завтра не будете. Даю слово. Воловьи кишки будете жрать. Давайте весь ход, подымайте пар до подрыву!

– Ну, я уж не знаю!.. – Механик ушел.

Но я заметил, что тишком машина все бойчей и бойчей стала наворачивать там, внизу. Я правил теперь прямо на Херсонесский маяк. Я слышал, что Лобачев позвал вахтенного матроса и велел вызвать механика. Нет, машина не сбавила ходу. Лобачев, видно, высунулся в двери, так как я сквозь ветер слышал, как он сказал механику: «Я вам приказываю... – потом помолчал. – Сейчас же, немедленно, дать мне точные сведения о количестве запаса... цилиндрического масла. Немедленно!» – крикнул вдогонку.

Воловьи туши скользили по палубе, их поворачивало и носило, канаты лопались, опадали на палубу, доски трещали, и волон снова разметывало по палубе. К ночи стонущая серая куча снова заходила, заметалась, и дикий рев стоял над палубой, и нельзя было разобрать, сидя в кубрике, взревел ли вол или взвизгнул ветер в снастях. Да, а теперь ясно слышно: это уж стон здесь, стонал Смолинский у себя на койке. Зуев снял лампу, подошел. Генрих сказал, что надо палец перетянуть натуго у корня бечевкой, чтоб зараза не пошла дальше. Я подал парусную нитку. Она крепкая как дратва. Генрих два раза обмотал и со всей силы затянул палец. Иван Васильич вошел и пощупал осторожно голову Смолинского. Зуев заглянул ему в лицо.

– Есть жар, – сказал Иван Васильич.

– Хлопцы! – вдруг вскочил на койке Смолинский. – Открывай борта, вали всю скотину за борт, а то пропадем все: не на добро та скотина нам далася! – И снова лег.

– Свалите? – Он снова поднялся на локте. – Зуй? Генрих? А то все пропадете, а так хай я один сдохну.

– Свалим! – сказал Генрих.

– Лягай, лягай, – и Зуев толкал его в грудь.

Я немного задремал. Проснулся – крик на палубе. Я выскочил. Люди возились среди волов. Кого-то вытащили на люк. Это Герман с Генрихом доставали Зуева, старик провалился, его топтали уже волы. Как Генрих выворачивался в этой кутерьме, в темноте среди волов, не

могу понять. Но он теперь не шутил, не смеялся, он ругался и по-своему и по-нашему. Герман посмотрел больного и сказал, что вернее будет так: он затянул руку у кисти – и что Генрих – мальчишка. Я уже сам стал отчаянно нырять и прыгать среди скотины, когда шел на руль. Мне казалось, конца не будет этому аду. Я слышал голос Ивана Васильича на мостике. Я поднялся на несколько ступенек по трапу. Вот здесь, в двух шагах, разговор.

Ого! Это сам Лобачев. Когда действительно надо, он на мостике оказывается. Севастопольские входные огни были как раз слева. Мы были прямо против них. Сейчас опасный поворот, капитан на посту.

– Я приказываю, – говорил Лобачев, – держаться до утра против зыби и ни в коем случае не поворачивать.

– Боитесь? – крикнул Иван Васильич.

– У меня есть свои соображения.

Тут я не расслышал, только он сказал вроде: потонувшее судно, и над ним вежа без огня, и ее видно только днем. А машина пусть работает средним ходом.

А вот это я слышал ясно:

– Человек умирает, надо врача, надо к берегу – это понятно, черт вас подери?

– Я приказываю! – взвизгнул Лобачев.

Я едва успел спрыгнуть с трапа. Лобачев сбежал вниз и захлопнул дверь в своей каюте.

Тут поднялся с палубы Герман. Он нащупал меня в темноте.

– Что, будет поворот? Почему нет поворота? Вот бухта, город? До утра? Ну да, дисциплина! Судно? Вежа?

Я стал рассказывать, что я слышал об опасности напоротья на затонувший пароход. Герман промолчал.

Мне было время на руль, и я стал у штурвала. Прошло минут пять. На мостике было тихо: никто не топал. Может быть, никого нет. И я один держу курс против зыби, а в кубрике умирает Смолинский.

Вдруг затопали с мостика по трапу, и Иван Васильич вошел в рулевую.

– Лева! – крикнул он мне.

Я плянул на него.

– Лева! – и Иван Васильич рванулся к штурвалу.

Лобачев не выскочил на этот крик.

– Лево на борт клади! – кричал Иван Васильич и сам повернул штурвал до отказа.

Ух, как положило, положило по самый борт! Теперь правил сам Иван Васильич.

Я видел, как стали открываться двери в кубрик. Люди выскакивали на палубу. Матросы и кочегары. Было трудно стоять на ногах. Я слышал только немецкие выкрики Германа над воем скотины. Я не мог понять, что делается: как будто внизу, там, на палубе, в воде, что хлестала из-за борта, идет возня. Машина работает полным ходом. Нас валяет с борта на борт, но огни городские все ближе. Сейчас мы должны зайти за Херсонесский мыс, и он прикроет нас от зыби. Да! Да! Так оно и выходит, вот уж меньше валяет, да! Всего минут десять было так ужасно. Но Лобачев? Неужели он не заметил, что повернули? Повернули, наплевав на его приказ? То есть повернул Иван Васильич. Через полчаса мы подали концы на берег. Было светло от электрических фонарей в порту. Палуба была чиста: ни одного вола. Мне сказали, что немцы умудрились раскрыть порты в бортах, те двери, в которые кладут сходни, и туда-то провалился за борт весь скот, пока нас клало с борта на борт. Но Лобачев не выходил из каюты. Никто не хотел к нему постучать. Наконец пришел агент нашего пароходства и прошел к капитану.

Смолинский все повторял:

– Ты, гляди, Поля, чтоб только с Ленки чего не сробилось. Добре за ней доглядай!

Потом Генрих оделся в свой немецкий костюм и котелок на голову, в руках тросточка: они с Иваном Васильичем должны были устраивать Смолинского в больницу. Приехала карета с санитарями. Пошли с носилками в кубрик. Агент вышел от капитана, сказал, волнуясь:

– Дайте и сюда носилки!

– Отравился! – шепнул я Генриху.

– Сейчас это узнаем.

К капитанской каюте никто не пошел, все глядели издали. Вынесли Смолинского. Следом несли носилки с Лобачевым. Он был закрыт простыней весь, с головой. Зуев снял шапку как перед покойником. Иван Васильич стоял у сходни красный, взволнованный.

Генрих ткнул тросточкой, где вздувался живот:



– Ой! – вскрикнул Лобачев. – Ну вас к лешему!

Иван Васильич жестко плюнул в простыню, повернулся и быстро сбежал на берег: там клали в карету Смоленского.

А куда грек пропал, так никто никогда и не узнал.

# Ураган

## Глава I

Это было на юге Франции. Был тихий весенний день. Огромный учебный плац за крепостью был запружен праздничной публикой. Разноцветные дамские зонтики качались над толпою, как цветы на стеблях. И надо всей площадью, как крыша гигантского здания, серебрилась на веселом солнце спина воздушного корабля. Какой-то мальчишка влез на плечо товарищу и что-то кричал, указывая через головы людей на середину площади.

– Что, хороша сигара? – спрашивал его мастеровой из толпы.

– Да, метров сотни с две длиной, сразу не выкуришь. А снизу яички какие-то висят, для воды, что ли? – кричал мальчишка.

– Там машины. Эх ты, молокосос! – поправил его мастеровой.

– Ну, да! – не унимался мальчишка. – Ведра на три бочонки.

– Туда, брат, таких, как ты, с полсотни упрятать можно, – смеялся мастеровой.

– Идут, идут, – заорал мальчишка, – сейчас садятся... Сам Жамен. У-рр-а-а!

И он замахал шапкой в воздухе. Толпа громче загудела, двинулась вперед, так что конная полиция едва могла сдерживать напор людей.

Посреди площади вытянулся своим громадным блестящим корпусом только что отстроенный дирижабль. Нарядно блестела стеклами каюта под носовой частью корпуса. Из ее открытой двери спускалась на землю лесенка, и тут около входа собрались пассажиры и провожавшие.

Все завидовали четверем пассажирам, всем хотелось подняться вверх и поплыть в этом весеннем воздухе. Но завидовать можно было не всем; один из пассажиров, ученый Рене, был бледен, ни с кем не разговаривал и, глядя в землю, все время ходил взад и вперед. Он волновался и боялся, что в последнюю минуту откажется войти по этой лесенке в каюту. Он подбадривал себя и старался думать о тех научных исследованиях, которые им всем нужно будет делать в

воздухе. Ему досадно было, что он не может радоваться и весело болтать, как трое его спутников.

Наконец появился сам капитан Жамен. Это был приземистый, плотный мужчина лет сорока, с лихими усами и бойкими манерами.

– Да, да, – говорил Жамен веселым и уверенным голосом, – чтоб не опоздать, не надо спешить. Не беспокойтесь: ровно в одиннадцать мы летим.

– Дюпон! – обратился он к своему молодому помощнику. – Бензин весь принят? Масло? Так, так. Да, а голуби?

Из группы провожавших протиснулся человек в почтовой форме с большой плоской корзинкой в руках.

– Вот здесь пятнадцать штук, – сказал он Жамену.

На корзинке белыми буквами было написано: «Тулон. Крепость. Голубиная почта».

Слышно было, как внутри топали лапками и урчали птицы.

– И вот вам просили передать, – сказал почтальон и подал Жамену конверт.

– Ах, вот как! Ну, вообразите, – весело сказал Жамен, обращаясь к публике, – эти господа с метеорологической станции непременно хотят доказать, что они нам необходимы! Опять конверт, и там, должно быть, сообщают нам, что их тут завтра будет поливать дождем! Да, да. Как раз из тех самых облаков, над которыми мы будем парить. Я с удовольствием вылью им на голову еще полдюжины пива!

– Благодарите заведующего, – обратился Жамен к почтальону и не глядя сунул конверт в карман.

– Все готово? Прошу всех садиться, без пяти одиннадцать, – объявил капитан пассажирам.

Отъезжавшие стали наскоро прощаться и один за другим подниматься в каюту.

Капитан Жамен лихо вбежал последним по лесенке, сделал бравый жест рукой провожавшей толпе и резко захлопнул дверцы.

Стоявшие у канатов солдаты сразу отпустили тяги, оркестр грянул веселый марш, толпа загудела, замахала шапками.

Во всех пяти подвесных машинных каютах затрещали моторы, в воздухе завертелись пропеллеры, и корабль плавно двинулся вперед по направлению к морю. Он шел вперед и в то же время забирал все выше и выше.

Пассажиры прильнули к зеркальным стеклам каюты.

Географ Леруа, высокий молодой человек с оживленным лицом, болтал, жестикулировал и все еще обращался к оставшимся на земле, хотя его никто уж не мог слышать. Его радовало, что светит солнце, что он в воздухе, что подымутся еще выше, и он считал этот день самым счастливым в своей жизни.

– Смотрите, смотрите, – кричал Леруа своим спутникам, – мы уже выше собора! Вот трамвай – какой смешной: как жучок! Вон все остановились – это на нас плазуют! О, да мы выше колокольни!

Стоявший рядом Рене сразу отдернулся от окна, сел на диван и уставился в потолок.

– Порт! Порт! – не унимался географ. – Море! Вон пароход, – когда он еще придет в гавань! Рене, Рене! – звал он товарища.

Но Рене поднялся с дивана и вышел в коридор каюты, ничего не ответив. Он с усиленным вниманием осматривал каюты. Своим устройством они напоминали первоклассный вагон железной дороги. Он старался не думать о высоте и удивлялся, как товарищи могут радоваться и ликовать, когда под этим полом – пропасть. Рене осторожно стукнул каблуком в пол. А оставшиеся у окон не могли оторвать глаз от необъятной синей равнины Средиземного моря. Географ рассматривал в сильный призматический бинокль прибрежную полосу, называл поселки, суетился и совал бинокль товарищам.

– Превосходно! Великолепно! – радовался географ, щелкая затвором фотографического аппарата. – Вот отлично мы проверим наши географические карты! Снимки с птичьего полета!

– Слушайте, Лантье, – обратился он к своему соседу, инженеру, – мы ведь скоро увидим Геную, а потом Корсику и Сардинию! Сколько мы идем в час? Да ну, говорите же?

– Сейчас наша скорость... – спокойно начал Лантье.

– Да ну, скорей! – торопил его географ, – сколько, сколько?

– Сто восемь километров в час, – продолжал Лантье, – но противный ветер может нас задержать.

– Ну, а скорей нельзя? Сколько же самое большее? – теребил его географ.

– Полный ход на всех пяти машинах – сто двадцать два километра.

– А еще больше нельзя?

– Да ведь и то скорее всякого курьерского поезда, – улыбнулся Лантье, – разве вот в корму хороший ветер подует, тогда держись только.

Стоявший тут толстый старик, профессор Арно, довольно улыбался и жмурился на солнце. Он попробовал пухлой рукой сиденье дивана.

– Вот это хорошо! – сказал толстяк и грузно опустился на диван.

В это время в каюту вошел молодой человек в авиационной фуражке.

– На ваше имя телеграмма, – сказал он, передавая бумажку профессору.

– Как? – встревожился географ. – Почему до отъезда не передали? Ах! – вдруг спохватился он. – Я и забыл.

Он покраснел, обрадовался и захлопал в ладоши.

– Радио, радио! Ах, черт возьми, ведь и мы можем посылать на весь свет телеграммы! Вы телеграфист? – обратился он к молодому человеку.

– Да слушайте же, – перебил его профессор, развернув бумажку, – слушайте!

«Париж, одиннадцать часов шестнадцать минут.

Президент географического общества от лица всех членов приветствует экспедицию и желает успеха и счастливого плавания».

Добродушное лицо профессора расплылось в приятную улыбку.

– А это что у вас? – спросил Леруа, увидев в руках телеграфиста еще бумажку.

Телеграфист сразу стал серьезным и, нахмурясь, проворчал:

– Это капитану Жамену от Марсельской метеорологической станции.

– Ваш капитан, кажется, не особенно верит в эту науку? – спросил профессор.

Телеграфист пожал плечами и вышел.

– С такой высоты можно на все плюнуть, – весело сказал Леруа. – А где же Рене?

Рене нашли в кухне, где он беседовал с поваром. Сковородки шипели, и бедняге Рене казалось, что он на земле. Он даже предлагал повару почистить картофель.

– Сюда, сюда, – кричал Леруа из коридора, – право, тут целая лаборатория!

Неугомонный географ тащил всех в умывальную комнату, где был душ, ванна, зеркала. Все было чисто и весело блестели никелированные краны.

Но в это время раздался звонок. Все переглянулись и вышли в коридор. Сам капитан Жамен стоял в дверях.

– Пожалуйста завтракать, – приглашал он, указывая жестом в открытую дверь направо.

Там виден был богато накрытый стол с дымящимися горячими блюдами.

– Слушайте, дорогой, – обратился профессор во время завтрака к Рене, который уселся подальше от окна и ничего не ел. – Самое главное – это одеться потеплей, покушать поплотней и быть повеселей!

Рене натянуто улыбнулся шутке профессора.

– Да что вы, – продолжал толстяк, ласково глядя на Рене, – ведь мы тут не одни, – хотите сейчас спросим, с чем нынче макароны у римского папы? Кстати, капитан, – обратился он к Жамену, – что вам пишут из Марсея?

– Да, право, не знаю. Где эта телеграмма? Да, вероятно, все то же! Вас интересует?

И Жамен передал профессору Арно нераспечатанный конверт метеорологической станции.

– Разрешите? – сказал профессор и вскрыл конверт.

«На основании полученных с метеорологических станций сведений, главная Парижская физическая обсерватория ожидает в эти сутки сильного циклона, который должен захватить на своем пути берега Средиземного моря. Действие его распространится на высокие слои атмосферы. Считаю долгом предупредить экипаж воздушного корабля».

Арно передал листок инженеру Лантье, который не отрываясь глядел на профессора, пока тот читал.

– Что вы об этом думаете? – спросил профессор Жамена.

– Эх, это каждый раз: какой-нибудь ученый каркает. Думает, когда-нибудь и попадет в точку. То-то, дескать, прославлюсь! Простите, профессор, что я так...

Жамен допил свой стакан, подкрутил усы и встал из-за стола.

Рене сидел бледный, что-то рисовал вилкой на скатерти и ни на кого не глядел.

– Что вы думаете, Лантье? – обратился профессор к инженеру.

– Думаю, что все это правда, – строго и спокойно сказал Лантье, – я следил все время за барометром: он резко упал, хотя мы держимся на одной высоте. Мы сейчас на высоте приблизительно...

Рене боялся слышать про высоту. Он сорвался с места и вышел вон.

– Не может слышать про высоту, – сказал профессор, – пошел, бедняга, мыть тарелки, должно быть.

– Да, – продолжал инженер, – я думаю, надо убедить капитана спуститься немедленно в Генуе или Ливорно. Каких-нибудь полчаса – мы там.

Леруа озабоченно слушал разговор товарищей.

– Я видел с запада облака, когда мы поднялись выше тысячи метров, теперь они будто бы ближе! – с тревогой сказал он.

– Я тоже за ними слежу, – сказал Лантье, в тоне его чувствовалась спокойная уверенность, – эти облака быстро нас догоняют, значит, несутся с невероятной быстротой.

– Ураган?! – крикнул вдруг показавшийся в дверях Рене.

– Да, – сказал Лантье, – вероятно, ураган. Во всяком случае надо ждать резкого удара ветра.

– Ну, и что? – с ужасом спросил Рене.

Профессор умоляюще взглянул на инженера и толкнул его под столом ногой.

– И надо смотреть опасности прямо в глаза, – твердо отчеканил Лантье, – нам может прийти очень плохо. Надо заставить капитана сейчас же спуститься.

– Я советую, – загорячился географ, – прямо дать сейчас же телеграмму его начальству, чтоб ему приказали спуститься! Немедленно!

Леруа бросился к двери.

– Нет, – спокойно остановил его Лантье, – надо сначала предложить ему это. А если откажется...

– Конечно, конечно, – подхватил ласковым баском профессор, – зачем ввиду опасности воевать между собою! Скажите, что профессор Арно... и все члены экспедиции... сердечно настаивают... ну, или как там?

Инженер Лантье вышел и направился в носовое отделение каюты, где находилось управление дирижабля. Впереди каюты, у переднего окна, у штурвала<sup>[42]</sup>, стоял помощник Жамена и не отрываясь смотрел на компас. Направо в кресле сидел Жамен и что-то измерял циркулем на карте. Он опянулся навстречу вошедшему, но, взглянув в серьезное лицо Лантье, сразу насторожился.

– Капитан, – начал Лантье, – вам было бы полезно, я думаю, знать, что здесь написано.

Инженер протянул ему телеграмму метеорологической станции.

– Я не интересуюсь этим, мосье, и сейчас занят, – отрезал Жамен и круто повернулся к столу.

– Прошу вашего внимания, – немного возвысив голос, но все еще спокойно сказал Лантье.

Жамен нетерпеливо обернулся, не глядя на инженера.

– Вот, – продолжал Лантье, указывая рукой в окно на запад, – вот это, эти облака – они вас тоже не интересуют?

– Предоставьте каждому интересоваться своим делом и примите за правило не мешать занятому человеку, – отчеканил Жамен.

– Оставьте этот тон, капитан, – сказал Лантье, – облака идут с невероятной быстротой, их несет ураган. Вы сами это знаете! Какое вы имели право не сообщить нам о предупреждениях метеорологической станции раньше, чем мы сели на ваш корабль?

– Что вам надо? – крикнул Жамен.

Он терял терпение.

– Мы предлагаем немедленно спуститься в Геную. Еще не поздно!

– А! Так? – вскричал Жамен и нажал одну из многочисленных кнопок сбоку стола.

Вошел телеграфист.

– Мосье Феликс! Никаких частных телеграмм! Поняли?



– Есть, капитан, – ответил молодой человек, печально и сочувственно взглянув в сторону Лантье.

Инженер прошел в пассажирское отделение, где профессор и географ напряженно ждали его возвращения. Рене сидел тут же, откинувшись на диване, и что есть силы сжимал правой рукой свою левую руку. Сознание опасности его мучило до тошноты.

– Капитан отказался спуститься, – объявил Лантье входя. – Я указывал ему на облака.

– Телеграмму в Тулон, в Париж, сейчас же! – весь красный, горячился географ.

– И приказал телеграфисту, – продолжал Лантье, – не передавать наших телеграмм.

– Вздор, я заставлю! – закричал Леруа и бросился бегом по коридору.

Лантье, не отворачиваясь, смотрел в окно. Облака подходили все ближе и ближе, и уже полгоризонта было затянуто ими. Впереди, как передовой отряд, неслись черные взлохмаченные тучи. Они клубились и непрерывно меняли свои очертания. Вдруг гуденье моторов стало тоньше и резче.

– Ага! Прибавил ходу, – сказал как бы про себя Лантье.

Рене вздрогнул и посмотрел на профессора.

– Может быть, мы убежим от облаков, – сказал толстяк, ласково глядя на Рене. – Они нас не догонят.

– Нет, – твердо сказал Лантье, – если это ураган, то он каждую секунду нагоняет нас метров на двадцать.

Рене не мог больше сдерживать себя и уже не стыдился своей слабости.

– Профессор, мосье Арно, дорогой, надо что-нибудь, что-нибудь!

И он в тоске кусал губы и закрывал глаза.

– Пошлем голубя! – вдруг пришло в голову профессору. Он не знал, как успокоить несчастного товарища.

– Да, да, голубя, скорее, профессор, – молил Рене.

– Поздно, – сказал Лантье.

– Идем, идем, дорогой, – тащил профессор беднягу Рене к каюте, где стояла корзинка с голубями.

– Садитесь, пишите.

– Не могу, не могу, ничего не могу, – стонал Рене.

Профессор быстро написал на листке из блокнота и прочел:

«Тулон, начальнику штаба авиации.

Прикажите Жамену немедленно спуститься в Геную.

Ураган надвигается, угрожая кораблю.

Начальник научной экспедиции профессор Арно.

1 ч. 25 м. пополудни.

Дирижабль 126Л».

Профессор вытащил из корзинки голубя. На шее у птицы была привешена металлическая трубочка, в которую надо было засунуть скрученное письмо.

– Да держите же голубя, дорогой, – басил успокоительно толстяк. – Смотрите, какой он умный.

– Да, умный, умный, – лепетал Рене, с надеждой глядя на голубя.

Арно отворил верх окна, и Рене дрожащими руками выпустил птицу. Они видели, как голубь секунду подержался на высоте дирижабля, а потом камнем пошел вниз, сложив вверх крылья.

Рене смотрел вслед голубю, и ему хотелось тоже броситься сейчас же вниз, в море, лишь бы не оставаться в этой ловушке в ожидании страшных туч. Но внизу он видел освещенные солнцем берега, и, как белое пятно, город Геную. Там дальше виднелась уходящая к горизонту линия итальянского берега, внизу, как накрашенное, Средиземное море. Но в это время тучи набежали на солнце, все потемнело, и, как будто предчувствуя непогоду, сильнее затопотали голуби в корзинке и сразу притихли.

Рене повалился на диван и закрыл лицо руками.

– Профессор, профессор! – кричал из коридора географ. – Безобразия! Он не хочет телеграфировать! Рабы! Ослы! Проклятые! Команды – двадцать четыре человека. Я сейчас пойду в машины. Я всем объясню, что происходит.

Арно не успел ничего сказать, как географ скрылся уже в дверях носовой каюты.

– Сакрэ тоннэр! – раздался голос Жамена. – Держите его!

И вслед за тем профессор услышал быстрые шаги над потолком каюты.

– Это Леруа пробрался в коридор, что идет вдоль корпуса корабля, – объяснил Лантье.

– Он не упадет? – беспокоился профессор.

– Нет, не думаю. Но оттуда в каждую машинную каютку открытая лестница.

Профессор с обеспокоенным лицом побежал вслед за Леруа.

Но едва он открыл дверь в управление, как весь корабль покачнуло, и пол каюты наклонился.

– Выравнивай! Рули! – орал Жамен.

Помощник, стоявший у левого штурвала, начал поворачивать колесо, но вся каюта стала почти боком и потом качнулась обратно. Люди едва удержались на ногах. Жамен хотел что-то скомандовать, но только крикнул:

– Рули!.. – и растерянно поглядел по сторонам.

Стало темно, будто в осенние сумерки, и слышно было, как хрустел весь корпус дирижабля.

Леруа слышал в коридоре, внутри корабля, этот хруст. Ему казалось, что корабль сейчас поломается, и они все камнем упадут в море. Но вот какой-то выход вбок. Географ бросился туда и очутился на внешнем балкончике с перилами. Он уцепился за них, чтоб не упасть. Ветер несся мимо корабля и трепал какие-то странные брезентовые чехлы, висевшие на гладком никелированном пруте над площадкою балкона. От них шли веревки к корзинам в пол человеческого роста, стоявшим тут же на балконе.

– Нет, это не то, – решил Леруа и пустился по коридору дальше.

Вот опять проход направо и налево. Оттуда резко доносился треск мотора. Леруа пошел по узкому мостику и оказался над входом в каюту. Из нее виден был электрический свет. Кругом был мутный мрак, и Леруа казалось, что эта каютка одна несется в пространстве, в необъятном пространстве, наполненном этим густым мутным туманом. А внутри свет и уверенная работа мотора, как будто это было на фабрике в спокойном городе на земле! Леруа спустился внутрь.

Один механик заботливо шупал цилиндры мотора, другой смотрел на циферблат, на котором Леруа успел прочесть:

«Оборотов в минуту 1800».

Электрические лампочки ярко освещали внутренность каюты. В углу географ заметил еще одного механика, который что-то кричал по телефону. Эти люди улыбнулись и закивали головами, приветствуя Леруа.

«Никакого волнения и беспокойства! – думал Леруа. – Они не понимают положения». Говорить было невозможно – так ревел мотор. Леруа вынул записную книжку и написал:

«Ураган, он отказывается спуститься».

Один из механиков прочел, взял карандаш из рук Леруа и написал:

«Значит, так надо».

Леруа выбрался снова в коридор и побежал назад к своим. Дирижабль теперь почти совсем не качало, и не слышно было свиста ветра.

Вот она, лесенка вниз, в кабину управления. И здесь уже горело электричество.

Лантье стоял над креслом, в котором сидел Жамен. Отчеканивая каждое слово, инженер говорил:

– Больше не спускайтесь! Держитесь теперь середины потока, по бокам его воздушвороты, как по берегам быстрой реки.

Жамен весь как-то съежился. Он виноватыми глазами смотрел на Лантье и повторял:

– Да, да, я понимаю вас.

– Остановите машины, не тратьте бензина, он пригодится, – сказал Лантье.

Жамен покорно взял трубку телефона, нажал кнопку и сказал:

– Все машины стоп!

Почти мгновенно замолк шум винтов.

– Идемте! – сказал Лантье, заметив появившегося Леруа.

– Что это? – спросил географ, когда они вышли.

– Он, кажется, струсил и поджал хвост. Смотрите, какой он стал смирный!

Лантье открыл дверь направо и вошел в телеграфную.

– Эйфелева башня<sup>[43]</sup> все время нам передает телеграммы, – сказал телеграфист и пододвинул бумажки.

Лантье прочел:

«1 ч. 20 м. Париж.  
Спускайтесь, ждем урагана с запада».

«1 ч. 25 м. Марсель.  
Свирепый шторм с северо-запада. Целы ли вы?»

«1 ч. 28 м. Тулон.  
Куда выслать крейсер?  
Начальник военного порта».

«1 ч. 40 м. Париж.  
Телеграфируй, жив ли?  
Луиза Жамен».

«2 ч. 10 м. Марсель.  
Старайтесь достичь северных берегов Африки.  
Заведующий метеорологической станцией».

Лантье сказал:

– Телеграфируйте в Париж: все целы, несемся с ураганом.  
Корабль невредим.

Телеграфист передвигал какой-то рычаг в аппарате и напряженно слушал. На голову его была надета широкая пружина, кончавшаяся на ушах слуховыми телефонными трубками.

– Подают с моря... – сказал он, и Леруа читал из-под его руки.

Телеграмма была по-французски:

«Нас тоже несет ураганом. Итальянский пароход „Варезе“. Штормуем на высоте Сицилии. Знаем, что никто не может нам помочь. Держитесь, товарищи, в воздухе. Где вы?»

– Ответьте, что нас несет к Абиссинии, – сказал Лантье и вышел с географом.

Профессор гладил Рене по голове, когда вошли географ и Лантье.

– Как дела? – спросил профессор Арно.

– Пока несет километров по двести в час, должно быть, к Абиссинии, – сказал Лантье.

Но в это время новым ударом ветра снизу подняло корабль, и опять этот страшный хруст корпуса заставил содрогнуться Рене.

– Лантье, Лантье! – молил бедняга. – Из чего он, корабль, из чего?

– Внутри корпуса целая сетка из тонких алюминиевых пластинок, они склепаны в целый скелет, и все это обтянуто оболочкой из особой материи... – объяснил инженер.

– Это может...

Рене не договорил. В уме его рисовалось, как весь корабль обращается в груды мелких пластинок, хрупких, как алюминиевые ложки, нелепой тряпкой обвисает вся оболочка, и все они вместе, с этим электричеством и машинами, камнем летят в пропасть...

Он не мог выносить дольше этой мысли. Земля, земля! Какая угодно, хоть сейчас броситься в окно, хоть мертвым прилететь на твердую почву.

– Вот, вы знаете, – сказал географ, – в море лучше: гибнет корабль, так хоть можно на шлюпки, на спасательный круг, а тут вот прыгай! – и он указал головой на окно.

– Нет, – сказал инженер, прислушиваясь к хрусту корпуса. – Нет, и здесь есть спасательные средства – парашюты, по числу людей. Они на балконе, сбоку. Садитесь в корзину и бросайтесь с балкона. Парашют сам срывается, летит с вами вниз, по пути открывается, как зонтик, и вы достигаете земли, сидя в корзинке.

– А если море? – спросил профессор.

– Нет, – ответил Лантье, – сейчас и на землю сесть не сладко. Мы над Сахарой, а там сейчас бушует такой самум, что если не перевернет с парашютом по дороге вниз, то все равно засыплет песком на земле в пустыне.

«Лучше пусть песком, – думал Рене, – только бы на земле, на земле!»

– А, так это и были парашюты, – сказал географ, – я их дюжины с три видел, когда ходил наверх. Налево – балкон...

Рене вышел. Страх поднимал в нем решимость. Он прошел в рулевую, поднялся по лестнице. Коридор был освещен редкими лампочками. Вот какой-то выход. Он торопился. Он чувствовал, что если не найдет парашюта, то просто бросится на землю: пустое пространство внизу жгло, пугало и тянуло его. Ага, вот корзина! Он потянул крайний парашют, и брезентовый зонтик пополз своим

кольцом по гладкой штанге до пролета у перил. Тут Рене притянул к этому зонтику корзину. Поставил ее у края, в свободном пролете, где не было перил...

Он спешил, так как чувствовал, что это последние минуты. Еще немного – и настанет момент, когда он, не рассуждая, прыгнет очертя голову вниз, лишь бы избавиться от этого ужаса. Он влез в корзину, зажмурил глаза. Все равно. Одной рукой он судорожно держался за край корзины, другой отпихнулся. Корзина скользнула с балкона. Парашют сорвался. Рене без памяти упал на дно корзины.

Рене открыл глаза. Он ничего не мог понять: полная тишина, он в корзине, а над ним какой-то балдахин с круглой дырой посредине, через которую видно синее небо. Ему казалось, что это все во сне. Рене с изумлением смотрел и ничего не мог сообразить. И вдруг, как толчком, все воскресло в памяти: и отъезд, и оркестр, и порыв урагана, и эта последняя ужасная минута, когда он оттолкнул корзину. Он поднялся на ноги и огляделся. Ему показалось, что он неподвижно висит в воздухе, как будто чудом держится на тугих веревках под этим огромным зонтиком. Это было совершенно новое чувство – чувство полного одиночества в светлом пространстве. Прежний страх пропал. Он поглядел вниз. Серо-желтая равнина расстилалась внизу и только у горизонта с востока кончалась синей полосой моря. Ему казалось, что снизу дул легкий ветерок, но не морозный ветер высоты, а теплый, как живое дыхание земли.

Рене нашел в кармане бумажку и бросил ее за борт – бумажка полетела вверх.

«Я опускаюсь так, что обгоняю бумагу», – решил Рене и стал внимательно разглядывать землю.

Парашют быстро приближался к земле и в то же время несся к востоку. Рене охватило вдруг такое радостное чувство, что захотелось петь, кричать. Он крикнул – и ему показалось, что это не его голос, так вышло слабо. Он крикнул что есть мочи, и опять звук получился глухой, как издали. Рене знал из книг, что в пустом воздухе теряется звук, но не ожидал, что так сильно. Он теперь был уверен, что будет на земле, и совершенно успокоился. Старательно разглядывал серо-желтую площадь, что была под ним, и вдруг заметил черные точки. «Да это пальмы», – вдруг сообразил он и понял, на какой он высоте.

Тошный холодок страха прошел по телу, но на секунду. Рене снова оправился, сел на дно корзины.

«Все равно, – думал он, – могу сидеть, ничего не надо делать, и наверняка буду на земле». Но он не мог долго усидеть. Он вскакивал, смотрел, скоро ли, и снова садился на дно. Он отыскивал папиросы и закурил. Земля была уже так близко, что Рене различал и группы пальм и ясно видел, что в пустыне спокойно, и песок не поднимает ветром. Он окончательно уверился в благополучном спуске. Им овладело радостное чувство ожидания, как будто он после долгих странствий подъезжал в спокойном вагоне к родному городу.

А внизу под пальмами сидели черные жители этой пустыни, с их ужасными копьями с крючками под острием, чтоб нельзя было вытащить из раны. Они своими зоркими глазами давно уже заметили парашют и в один голос решили, что это какой-то бог летит с неба. Он, наверно, живет под этой круглой палаткой и летает по воздуху. Но тут как раз Рене снова выпянул из корзины, и сомалийцы ясно увидели белого человека. Палатка пролетела над пальмами и спустилась невдалеке. Дикари спрятались за пальмы и наблюдали. Белый человек выскочил из корзинки и прямо направился к пальмам. Дикари – их было около дюжины – схватились за оружие. Но вождь остановил их знаком. Он видел, что у белого нет оружия: он шел и что-то напевал. Когда он был в десяти шагах от засады, вождь выступил из-за деревьев. Рене так радостно улыбался, так приветливо болтал и протягивал руки, что поколебал недоверие дикаря. Дикарь понял только, что этот белый говорит так же, как господа в Джибути: если его убить, то хлопот не оберешься. А Рене все болтал и болтал. Дикари вышли из засады и обступили его. Из их слов Рене уловил только одно: «Джибути». Они знают Джибути, здесь недалеко Джибути.

– Джибути, Джибути! – повторял Рене.

Сомалийцы показывали на восток. Скоро они поняли, что белый не знает дороги и просит проводить. Вождь с двумя провожатыми повел Рене туда, где он видел с высоты полосу моря. Рене оглянулся: дикари столпились около парашюта, галдели и ворошили брезент. Рене едва поспевал за высокими голыми людьми, которые легко шагали по песку. Рене обливался потом, спотыкался, но все-таки, не умолкая, болтал. Они шли к морю, к Индийскому океану, – это Рене



теперь знал. А вот и белые дома вдали. Двое провожатых передали оружие третьему и теперь только вдвоем сопровождали Рене. Они знаками объяснили Рене, что с оружием нельзя входить в город. Теперь Рене дошел бы один, но дикари надеялись получить награду и не оставляли его. Они уже были совсем близко, когда сомалийцы вдруг остановились и что-то стали кричать на своем противном гортанном скрипучем языке. Они показывали, что они голы, дергали Рене за платье и показывали в сторону города. При этом делали страшные рожи. Рене наконец понял, – ему объясняли, что нельзя голыми являться в город. Рене был рад скинуть лишнюю одежду, он и так давно хотел бросить тужурку по дороге. Он снял с себя белье и отдал спутникам. Пришлось самому натягивать одежду на дикарей. Рубаха не доходила вождю до пояса и трещала при малейшем движении.

Главарь очень выразительно намекал на золотые часы Рене. Но счастливый человек всегда щедр, и Рене с радостью отдал их дикарю. Отдал и перочинный ножик, и гребенку, подарил портмоне с двумя франками.

Рене видел раскинувшийся по берегу городок, над которым господствовал белый дом с башенкой и французским флагом на ней. Они вступили в предместье. Мазаные глинобитные лачуги, без окон, с отверстием для входа, какие-то норы, возле которых копошились женщины в лохмотьях. Они все оборачивались и что-то кричали спутникам Рене. Голые ребята ползали по пыльной улице. Сонные, понурые старики сидели тут же в тени этих берлог. Но скоро они вступили в город, где ходили белые люди в пробковых шлемах и в белых костюмах. Отряды черных солдат маршировали с ружьями по улице, они казались еще черней от белых купальных штанишек и белых курток, что были на них надеты.

Глаз Рене никак не мог связать их воедино: то ему казалось, что одни белые штанишки маршируют в воздухе, то он видел одни черные ноги и черные головы, которые двигались отдельно. Его радовали дома, построенные на манер европейских дач, и он слышал французскую речь. Рене шел по мостовой, и прохожие останавливались и оглядывались на эту группу. Какой-то господин подбежал к нему и спросил:

– Мосье Рене? Не так ли?

Рене был поражен и старался припомнить, где видел он этого человека.

– Вы с дирижабля, правда? – продолжал тот спрашивать. Их уже обступила толпа. Куда делись чернокожие, – Рене так и не узнал. Но его все называли по имени, говорили, что даже послан отряд для его розысков. Рене вели к дворцу наместника, к тому белому зданию, которое он издали еще заметил. Он узнал, что с дирижабля дали радио в Джибути, чтоб искали в пустыне его, Рене. Он покраснел и смутился:

«Они, может быть, сами в отчаянном положении и все-таки подумали обо мне, а я о них ни разу и не вспомнил от радости».

Вся радость сразу сошла с Рене, и он, уже встревоженный, вбежал в кабинет наместника.

Казалось, ураган дул не ветром, а ревел потоками воды с неба. Стало темно, улицы Парижа обратились в мутные потоки. Где-нибудь сорвет вывеску и, как листок бумаги, унесет в пространство. Улицы опустели, и только кое-где наобум пробирался против потока запоздавший автомобиль.

Но в сквере у подножия Эйфелевой башни толпилась кучка народа. Порывы урагана выворачивали дамские зонтики, рвали мокрую одежду. Эйфелева башня – это железный великан; он упруго выгибался, он уперся своими решетчатыми ногами в мощный фундамент и сопротивлялся урагану. Ветер выл в железных переплетах этажей, и вся башня гудела. Она держала антенны беспроволочного телеграфа – это ухо, которое услышит голос из далекой Америки, уловит мольбу гибнущего в океане судна и затерянного в бесконечном пространстве дирижабля.

И на полмира может крикнуть Эйфелева башня: без промедления, мгновенно электрическая волна донесет ее голос и на берега Амазонки, и в Ледовитый океан, и в пустыню Сахары; и маленькая походная станция услышит ее мощный голос.

В темном воздухе фосфорическим светом вспыхивали линии антенн.

А толпившиеся у станции телеграфа люди с нетерпением ждали новых известий с дирижабля. Тут дежурили корреспонденты газет, родственники воздухоплателей, просто любопытные. А под землей,

где была скрыта станция, шла своя работа, и депеши со всех концов мира высокие антенны ловили и передавали, – сейчас это был вопль о помощи с Атлантического океана, стоны гибнущих в Средиземном море судов.

Но тех, кто стоял под проливным дождем у станции, интересовала только судьба дирижабля 126Л.

Неподалеку от башни кафе было битком набито мокрыми посетителями. И все-таки хлопали двери, и входили новые и новые. Все спорили, кричали, все были так возбуждены, что незнакомые люди говорили между собой как приятели.

– Мосье! – кричал только что вошедший, с которого ручьями текла вода. – Слушайте последнее известие: корабль поврежден, из него выходит газ, они спускаются. Телеграмму подхватила Аденская станция и передала сюда!

Все на минуту стихли. Всем представилось, что среди урагана и тьмы корабль падает на неведомую землю. Но сейчас же снова загудели на все лады, обсуждая положение корабля.

– Сама мадам Жамен на станции! – кричал кто-то.

– Ура! – закричал кто-то. – Телеграмма из Джибути: Рене там.

– Ловкий малый! – кричал кто-то.

– Бросил товарищей! – перекричал все голоса какой-то военный.

И опять невообразимый гомон и крики. Так прошло полчаса, и взволнованное море голосов начало утихать: новых сведений никто не приносил. Вернувшийся с телеграфа человек, мокрый, как будто он только что переплыл Сену, влез на стул и прокричал:

– Граждане! Дирижабль обещал телеграфировать каждые десять минут; вот уже скоро час – никаких известий оттуда.

Все замолкли, и слышно стало, как потоки ливня шумели на дворе.

– Рене телеграфирует, – прибавил говоривший, – что там, в Джибути, тихо...

– Во дворце наместника, наверно, нет сквозняков! – зло сказал военный из своего угла. – Хорош гусь! Сидит и коньяк потягивает...

## Глава II

Уже вторые сутки дирижабль 126Л неся в воздухе. Команда сменяла вахты так же исправно, как исправно работали моторы. Выбившийся из сил Лантье напряженно соображал, как теперь быть. А подумать было о чем.

– Где мы? – приставал к нему Леруа.

– Над землей Сомали, – усталым голосом сказал Лантье.

Леруа требовал, чтоб Лантье точно указал их положение, и тащил инженера к карте.

– Что за возня в коридоре? – тревожно спросил вошедший профессор, – вся команда на ногах.

– Мы идем вниз, – сказал Лантье. – Газ выходит из корпуса корабля. Команда выбрасывает балласт.

– Черт возьми! Он может весь выйти! – кричал Леруа в тревоге.

– Может, – сказал Лантье, в его усталом голосе послышалась опять прежняя твердость. – Газ может выйти, но мы рассчитали так, что дирижабль не опустится на землю, пока мы не достигнем берегов Индийского океана.

– Вы телеграфировали о нашем положении? – беспокоился Леруа.

– Наш телеграф не достигает теперь ни одной радиостанции, и наших депеш никто не слышит. Но, простите, я устал, я усну часа на два.

– Ложитесь, ложитесь, голубчик! – засуетился профессор, подсовывая подушку.

Лантье повалился на диван и сейчас же заснул.

А капитан Жамен распорядился в коридоре выбрасыванием балласта; его выбрасывали порциями через определенные промежутки времени. Все пять моторов работали полной силой, и корабль неся со скоростью ста двадцати двух километров в час на юго-восток к берегам океана.

– До чего довели! – ворчал вслух Жамен.

– А в чем же дело, капитан? – сочувственно спросил механик.

– Да как же! – продолжал Жамен, нарочно повысив голос, чтоб все слышали. – Эти господа ученые ведут себя хозяевами и своими капризными требованиями довели...

– Что такое, капитан? – спросило несколько голосов.

Люди бросили работу, и вокруг Жамена в коридоре образовался тесный кружок.

– Да еще бы! – продолжал Жамен, чуть не крича. – То им давай выше, то ниже, – и все как будто для науки, для наблюдений, и вот попали под удары урагана, расшатало, помяло корпус. Хороши мы будем, если сядем в пустыне!

– Что ж мы будем делать? – спросил механик.

Веселое настроение команды сразу переменялось на мрачное и тревожное. Слышались голоса:

– Неужели их нельзя унять? Суются во все!

– Я связан приказом исполнять их требования, – с обиженным видом сказал Жамен. – Вы – другое дело...

– Товарищи! – крикнул из толпы матрос с мрачным, злым лицом. – Мы должны вывести капитана из дурацкого положения, а то все пропадем. Их надо запереть и поставить караул.

– Верно! Молодчина, Этьен! – кричала команда. – Чего там ждать!

Человек десять направились по коридору к спуску в носовую каюту. Но в это время показался в конце коридора Леруа.

– А, вот один уж есть, стой! – кричали матросы навстречу Леруа.

– Довольно хозяйничать! – заорал ему в лицо матрос, который вел остальных. – Вы арестованы!

И он схватил географа за плечо.

– Почему, что такое? – крикнул Леруа и отшвырнул руку матроса. – Это вздор какой-то!

Он быстро опядел возбужденные лица матросов: злая и торжествующая улыбка Жамена бросилась ему в глаза, Леруа мигом все сообразил.

– Это гадость! – орал Леруа, весь красный от негодования. – Этот негодяй вас надувает!

И он указал на капитана Жамена.

– Как вы смеете! – наступал Жамен.

Но Леруа не легко было унять. Его горячность была не того сорта, что скоро остывает.

– Я сейчас докажу всем, что вы...

– Убрать его! – заревел высокий матрос и ринулся на Леруа.

Все загудели, закричали, двое механиков удерживали матросов.

– Пусть скажет! – кричали из толпы.

– Долой! – требовали другие.

Леруа задыхался, он почти не понимал, какие слова он говорил, но все смотрели ему в глаза и видели, что этот человек не врет.

– Вот, вот, – говорил Леруа и рылся у себя в карманах, – вот письмо об урагане от станции еще до выезда, он и читать не хотел, он фанфаронил, пока было тихо, и свернулся как бумажка, когда налетел ураган.

Леруа размахивал в воздухе письмом.

– А вы зачем суетесь в управление? – зарычал высокий матрос.

– Если б не инженер Лантье, – с жаром продолжал Леруа, – то неизвестно, что было бы с нами.

Леруа говорил, а Жамен все поглядывал на карманные часы. Но это не были часы, это был карманный альтиметр, и он указывал Жамену, что до земли оставалось каких-нибудь пятьдесят метров. Он рад был бы теперь, если бы стукнул с ходу оземь корабль, чтоб доказать команде свою правоту и оплошность Лантье. Но команда почти вся была уже на стороне пассажиров, письмо станции перебегало из рук в руки, и Жамен слышал, как неодобрительный ропот становился все гуще и гуще.

– Пусть вами управляет профессор по детским болезням! – ворчливо сказал Жамен и ушел по коридору в свою каюту.

– Что же мы стоим? – вдруг сказал высокий матрос. – Выбрасывай за борт!

Леруа вспыхнул и хотел опять разразиться речью, но вдруг улыбнулся: команда дружно начала выбрасывать за борт балласт – аккумуляторы мешочки с песком, с написанным на каждом весом.

Географ пошел к своим.

– Вы так там орали, дорогой, – встретил его профессор, – что сюда слышно было; ведь человек устал, спит.

– Ничего, все в порядке, – сказал Леруа и прилип к окну. Небозримое море песку раскинулось до самого горизонта. А моторы гудели, и корабль несся вперед к берегу океана в надежде найти там приют и помощь.

– Я вас умоляю – каждые десять минут посылайте радио, может быть, они примут и ответят, – говорил Рене заместнику Джибути.

А тот ходил по ковру кабинета с сигарой в зубах и повторял:

– Я совершенно не знаю, чем помочь, я телеграфировал в Париж.

– Надо делать, делать что-нибудь. Уже полсуток нет известий, у них могли стать моторы, выйти газ, и они в песках ждут голодной смерти, – говорил с тоской Рене.

Наместник пожал плечами.

– Ну, вот вы скажите мне, что же именно я могу сделать?

И наместник остановился перед Рене.

Как ни странно, вопрос этот застал Рене врасплох.

Действительно, как помочь дирижаблю, который неизвестно где? Рене старался поскорее придумать, но ничего не мог. Он подошел к карте земли Сомали, которая висела на стене кабинета, и стал соображать. Ах, зачем он не спросил Лантье, куда они хотят лететь. Да до того ли тогда было. Он старался поставить себя в положение своих оставленных товарищей. Вдруг ему ясно стало, что непременно к морю, к берегу океана должен был стремиться дирижабль. Море – это единственная дорога, по которой им может прийти помощь.

– Ну, что? – говорил между тем наместник, видя, что Рене в затруднении. – Извольте, я вам предоставлю действовать от моего имени, распоряжайтесь мною, как вам...

Вдруг Рене отвернулся от карты и подошел к наместнику.

– Вот, вот что надо делать: на рейде пароход, французский пассажирский пароход! Надо послать его вдоль берега земли Сомали на юг.

– Зачем? – недоумевал наместник.

– Дирижабль будет у берега, если не сейчас уже там. Сейчас же, – это в вашей власти!

Рене было жаль товарищей. Он думал, что вот теперь, может быть, сейчас вот, они погибают в песках от жажды, от жары, в море песку, и ему во что бы то ни стало хотелось в решительный момент прийти на помощь товарищам.

Пароход «Пьеретт» получил приказ наместника немедленно идти вдоль берега на розыски пропавшего дирижабля. Рене не сходил с капитанского мостика. Он не выпускал из рук бинокля, хотя знал, что дирижабль можно встретить только гораздо южнее. Каждые полчаса посылали радио:

«Дирижабль 126Л.

Идем на помощь, телеграфируйте, где вы.  
Пароход „Пьеретт“. Рене».

Все пассажиры были возбуждены. Все говорили о неожиданном предприятии, в котором невольно им пришлось участвовать.

Настала тропическая ночь. Океанская зыбь вспыхивала на гребнях волн фосфорическим светом. Начинался уже муссон<sup>[44]</sup>, тянуло жарким дыханием с материка. Рене смотрел на звезды, и ему чудилось, что вот мелькнул прожектор дирижабля. Он бегал к телеграфисту, который с слуховыми наушниками на голове следил за всеми звуками, которые улавливала антенна телеграфа.

– Нет, мосье, ничего нет пока! – встречал он каждый раз Рене.

Рене казалось, что пароход еле плетется, хотя он шел 18 узлов. Рене бегал к механику, к кочегарам и умолял прибавить ходу. Между двумя мачтами парохода на обручах были протянуты пучком антенны телеграфа, и от них шел провод в каюту радио. Рене глядел на них, и ему казалось, что он вот-вот услышит голос старика Арно.

– Нет, мосье, пока ничего! – каждый раз отвечал телеграфист.

Дул довольно свежий юго-западный ветер, когда утром Рене вышел на палубу. Он не раздевался и почти не спал. Сменился телеграфист, и новый говорил тоже:

– Ничего пока, мосье, ничего!

Пассажиры тоже волновались, но, кажется, жалели Рене больше, чем пропавший дирижабль.

«С „Пьеретт“ доносят, – телеграфировал наместник в Париж, – что по всему побережью Сомали дирижабля 126Л не обнаружили».

Капитан «Пьеретт» убеждал Рене оставить это скитание вдоль Сомалийских берегов.

– Ведь мы израсходуем уголь, и я не могу рисковать доверившимися мне пассажирами и командой, как ваш Жамен. Вместо одной катастрофы будет две, – убеждал моряк.

Рене пришлось сдаться. Пароход повернул на северо-восток, взяв курс на Коломбо. Уже сильно засвежевший муссон дул в корму.

Рене был в отчаянии. Если бы было в его власти, он так и ходил бы тут у берегов Сомали, пока не сжег бы под котлами весь уголь, всю



мебель, все деревянные переборки на пароходе. А теперь не на что было надеяться.

Океан был почти спокоен, и только широкая волна, как вздох, проходила под пароходом. Было жарко. Пассажиры сидели под тентом на палубе. Это были веселые, богатые путешественники. Они разочаровались – интересное приключение не удалось, и им только лишнее время придется болтаться в пустом и скучном океане. Они с усмешкой и сожалением поглядывали на Рене. А он не находил себе места, стоял и смотрел через решетки вахты в кочегарку. Там по временам звякали о железные плиты лопаты, отворялись дверцы топков, и красным фантастическим светом обдавало полуголые фигуры кочегаров. Рене невыносимо было смотреть на беспечные лица туристов-пассажиров. Он вскочил на решетки, нашел спуск в кочегарку и по крутому железному трапу спустился вниз. Было жарко, как в аду. Рене удивился, как можно тут пробыть час, а не то что проработать четырехчасовую вахту. Кочегары были до пояса голые, и вокруг головы над бровями у каждого был повязан жгут из сетки, чтобы потом не заливало глаза.

«Венец мученика», – подумал Рене. Но мученики весело встретили ученого.

– Вот, – пошутили они, – если попадем в ад, не будем без работы: будем шевелить огонь под этими, что наверху, под тентом.

– Так и не нашли товарищей? – посочувствовал кто-то.

– А вот он знает, где они, – сказал молодой парень с лопатой и указал на пожилого высокого кочегара.

– Знаю, – уверенно сказал тот. – Мы все время про них толкуем. Очень просто.

Рене насторожился.

– Очень просто, – продолжал кочегар, – у них бензин кончился, понимаете?

В это время раздался стук лопаты по плитам. Кочегары, как один, раскрыли топки. Нестерпимым жаром ударило в тесное пространство кочегарки, но полуголые люди чуть не в самом огне брали уголь лопатами и с силой и необычайной ловкостью швыряли его в пасть топки.

Рене заглянул в огонь и от жара зажмурился. Но топки захлопнулись, и высокий кочегар, тяжело переводя дух, продолжал:

– Бензин кончился. Дураки они оставаться в песке там, – он указал лопатой на запад, – они пошли за ветром. Если харчи есть, так их донесет до Индии.

– Вы так думаете? – ухватился Рене за эту мысль.

– Верное слово: в море хоть на пароход могут нарваться, а в песках – какой дурак туда полетит? Э! Они еще раньше нас в Индии будут.

Все кочегары столпились около Рене и ждали, что скажет ученый человек. Высокий кочегар свернул папиросу, достал лопатой из топки уголек и закурил. Рене был так поражен, что стоял и глядел на этого потного, черного от угольной пыли человека: он не ожидал, что здесь, в этой преисподней, люди думали и решили дело.

– Совершенно верно, – прошептал Рене, – что же вы молчали?

– Нам-то чего же лезть? Там-то ведь, кажись, поумней нас люди думают.

– Но почему они не телеграфируют? – хватился Рене.

– Да ведь надо динамо-то<sup>[45]</sup> крутить – как же без бензина-то, дорогой товарищ! Давай уголь, не спи! – крикнул он китайцу-угольщику и стал подгрести уголь ближе к топке.

Рене выскочил на палубу. Как прохладно показалось ему здесь под тропическим солнцем; и он уж совсем другими глазами глянул теперь вниз через решетки в кочегарку.

Теперь Рене не мог удержаться, чтоб не глядеть вверх, хоть и знал, что это безнадежно. Пассажиры посмеивались, а один остряк уверял всех, что ученый сошел с ума.

А в Париже телеграмма наместника Джибути была напечатана во всех газетах: дирижабль пропал бесследно. Спрашивали авиаторов, ученых, – те пожимали плечами, хмурили лбы, иные отшучивались, но никто не мог ничего решить. Одна бойкая газетка даже обещала приз в 1000 франков тому, кто угадает, что случилось с 126Л. Эйфелева башня вопила во все концы, но никаких известий не получалось. Какой-то лавочник успел выпустить мыло «Жамен», но и это не решило дела. В авиационном клубе день и ночь толклись люди, курили, спорили до хрипоты, изучали карту земли Сомали, воздушные течения и не могли прийти к какому-либо выводу.

А «Пьеретт» несла Рене к острову Цейлону. Ее подгонял уже сильно засвежевший муссон. Пассажиров укачало, и они в своих

каютах проклинали дирижабль, из-за которого им придется болтаться лишних трое суток в океане. А в кочегарке день и ночь звякали лопаты, гребки, звонко стучали дверцы топок и выбрасывали красный свет. Рене заглядывал в кочегарку и думал: вот это те лошади, что тащат этот пароход. Он еле стоял на ногах от качки и понять не мог, как они могут там работать и еще думать о дирижабле.

Однажды утром Рене пробирался по палубе; он все поглядывал вверх, – это стало уже у него привычкой. Вдруг с мостика вахтенный штурман крикнул:

– Мосье Рене! На минуту!

Рене поднялся по трапу. Штурман передал ему бинокль.

– Вон посмотрите, – сказал он, – видите на горизонте точки – это Мальдивские острова, коралловые острова с пальмами.

– Благодарю вас, – сказал Рене, нехотя принимая бинокль.

– Это вас развлечет, быть может.

Рене не мог поймать в бинокль этих черных точек: пароход качало, и горизонт как пьяный шатался в стекле бинокля. Наконец Рене кое-как приспособился и стал разглядывать.

Пока это были неопределенные точки. Но по мере того как приближался пароход, эти точки росли, и Рене стал уже различать в сильный морской бинокль отдельные пальмы.

Вдруг он закричал так, что вахтенный штурман испугался: не припадок ли у расстроенного ученого.

– Они! Они! – орал Рене.

«Бедняга, ему мерещится», – подумал штурман и взял другой бинокль.

Его опытный глаз сразу рассмотрел блестящее тело дирижабля над одним из атоллов<sup>[46]</sup>.

– Вы правы, – сказал он взволнованным голосом.

Но Рене уже не было. Он бросился вниз поделиться радостью с кочегарами, с которыми успел уже совсем сдружиться.

Скоро весь пароход знал, что дирижабль найден, и кое-кто из пассажиров выполз на палубу.

В бухте атолла было совсем тихо, и Рене благополучно добрался на паровой шлюпке до берега.

Вся команда дирижабля радостно приветствовала Рене. Не было только Жамена.

Кочегар оказался прав: не хватило бензина, и пошли по ветру.

– Но почему же, почему вы не дали об этом телеграмму, когда видели, что кончается бензин? – допытывался Рене.

– Бензин кончился неожиданно, – объяснил Лантье. – Должно было оставаться еще четыре бака, но они оказались пустыми. Мы нашли в них дырки.

– Ну, не будем об этом говорить, дорогой Лантье, он, право, не такой злой, только очень раздражительный.

– Да кто, кто? – спрашивал Рене.

– Потом, потом, – останавливал Арно, – он очень раскаивается.

Рене догадался.

– А где же он? – спросил Рене.

– Капитан держится все время один и разговаривает только с дедушкой Арно, – объяснил один из механиков.

Рене хотелось узнать все-все, что случилось с дирижаблем после того, как он бросился на парашюте. Но с парохода торопили. Уже получили известия из Парижа, со всех сторон неслись телеграммы с поздравлениями, приветствиями. От штаба авиации пришел приказ: употребить все силы, чтобы доставить дирижабль на берег, если есть малейшая возможность.

Все обращались к Лантье.

– Да ведь держится он сейчас в воздухе, – сказал инженер, – будет держаться и тогда, когда мы привяжем его к носу парохода и пойдем прямо по ветру.

И Лантье отправился на пароход говорить с капитаном. Пришлось довольно долго провозиться, пока удалось перевезти дирижабль и укрепить его так, как советовал Лантье. Устроили так, что стальными веревками можно было с парохода менять наклон дирижабля, если изменится сила ветра. Наконец все было устроено, и пароход снялся. Дирижабль серебряным облаком летел впереди парохода.

Теперь в Париже газеты старались одна перед другой: спешили выпустить отдельными листками телеграммы профессора Арно.

– Раскрытие тайны сто двадцать шесть эл! – кричали мальчишки и рассовывали прохожим листки. – Сообщение профессора Арно! Все о дирижабле – пять сантимов, полное описание!

А в кают-компанию «Пьеретт» собрались все пассажиры, и профессор Арно не успевал отвечать на вопросы.

– Вы спрашиваете, почему мы не задержались на берегу?! Правда, мы получили вашу телеграмму, что вы нас ищете. Мы могли принимать телеграммы, но не могли посылать!

– Значит, вы все, все слышали?

– Да, мы похожи были на погибающего, у которого отнялся язык. Но мы получили вашу телеграмму, когда уже решили лететь по ветру и были далеко над океаном.

– Ах, это ужасно! – закричала какая-то дама. – Снизу вода, кругом воздух!..

– А посередине люди, сударыня, – продолжал дедушка Арно, – люди, которые потеряли весь балласт, весь бензин, газ, но не потеряли присутствия духа.

– И даже веселости, благодаря дедушке, – вставил Леруа.

– Ну, и как же, как же? – не терпелось пассажирам. – Вы все-таки падали?

– О, да ведь у нас хватило все-таки соображения. Мы мальчишками все пускали змейки, и мы решили заставить наш корабль лететь, как змей. Ветер сильный и ровный. Но к чему привязать веревку? В море? Вот мы сделали из досок щит, привязали груз снизу и бросили его на веревке в море. И не один, а много. Это была большая работа!

– Чтоб облегчить корабль? Зачем же делать щит? – спрашивали со всех сторон.

– Нет, нет, терпение, – говорил Арно, – щиты становились в воде отвесно, гребли воду и задерживали полет дирижабля, а дирижабль мы привязали косо, как змей, – вот как он сейчас летит перед пароходом, только вместо парохода были щиты.

– Все-таки это ужасно, – говорила дама, – я не могла бы...

Но она не знала, чего она не могла бы.

А на палубе приятель Рене – кочегар допрашивал матросов дирижабля:

– Ну, а как уж все выкинули, а он все в море падает, тогда что?

– А мы застропили корабль на манер змейка, ну, как колбасу летучую, привязали к плавучим якорям, – объяснили матросы дирижабля.

– Ну, а если бы сорвало? – спросил кочегар.

– Если бы, если бы! Ну, все каюты поломали бы, все выкинули бы, на одной доске остались бы... Да, было что выкинуть! Да вот капитана выкинули бы, Жамена!

Все рассмеялись и оглянулись, ища глазами Жамена.

– Не видать, прячется все, – сказал высокий матрос, – а то ведь так сказал нам, что мы всех ученых на ключ запереть хотели. А чудак дедушка! Там, на этих кораллах, такую Сорбонну<sup>[47]</sup> устроил, с ним не скучали. Про все рассказал.

– Как про все? – удивился кочегар.

– Теперь я все знаю, – уверенно сказал матрос, – и что коралл строят эти... червячки такие, и что жемчуг в ракушках на дне водится, и вот муссон...

Матрос запнулся.

– Да очень просто, – вмешался моторист с дирижабля, – в Азии сейчас жара, а в море прохладней, ну, и дует, как со двора в дверь... Ну, знаешь, по ногам тянет.

– Это ты врешь, – сказал кочегар.

– Идем к деду! – закипятился сразу моторист.

– Идем, идем! – тащил матрос.

Все втроем пошли искать старика-профессора.

А у Арно была уже опять своя аудитория в кают-компании, – теперь пришлось перенести лекции на палубу.

На четвертый день открылись индийские берега.

Когда наши воздухоплаватели садились на пароход, чтобы ехать домой, во Францию, Жамена не было с ними. Он так и остался в Индии и, говорят, теперь служит в какой-то английской конторе в Бомбее.

## Дяденька

Дело было давно – лет тридцать назад.

Подрос я, и пришло время меня на работу посылать.

Если в пекарню меня отдать, так мамка боялась, что там простуда: жара да сквозняки. В кузницу – четырнадцати лет – еще молодой говорят. А в типографию и слышать не хотела: все наборщики, говорит, пьяницы. И каждый день одни эти разговоры: куда да куда. Хоть обедать не садись. Как будто я в чем виноват!

Вот раз пришел жилец наш Онисим Андреевич и говорит, что довольно канитель эту тянуть. С самой весны, говорит, языком бьете, а толку никакого. А я его вот раз-два – и на место поставлю. «Хочешь, – говорит, – пароходы строить?»

Еще бы, кто не хочет! Пароходы-то!

Мамка опять: в воду там свалится, утонет, и еще что-то будет. А Онисим Андреевич был немного выпивши и заругался. Говорит, чтоб завтра утром к заводу приходил, у него там знакомый есть.

Всю ночь думал: вот пароходы строим; мачты сейчас ставить, трубу. Главное, думал, трубу – в ней вся сила. Вот чудак был!

Утром, чуть свет, – к заводу.

Там ходили в контору, туда-сюда; теперь-то я все знаю, а тогда страшно показалось. Двор большой, прямо поле целое, по нему все рельсы, рельсы, и ходят вагончики, а на них краны подъемные. Много их бегают. Подымет цепочкой груз и тащит. Я все на них смотрел и о рельсы спотыкался.

А дальше, у самой реки, чего-то нагорожено, высоко-высоко, все железным переплетом, как будто дом какой решетчатый. Это самый эллинг-то и есть, где пароходы строятся.

И оттуда такая трескотня, как будто все время пальба идет из пулеметов, и только слышно: дзяв! дзяв! – бахает чем-то по железу.

Пошли туда, а там леса поставлены, вот как дом в пять этажей строят. Леса эти около судна нагорожены. А судно из ржавых листов, толщенных, и листы эти к железным ребрам рабочие крепят. А по лесам на досках все мастеровые, на полках, как мухи. Мне сразу показалось, что все с пистолетами, только пистолеты на толстых

веревках. Теперь-то я знаю, что это воздушный молоток, и не на веревке, а это трубка к нему идет, и по ней сжатый воздух гонят от насоса. А в стволе воздухом работает самый молоток: мечется взад и вперед, и если к чему ствол приставить, так бьет шибко, дробно. А тогда мне показалось, что пистолеты.

По лесам сходни, переходы, напихано с яруса на ярус, а мы все выше, выше лезем; кругом так гудит, в уши бьет, прямо как тебе по голове кто барабанит. Перелезли на самое судно, на железную палубу. И все железо, железо кругом. И такой грохот, что я думал – не может быть, чтобы это целый день, это, должно, только сейчас так расшумелись. Нельзя этого стука выдержать. Потом оказалось, что все время так.

Подводят меня к железному столику, вроде тумбочки. Вижу, наверху уголь горит, а между ножками гармоникой мехи, и ручка сбоку. Мне этот, что привел меня, показывает на ручку – дергай, значит. Я хотел спросить, что потом делать, и голоса своего не слышу: кричу – и как немой.

Такой грохот, аж стонет железо.

Смотрю, тут двое мальчишек стоят и чего-то греют. Закопченные такие, черные. Толкают меня, чтоб я за ручку дергал. Я начал дергать, мехи заработали, уголь горит; они там что-то работают, а кругом такой гром, похоже, что не строят, а ломают со всей силы, и что вот-вот все завалится, и я сам не знаю, на чем стою и куда в случае чего бежать.

А сам качаю, качаю.

Вдруг один мальчишка меня щипцами в плечо. Я еще сильнее ручку дергать, а он опять щипцами – это надо было, чтоб я полегче, а то уголь вон с горна улетает, – этот столик горном называется. Потом мальчишки вытащили щипцами из огня заклепки – аж белые – и потащили куда-то. А я все стараюсь.

Какой-то дядя проходил – как толкнет меня в затылок: что-то показывает. Ничего не понять – грохот: звенит, бахает кругом. Я сильнее качать. Он сорвал с меня картуз. Я за картузом и пустил ручку. Он тогда показывает, чтоб потихоньку. Тут мальчишки снова толкают, тычут чем зря, а я ничего не понимаю. Даже слезы. Ну, это я больше от дыма – очень едкий. Прямо хоть брось. Так я до обеда мучился.



Вдруг все сразу замолкло, и тихо-тихо стало. Я даже испугался, не будет ли чего сейчас. А мальчишки мне кричат: «Через тебя пять заклепок перепалили!»

Я тут первый раз услышал, что у них голос есть. Все пошли вниз, и я за народом.

Мальчишки ко мне, кричат грубым голосом: «Ты заклепки не перепаливай, дяденьке скажем, клепальщику, он тебя научит. У нас раз – и готово». И показывают мне дяденьку. Здоровый, страшный такой мне показался, в бороде.

В столовой все клепальщики отдельно сидят и через стол орут, как с того берега. От этой работы они все на ухо туги, и гам такой стоит, как будто драка идет. А это просто обедают. И, раньше чем соседу сказать, в плечо его – раз! Смотрю, мой сидит, все лицо в гари, и ржа в бороде от железа. Глядит волком. Вынул бутылку, хотел пробку выбить, потом сразу трах горлышком об угол, отбил, выпил половину и соседу ткнул: пей!

А я поневоле около мальчишек держусь, один не найду дорогу на работу. Они говорят: «Идем, до гудка надо, чтоб горно развести». Дорогой они кричат: «У нас, знаешь, не в слесарной. У нас разговору нет. Один, – говорят, – тоже коники строил. Работали в самом дне, в клетке. Так клепальщик раз его по башке ручником – и готово. Так его там и бросили. А чего, – говорят, – на дурака смотреть!»

И все мальчишки курят и через каждое слово ругаются.

Когда я с работы домой пришел, мамка мне говорит, а я ничего не слышу, как будто от соседей: еле-еле.

Потом, как стал я дальше в завод ходить, сам стал заклепки греть. Это гвоздь такой, только толстый, и тупой, как обрубленный, и шляпка толстая.

Нагрею заклепку, несу в щипцах дяденьке, кину – она по железной палубе покатится, он ее подхватит щипцами и в дырку, что сквозь листы. Шляпку припрет колом железным, здоровым, а с другой стороны клепальщик сейчас ее, пока горячая, воздушным молотком, этим пистолетом, – трах, трах, тах, тах! – и сплющит; головку с той стороны сделает, и готово. Давай другую, и пошел. Так листы скрепляют.

Я и курить и ругаться выучился и тоже стал все срыву: трах, бах и долой. Дома мамка раз плакала. Я пришел с работы, она мне скорей

умыться, а вода здорово горячая была; я – хлоп! – таз перевернул. Сел за стол, как был: даешь борща!.. Дала. Ничего. И не гудела. А если что говорить станет, сейчас шапку – и за ворота, а то завалюсь спать.

Раз стал форточку отпирать – нейдет, разбухла, что ли? Я взял полено – раз! – и выставил. Онисим Андреевич заходил, посмотрел. «Клепальщик, – говорит, – натуральный». А я и рад.

Нет, верно, у нас разговор такой: ткнул, пихнул, ударил.

Не помню, с чего это пошло. Стал на меня вдруг дяденька гудеть. Все ему не так. На работе там разговору никакого не может быть, разве только пинком или тычком, а на дворе он орет: «Я тебе, такой-растакой, морду набью и за ворота! Ковыряешься, – говорит, – как жук в навозе. Пойду мастеру скажу, тебя враз с работы долой!» Каждый день у нас так.

А дальше все хуже; уж и видеть меня не может. Прямо зверем. Жена у него умерла. Я ее, что ли, убил? Чего ты меня-то ешь? И что я больше стараюсь, то хуже. То ему рано заклепку даешь – гонит, кулаком машет, то опоздал. Заел прямо.

А работали мы тогда в самом низу, в самом что ни на есть дне. Туда добраться, как под землю: все с палубы на палубу, все железо, все острое, угольники ребром торчат. Лезешь – темно, как в ящике. Вот с верхней палубы спускаешься по лесенке, а на второй палубе уже темно. И тут же сейчас люк один был такой, что если попадешь, так лететь десять сажень, и прямо на ребра железные. Он только одними рейками и был огорожен. Так, на деревянных стоечках, и рейки-то на живинку гвоздиками пришиты. Как спустишься в темноту, идешь и руку впереди держишь; нащупал рейку около самого этого люка проклятого и сейчас бери влево и иди уж по борту, тут не споткнешься. Так меня и дяденька учил ходить.



Так вот, работаем мы с ним в самом низу. Он опять меня шпыняет. Даю ему заклепку, он мне ее назад швыряет – значит, пережжено. Я другую – он опять. Да что это, думаю, зверем каким? Третью несу. Он поймал заклепку да за мной. А там внизу, что в коробке, дым от горна, как в трубе, все судно гудит, как палят в тебя со всех сторон. Я сам беситься от этого стуку стал. Я ему опять грею, он к горну пришел, надавал мне по шее и сам стал греть. Ух, обозлился я. Нет, верно, заклепки я правильно грел. Вот, думаю, это потому, что я сдачи ему дать не могу, он и разворачивается. И стал думать, что я ему сделаю, когда вырасту. Было б что под рукой, так, кажется, раз...

А в обед он опять мне кулаком грозит. Орет, глухая тетеря, на весь завод: «Сейчас к мастеру пойду, чтобы тут тобой и не воняло! У меня, – кричит, – знаешь: раз, и готово!»

После обеда мне вперед надо было идти, горно разводить. Я спустился в люк, во вторую палубу, руку вперед держу и иду. Нашупал рейку... и ничего, как будто и не думаю. Взял ее рукой и держу. Вдруг я ее – раз! – и готово. Ей-богу, она еле держалась. Оторвал рейку я, одним словом, и в сторону ее, прочь со стоек. Пусть теперь он пойдет, не найдет рейки – раз! – и готово. Да я так-то и не думал, а злился только. Стал в темноте, в сторонке, и жду. Вот уж гудок, пошла работа, все судно загудело.



Вижу, дяденька в просвете люка, что вверху, показался. Потом полез по лесенке, и больше не видно. Темно там, и не слышно ничего – так грохочет кругом. А я стою и жду, дух зашибло во мне. Сейчас... сейчас... И вдруг захотел крикнуть со всей силы: «Дяденька, дяденька, стой!» Да ведь не слышно, а подскочить не успею все равно, и ноги как примерзли. Я к лесенке наверх и побежал вон с судна. А потом думаю: а вдруг он и прошел, как-нибудь да и прошел? И побежал опять туда, где мы работали. Иду и говорю: «Дай бог, чтобы был, ну, дай, дай бог, чтоб был!» И боюсь идти, а ноги сами так и тащат.

Наши там, а дяденьки нет. И вот клепальщик показывает рукой: борода – значит, дяденька-то – где? Идет, что ли? Я головой помотал и прочь, и бежать, бежать! Думаю, лежит он теперь там, в трюме, разбитый, – не может быть, чтобы живой. А сам думаю: «Ведь могла же рейка сама упасть, еле ведь держалась. И без меня могла упасть».

Бегу, а сам вою. И бегу, где б народу меньше. И кому сказать? Полдвора перебежал и вижу – по рельсам кран ползет и листы несет, а на кране машинист. Я кричу ему. Не помню уж, что кричал. А он не слушает, смотрит, куда листы положить и чтоб не переехать кого. А я рядом бегу, падаю, и опять бегу, и кричу, и вою.

Он остановился, опустил листы и потом ко мне: «Чего там?» – говорит. Я вою – он ничего понять не может. Слез с крана. Я кричу: «Упал дяденька, – говорю, – с палубы в трюм, там лежит!»

Тогда он в машине что-то сделал. «Сейчас», – говорит. Тут уж я заревел и хотел бежать. А он кричит: «Стой! Как же найдем без тебя?» Побежал я за ним. Он там к мастеру; все смотрят. Мастер кого-то позвал, чтобы воздух застопорить.

Сразу все остановилось – тихо. Вот страшно стало! «Коли стонет или кричит, услышим». Свечку принесли. Я смотрю: как я рейку оторвал, так она там и лежит. «Тут», – говорю.

Все собрались кругом. Меня спрашивают: «Ты видел?»

А я весь трясусь, и зубы трясутся.

Тут веревку принесли и говорят: «Спуститься надо, сначала посмотреть, есть ли там он».

А я кричу, как лаю точно: «Я, я, меня спустите!»

Привязали меня, дали свечку. Я в этот пролет – как в гроб спускаюсь. Думаю: если он живой, буду его целовать, дяденьку милого моего, лишь бы хоть чуточку живой только. И смотрю все вниз, а что на веревке я, это я и забыл, и что высоко. Свечка мало светит. Я до самого дна дошел, и нет его, нет там дяденьки. Я стал кричать: «Дяденька, а дяденька!» Гудит в железе мой голос. Я на веревке походил туда-сюда – нет, и не видно, чтоб был.

Глянул вверх – чуть светлый круг видно, люк это проклятый. Стали меня подымать. А там уж свет электрический протянули, и полна палуба народу, и все на меня смотрят, а я ничего сказать не могу, как закаменел.

И вдруг смотрю: стоит среди людей мой дяденька, живой, совсем живой, и все на меня смотрят. Я как брошусь к нему и тут заорал со всего голоса; кричу: «Дяденька, миленький, родненький!» И заревел.



А он нагнулся, гладит меня и совсем добрый-добрый, гладит меня и орет хрипло: «Чего ты, шут с тобой? Да милый ты мой!» – и даже на руки поднял.

А это он тогда минул люк стороной и пошел за инструментом, там и завоzilся – оттого его тогда внизу с нашими и не было. Стали работать, хватились, а меня тоже нет. Потом, когда воздух стал, наши подождали-подождали, да и вылезли поглядеть, что случилось, чего это весь завод стоит. А тут я. Ну, вот и все.

## Метель

Мы с отцом на полу сидели. Отец чинил кадушку, а я держал. Клепки рассыпались, отец ругал меня, чертыхался: досадно ему, а у меня рук не хватает. Вдруг входит учительша Марья Петровна – свезти ее в Ульяновку: пять верст и дорога хорошая, катаная, – дело на святках было.

Я оглянулся, смотрю на Марью Петровну, а отец крикнул:

– Да держи ты! Рот разинул!

Мать говорит:

– Присядьте.

А Марья Петровна строго спрашивает:

– Вы мне прямо скажите: повезете или нет?

Отец в бороду говорит:

– Некому у нас везти! – И стал клепки ругать крепче прежнего.

Марья Петровна повернулась – и в двери. Мать накинула платок и, в чем была, за ней.

Я тоже подумал, что стыдно. Вся деревня знает, что мы новую пару прикупили, двух кобылок, и что санки у нас есть городские.

Мать вернулась сердитая.

– Иди, запрягай сейчас, живым духом! Я держать буду. – Оттолкнула меня и села у кадушки.

Вижу, отец молчит. Я вскочил и стал натягивать валенки. Живой рукой запряг. Торопился, а то вдруг отец передумает?

Запряг я новых кобылок в городские санки, сена навалил в ноги, сел на облучок бочком, форсисто, и заскрипел санками по улице прямо к школе.

День солнечный был, больно на снег глядеть – так блестит; парой еду, и на правой кобылке бубенчики звенят. Только кнутовищем в передок стукну – эх, как подымут вскачь! – молодые, держи только.

Чертом я подкатил к учительше под окно. Постучал в окно, кричу:

– Подано, Марья Петровна!

Сам около саней рукавицами хлопаю – рукавицы бабкины, и руки здоровые кажутся – как у большого.

Марья Петровна кричит в двери – из дверей пар, и она – как в облаке:

– Иди погрейся, – кричит, – пока мы оденемся.

– Ничего, – говорю, – мы так, нам в привычку.

Топаю около саней, шлею поправляю, посвистываю. А что? Пятнадцать лет, мужик уже скоро вполне.

Вот вышли они: Марья Петровна и Митька. Она своего Митьку завязала – глаз не видать. Весь в платках, в башлыке, чужая шуба до полу, еле идет, путается и дороги не видит. Учительша его за руку тянет. А ему тринадцатый год. Летом мы с ним играли, подрались; я ему, помню, накостьлял. Ему стыдно, что его такой тютей укутали, разгребает башлык варежкой, а я нарочно ему ноги в сено заправляю, прикрываю армяком.

– Так теплее будет.

Вскочил на облучок, ноги в сторону, обернулся:

– Трогать прикажете? – И зазвенел по дороге. Скрипят полозья – тугой снег, морозный.

Пять верст до Ульяновки мигом мы доехали. Марья Петровна Митьке все говорила:

– Да не болтай ты – надует, простудишься!

А я на кобыл покрикиваю.

В Ульяновке они у тамошней учительши гостили. А я к дядьке пошел.

Еще солнце не зашло, присылает за мной – едем.

Ульяновка, надо сказать, вся в ложбине. А кругом степь; на сто верст одни поля.

Дядька плянул в дверь и говорит:

– Вон, гляди, воронье под кручу попряталось, вон черное на самом снегу уместилось – гляди, кабы в степи-то не задуло. Уж ехать – так валяй всю, авось проскочишь.

– Ладно, – говорю, – пять верст. Счастливо! – И отмахнул шапкой.

Пока запрягал, пока учительша Митьку кутала, смотрю – сереть стало. Только я тронул, а дядька навстречу идет, полушубок в опашку.

– Не ехать бы, – говорит, – на ночь-то! Остались бы до утра.

А я стал кричать нарочно, чтобы учительша не услышала, что дядька говорит:

– Хорошо, я матке поклонюсь. Ладно! Спасибо!



И стегнул лошадей, чтобы скорее от него подальше.

Выбрались мы из низинки. Вот она, ровная степь, и дует поземка, по грудь лошадям метет снег. И на минуту подумалось мне: «Ай вернуться?» И сейчас как толкнул кто: мужик бы не струсил; вот оно, скажут, с мальчишкой-то ездить – завез, и ночуй. Пять верст всего. Я подхлестнул лошадей и крикнул весело:

– А ну, не спи! Шевелися!

Слушаю, как лошади топчут: дробно бьют, – не замело, значит, дороги. А уж глазом не видать, где дорога: метет низом, да и небо замутилось. Подхлестнул я лихо, а у самого в груди екнуло: не было б греха.

А тут Марья Петровна сзади говорит из платка:

– Может быть, вернемся, Колька? Ты смотри!

– Чего, – говорю, – там смотреть, пять верст всего. Вы сидите и не тревожьтесь. – И оправил ей армяк на коленях.

Тут как раз от Ульяновки в версте выселки, пять домов на дороге. И вот я туда, а тут сугроб. Намело горой. Я хотел свернуть, вижу – поздно.

Ворочать буду – дышло сломаю. И я погнал напролом. Сам соскочил, по пояс в снегу, ухаю на лошадей грубым голосом. Они станут, отдышатся и опять рвут вперед.

Летит снег; как в реке, барахтаются мои кобылки. Собака затыкала на мой крик. Баба выплянула – кацавейка на голове. Постояла – и в избу.

Гляжу: мужики идут не торопясь по снегу. Досадно мне стало. Выходит, что я сам не могу. Я толкал что есть мочи сани, нахлестывал лошадей, спешил стронуть до мужиков, но лошади стали. Мужики подошли.

– Стой, не гони, дурак, выпрягать надо.

И старик с ними. Хлибкий старичок. Выпрягли лошадей. Учительшу и Митьку на руках вынесли. Вывернули сами – вчетвером-то эка штука!

– Ночуй, – говорит, – здесь, метет в поле.

– Ладно, – говорю, – учительша пусть как знает, а я еду, некогда мне вожжаться. – И стал запрягать. Руки мерзнут, ремни мерзлые – колодой стоят. – Еду я – и край! – говорю.

А старик:

– Добром тебе говорю – смотри и помни: звал я тебя, не мой грех будет, коли что.

Я сел на козлы.

– Ну, что, – кричу, – едете? – И взял вожжи.

Марья Петровна села. Я тронул и оглянулся. Старик стоял среди дороги и крикнул мне:

– Вернись!

Я еле через ветер услышал. Без охоты лошади тронули. Ой, вернуться!

– А, черт! Пошла! – И ляпнул я кнутом по лошадям. Поскакали. Я оглянулся, и уже не видно ни домов, ни заборов – белой мутью заволочло сзади.

Я скакал напропалую вперед, и вот лошади стали уже мягко ступать, и я увидел, что загружает нога. Я придержал и с облучка ткнул кнутовищем в снег.

– Что? Что? – всполохнулась Марья Петровна. – Сбились? Этого я и боялась.

– Чего там бояться? Вот она, дорога.

А кнут до половины залез в снег.

– А ну, задремали! – И дернул вожжи. Лошади пошли осторожной рысцой.

И вот вижу я, что валит уж снег с неба, сверху, несет его ветер, кружит, как будто того и ждала метель, чтоб отъехал я от выселков. Вот, как назло, заманила и поймала. И сразу в меня холод вошел: пропали! Поймала и знает, где мы, и заметет, совсем насмерть заметет, и спешит, и воеет, и торопится...



– Что? Что? – кричит учительша.

А я уже не отвечаю: чего там что? Не видишь, мол, что? Заманила метель в ловушку. Да я сам же, дурак, скакал прямо сюда. Конiec теперь!

И вспомнился старичок, как он на дороге стоял, на ветру его мотало.

– Вернись!

И вдруг Митька взвыл, ревом взвыл, каким-то страшным голосом, не своим:

– Назад, назад! Ой, назад! Не хочу! Не надо! Назад! – И стал червем виться в своих намотках.

Мать его держит; он бьется, вырывается и ревет, ревет, как на кладбище, рвет на себе башлык.

Учительша ему:

– Митя! Митя! Да в самом же деле, да что же это? Митечка!

И кричит мне:

– Поворачивай, поворачивай!

У меня руки ходуном пошли. Я задергал вожжами. Ветер сечет, слезит плаза, забивает снегом. Мне от слез горько и от этого реву Митькиного, а она еще в голос молится. А куда его поворачивать? Всюду одно: снег и снег. Дыбом его подняло и метет и крутит до самого неба.

И вдруг учительша нагнулась ко мне, слышу, в самое ухо кричит:

– Пусти лошадей, пусть они сами вывезут, пусть они сами.

Я бросил вожжи. Лошади шагом пошли.

А учительша причитает:

– Лошадушки! Милые! Милые лошадушки! Да что же это? Господи!

Я отвернулся от ветра, глянул: они с Митькой от снега белые-белые, как из снега вылеплены. Посмотрел – и я такой же. И представилось мне, что занесет нас, заметет, и потом найдут нас троих замерзшими, так и сидим в санях съезжившись. И не дай бог я живой останусь – вот оно, заморозил, погубил. И опять старик причудился: «Звал я тебя, не мой грех, коли что». А теперь уж все равно никуда не приехать.

И вдруг я увидел, что наехали мы на колею. Глянул я – от наших саней, от подрезных, колея. И увидел я, что кружат лошади. Да куда они вывезут? Неделю они у нас, ездил батька раз всего в волость за карточками. Я вырвал клоч сена, свил жгутом, слез, втоптал в снег. И вот опять наехали мы на колею, и вот он, мой жгут, торчит, и замести не успело; тут мы на месте крутимся. И понял я вдруг, что можно сто верст в этой метели ехать, ехать, и никуда не приедешь, все равно как не стало на свете ничего, только снег да санки наши.

– Ну, что? Ну, что? – спрашивает учительша.

– Кружат, – говорю, – никуда не идут, не знают.

И она заплакала. И вот тут меня ударило: что я наделал! Погубил, погубил, как душегуб. И захотелось слезть и бежать, бежать, пусть я замерзну, пусть заметет с головой, черт со мной совсем!

И вдруг Марья Петровна говорит:

– Ничего, мы тут ночевать будем. Авось как-нибудь. Уж вместе, коли что...

И спокойно так говорит. И вот тут как что в меня вошло. Остановил я лошадей. Слез.

– Полезайте, – говорю, – вы, Марья Петровна, с Митькой вниз. Я вас укрою. Полезайте, дело говорю. – И стал сено разгребать. Как будто и не я стал, все твердо так у меня пошло.



Смотрю, она слушает, лезет и Митьку туда упрятала. Скорчились они там. Я их сеном, армяком подоткнул кругом, и сейчас же снегом замело их сверху, только я знаю, что они там и тепло им, как будто дети мои, а я им отец. И как будто в ум я пришел. Дует ветер мне в ухо, перетянул я шапку на сторону и вспомнил: ведь в левое ухо мне дуло, как я из выселков ехал. Дуть ему теперь в правое, и выеду я назад; не больше версты я отъехал, не может быть, чтобы больше; здесь они должны, заборы эти, быть. Я погнал лошадей и пошел рядом. Иду правым ухом к ветру. Слышу, кричит что-то Марья Петровна из саней, еле слышать, как за версту голос. Я подошел:

– Вам чего? Подоткнуть?

– Не отходи от саней, Коленька, – говорит, – не отходи, милый, потом залезешь, погреешься. Гукай на лошадей, чтобы я слышала.

– Ладно, – говорю, – не беспокойтесь.

«Ничего, – думаю, – живые там у меня».

Вижу, лошади стали: по самое брюхо в снегу. Я пошел вперед.

Сам все на сани оглядываюсь – не потерять бы. Лошади головы подняли, глядят на меня бочком, присматриваются. Вижу, там снегу больше да больше. Я тихонько стал сворачивать по ветру. Думаю: сугроб это, и я объеду. И только я снова на выселки сверну – опять намет. И вижу: не пробиться к выселкам. А если влево за ветром ехать, то должна быть Емельянка, и туда семь верст. И вот пошел я за ветром и вижу: меньше снегу стало, – это мы на хребтину выбрались – сдуло ветром снег.

А я все так: пройду вперед и вернусь к лошадям. Веду под уздцы. Пройду, сколько мне сани видны, и опять к лошадям, веду их. А как иду рядом с лошадью, она на меня теплом дышит, отдувается. И уж опять нельзя идти по ветру – снегу наметы впереди; прошел я – и по грудь мне. Только я уж знаю, что мы хребтиной идем, а вот тут овраг, а через овраг Емельянка. Лошадь мне через плечо голову положила и так держит, не пускает. Я все в уме говорю: «Тут, тут Емельянка» – и нарочно себе кнутом показываю, – чтобы вернее было, что тут.

Иду я рядом с лошадью, и вдруг мне показалось, что мы уже век идем, и нигде мы, и никакой Емельянки нет, и совсем мы не там, и что крутим, неведомо где. А тут Марья Петровна высунулась.

– Где, где ты, Коля, Коленька? Что тебя не слышать? Голос подавай! Иди погрейся, я побуду.

– Что? Что? – кричу я. – Сидите, ничего мне.

А она машет чем-то.

– Надень, надень башлык, Николай!

Мне даже и не показалось чудно тогда, что она меня Николаем назвала. Это с Митьки башлык.

И опять ударило меня: «Ведь не доедем до Емельянки! Погубитель я ваш!»

Я не хотел башлыка брать, мне надо первому замерзнуть. Пусть я замерзну, а их живыми найдут.

А она кричит:

– Бери, а то брошу!

И вижу, что бросит.

Я взял, обмотался. Отдам, как замерзать буду. И решил повернуть на Емельянку, попробовать. Теперь она уж чуть сзади должна быть. Сунулся и залез в снег, как в воду. Вдруг стало мне холодно, всего трясти стало, прямо бить меня стало, не могу ничего; думаю, раздергает меня по клочкам этой тряской. Вот, думаю, как оно замерзают. И кто знал, что так мне пропасть придется? И очень так просто, и хоть просто, все равно назад ходу нет. Я пошел в другой бок. Все на санки оглядываюсь, а лошади на меня смотрят. Вижу, меньше тут снегу; стал ногой пробовать. И вдруг пошла, пошла нога ниже... и весь я провалился, и лечу, ссовываюсь вглубь – и тьма. И я уже стою на чем-то, и тихо-тихо, только чуть слышно, как шуршит метель над головой. Как в могилу попал.

Я пощупал – узко и острый камень вокруг. И понял, что я в колодец провалился. Роют у нас люди колодцы в степи по зароку. Узкие, как труба, и кругом камнем выкладывают, чтобы не завалились.

Меня все трясло, все разрывало холодом, и я решил, что все пропало, и пусть я здесь замерзну, пусть меня снегом завалит. Заплачу и помру тут, а они как-нибудь, может, и доживут до утра.

Скорчился и сижу. Не знаю, сколько я сидел так. И перестало меня бить холодом, стало тепло мне в яме... И вдруг хватился я! Так и привиделось, как они там в санях, и заметет их снегом – и лошадей и санки, и там Митька и Марья Петровна. Вылезти, вылезти! И стал я карабкаться по камням вверх, ноги в распор, руками скребусь, как таракан. Вылез с последним духом и лег спиной на снег. Воет метель, пеной снег летит.

Я вскочил, и ничего нет – нет саней. Я пробежал – нет и нет. Потерял, и теперь все пропало, и я один, и лепит, бьет снегом. Злей еще метель взмылась, за два шага не видать.

Я стал орать всем голосом, без перерыву; стою в снегу по колено и все ору:

– Гей! Го! Ага! – Выкричу весь голос и лягу на снег, пусть завалит и – конец.

Только перевел дух и тут над самым ухом слышу:

– Ау, Николай!

Я прямо затрясся: чудится это мне... И я пуще прежнего с перепугу заорал:

– Го-го!

И тут увидел: сани, лошади стоят, снегом облеплены, и Марья Петровна, стоит белая, мутная, и треплет ей подол ветром. Я сразу опомнился.

– Полезайте, – говорю, – едем.

– Не уходи ты, – кричит, – не надо! Лезь в сани как-нибудь. – И сама, вижу, еле стоит на ветру.

– Залезайте, едем. Я знаю, близко мы.

Она стоит.

– Полезай, – говорю я, – там и Митьке теплей будет, а я в ходу, я не замерзну. – И толкаю ее в сани.

Пошла. Я опять тронул. И стало мне казаться, что верно близко и вот сейчас, сейчас приедем куда-нибудь. Гляжу в метель и вижу: колокольни высокие вот тут, сейчас, сквозь снег, перед нами, высокие, белые. Все церкви, церкви, и звон будто слышу, и вдруг вижу, впереди далеко человек идет. И башлык остряком торчит.

Я стал кричать:

– Дядька! Дядька! Гей, дядька!

Марья Петровна из саней высунулась.

– Дядька! – Я остановил лошадей и к нему навстречу. А это тут в двух шагах столбик на меже, и остро сверху затесан. А он мне далеко показался.

Я позвал лошадей, и они пошли ко мне, как собаки.

Стал я у этого столба, и чего-то мне показалось, будто я куда приехал. Прислонился к лошади, и слышно мне, как она мелкой дрожью бьется. Я пошел, погладил ей морду и надумал: дам сена. Вырвал из саней клочок и стал с рук совать лошадям. Они протянулись вперед, и я увидел, как дрожат ноги у молодой: устала. Выставит ножку вперед, и трясется у ней в коленке. И я все сую, сую им сено; набрал в полу, держу, чтобы ветром не рвало. Кончится у них сила, и тогда все пропало. Я их все кормил и гладил. Достал я два калача, что дядька дал. Они мерзлые, каменные. Я держу руками, а лошадь ухватит зубами и отламывает, и вижу – сердится, что я хлибко держу.

Постояли мы.

Оглянулся я на сани – замело их сбоку, и уж через верх снегом перекатывает.



Я только взял лошадь под уздцы – двинули обе дружно, и я не сказал ничего. Я иду между ними, держусь за дышло, и идем мы втроем. Тихонько идем. Я не гоню – пусть как могут, только бы шли. Иду и уж ничего не думаю, только знаю, что втроем: я да кобылки, слушаю, как отдуваются. Уж не оглядываюсь на сани и спросить боюсь.

И вдруг стена передо мной, чуть-чуть дышлом не вперлись. И враз стали мы все трое...

Обомлел я. Не чудится ли?

Ткнул кнутовищем:

– Забор!

Ударил валенком – забор, доски!

Как вспыхнуло что во мне.

Я к саням:

– Марья Петровна! Приехали!

– Куда?!

Митька из саней выкатился, запутался, стал на четырех, орет за матерью:

– Куда, куда?

– А черт его знает! Приехали!

## «С Новым годом!»

Был канун нового, 1907 года. В городской думе были расставлены столы. В парадном зале, в два ряда. А на столах – свечи в канделябрах, по шести штук в каждом. Канделябры бронзовые, сияют как золото. А вокруг икра, балыки, заливные осетры, окорока, индюшки. Все в завитках, в бумажных финтифлюшках. Вазы хрустальные. В вазах апельсины, яблоки, гора над горой. А бутылок – что солдат на параде. По краям тарелки, ножики, вилки, графинчики, рюмки. Блестит, горит – глаза режет. Официанты в белых перчатках. Бегают, мечутся – дух зашибло. Сейчас господа приедут! Ведь господа-то какие! Не простые – именитые. Цвет купечества. Виднейшие адвокаты. Сказывают: сам губернатор будет. С графиней, с губернаторшей.

А вот и собираются. Во фраках. Глаженные рубашки блестят как фарфоровые. А другие в мундирах пришли, воротники золотые, шпага при боку. А дамы-то! В ушах бриллианты, на пальцах колец – что перчатки. Вот уж и музыканты наверх пробираются. Трубы горят начищенные. Ух, как рывкнет медь – посуда подскочит.

Сейчас губернатор будет. Бегут, бегут – это его встречать. Городской голова<sup>[48]</sup> впереди всех покатил. Музыканты встречу ударили. Городской голова кланяется, улыбается. А что говорит – за музыкой не слышать. Его сиятельство по сторонам кивает: «Садитесь, господа. Прошу без чинов». На музыку платками замахали. Городской голова говорит, в руке бокал держит:

– Вступаем в новый, девятьсот седьмой, божьей помощью и стараниями вашего сиятельства! – и кланяется. – В новый год, год успокоения, мирного преуспевания, без стачек, без баррикад. Ваше сиятельство, без смуты вступаем в спокойное... – и все кланяется, кланяется. И бокалом губернатору, как поп кадиллом.

Дамы все на графа смотрят и прическами кивают. Пришептывают: «Ваше сиятельство! Ваше сиятельство!»

А голова:

– В ознаменование крепости державы российской и силы русского оружия со дна моря поднята, с затопленного дерзостного английского корабля, чугунная пушка десятифунтового калибра. И

пушка эта, ваше сиятельство, поставлена на пьедестал как памятник победы, близкой сердцу нашему. И в знак близости водружена в двадцати шагах от этого здания – городской думы.

Городской голова махнул бокалом к дверям, чтобы показать, где пушка, и плеснул вином губернаторше на голое плечо. Адъютант губернаторский подскочил с салфеткой и так усердно стал вытирать, что граф нахмурился на адъютанта и сказал сердито: «Довольно бы, пожалуй!»

Голова думал, что это ему, и на всем ходу прикусил язык. А граф кивнул голове: «Я вас слушаю!» Тут кто-то догадался махнуть музыкантам, те ударили туш, все господа встали, у всех бокалы с вином играют в руках. «Ура! Ура!» Зазвякали, зачокались.

А мы еще накануне знали, как это там соберутся, как там бутылки раскупоривать начнут и как начнут всей рабочей революции отходную петь. Да и верно, прижали – не повернись. По всем городам усиленная охрана, шпики, что воробьев. «Союз русского народа» резинами машет, хлещет этим резиновым дубьем всех, чья личность им не по нраву. Что ж, выходит: в щель забейся. Но мы сидели втроем на квартире, и всем тошно, а Сережка все бубнил:

– Теперь им лафа – во какими павлинами ходят: «Что? Кого? Царя?» Сейчас свисток из кармана, тебя за шиворот, и такое тебе «боже царя» начнут в участке всаживать, что аккурат на три месяца больницы. Сиди, брат, и не пикни. А они там, в городской думе, завтра – ого! Три фургона одних бутылок, говорят, туда пригнали.

Гришка говорит:

– А я пикну. Ой, пикну! Они только за рюмки, а я...

– А ты залазь под койку и оттуда пикни! – И Сережка ткнул ногой под кровать. – Залазь хоть сейчас и пищи. Только малым ходом, а то сам испугаешься.

Гришка вскочил:

– Ой, охота пикнуть! Охота, товарищи, пришла, тьфу! Чтоб я пропал совсем.

Мы на него глядим: что он, сдурел? А его всего так и ломает, так и крутит винтом.

– Вот надумал, побей меня господь! – И сел на корточки, потом опять вскочил и к двери: засматривает, не слушает ли кто. Обезьяна! В

нем, в идоле, сажень без вершка, и тощий, как веревка. Мы с Сережкой засмеяться не успели, а он присел на пол между нами, за шею сгреб, и ну шептать. Такого нашептал, что мы с Сережкой по карманам всю мелочь вывернули: гони, ребята, пока лавки не закрыли! Через час чтоб здесь быть. За шапки – и в двери.

Через час мы опять вместе. Мы с Сережкой принесли по три фунта охотничьего пороху, марки «царский», Гриша – клею столярного, веревки сажен десять и шнурок. Вот где он этот шнурок достал? Говорит, у сапера. Это замечательный шнурок: если его подпалить с одного конца хотя бы сигаркой, то он неугасимо горит на какой ни есть погоде, и горит с полным ручательством: ровно аршин в минуту – как часы. Мы с Сережкой не поверили. Отмерили на пробу четверть аршина точнехонько, подпалили с конца и по часам, по маленькой стрелке, глядели. Секунда в секунду! Что ты скажешь!

И вот мы бросили курить, ссыпали все шесть фунтов этого пороху в газету длинной колбасой, обложили картонками, обвязали всю эту змею бечевками. И весело нам стало, «царский» – приговариваем. Гришка для смеха «боже, царя храни» затянул. Мы подтягиваем. Разварили клею столярного у хозяйки на керосинке – говорим, койку будем чинить. Она рада: «Вот дельные хлопцы», – говорит. А тут Гришка проткнул дырку в колбасе, потом обернул карандашик в бумажку и всадил в эту дырку карандаш до самого пороха. Кто его выучил, долговязого? И теперь ну мазать веревку в клею и эту колбасину укручивать клейкой веревкой. Да плотно и накрепко.

Мы все в клею перемазались; однако все идет как надо. Колбаса вышла хоть и толстая, однако Гриша все ее промеривал и говорит: «Толщина подходящая, и больше не мотать». Мы ее, мамочку, выровняли, укатали в газеты – вышла, что со станка, как точеная, полтора аршина длиной. Мы ее закатали под кровать – пусть сохнет.

Тут мы закурили и для виду стали по кровати постукивать – чиним, мол, чтобы хозяйка не была в сомнении. Гришка все под кровать заглядывает. Домой не хотел идти.

– Вы, – говорит, – ее возить еще начнете туда-сюда и все дело завалите.

А ночевать ему здесь как же? Дворник придет: кто посторонний ночует? По какой причине? Укрывается, значит. А Гришку с 1905 года

в полиции хорошо помнили. Да где такому спрятаться: в толпе торчит, будто на ящик встал.

Пришлось Грише уйти. На прощанье он колбасу погладил: «Сохни, мамочка ты моя!»

На другой день был канун нового года. На думе из газовых рожков горело ярко «боже, царя храни» сажеными буквами, а колбаса наша засохла, как каменная. А к думе кареты подъезжали и откатывали. Погода была тихая, и снежок ласковый, как вишневый цвет, падал нехотя с неба. А Гриша отмерил, семь раз отмерил четыре аршина чудесного шнура, вынул карандашик и заправил в дырку на его место кончик этого шнура и крепко бечевкой укрепил шнурок в колбасе. А полиция в белых перчатках у думы стоит и откозыривает каждой карете. А мы втроем идем в скверик, что возле думы, и Гриша под пальто несет колбасу, к груди прижимает. Он длинный, и на нем не видать. Похоже, просто человек поплотней кутается: пальтишко-то дрянненькое. Вот уж половина двенадцатого. Последняя карета отъехала. Успокоились околоточные и поверх белых перчаток варежки натянули. Гляди, и пусто перед думой стало. А вот и один всего околоточный остался. Вот и он заяб и ушел в думу, в сени, греться.

А у меня жестяночка с красной краской, а у Сережи – кисточка. Вот мы с Сережей к думе. Я сторожить остался, а Сережа – к пушке. Мигом влез на фундамент, уцепился за лафет. Вот уж вижу – там, малюет. Вот уже Гришка сажеными шагает через площадь, торчит столбом верстовым. На него просто посмотреть – так городской свистнет. Вот Сережка спрыгнул. А Гришка – ему пушка как раз под рост; дуло-то высоко, а ему как раз руками достать – ух! – и ушла колбаса в пушку, шнурочек только чудесный, как макаронина, висит из рта пушки.

Часы у нас по-думски поставлены в точности. Во, как раз четыре минуты осталось. Вижу, Гришка раздул папироску и припалил шнурочек. Теперь ходу, ребята! Гришки уже нет. Вмиг отшагал, верблюдов проклятый, не видит, что под самой пушкой, на скамеечке бульварной, сидит парочка. И парочка ничего не видит, конечно, тоже: им не до нас. Да и не видать впотьмах. Но ведь они со страху лопнут, как шнурочек-то кончится. И всего три минуты осталось. Мы с Сережкой вмиг, как сговорившись, за снежки, а тут и околоточный на крыльцо выставился. Я в Сережку снежком, он отбежал, стал против

скамейки. Я бац еще раз, да в спину скамейки. Снежок расшибся, барышне за шиворот попало. Кавалер вскочил. Сережка меня снежком да кавалеру по шапке: две минуты осталось, когда тут нюнить!

– Фу, нахалы какие!

А Сережа:

– Извините, я ниже целил.

А кавалер барышню под руку и быстрым шагом прочь, по бульварчику вниз. Мы с Сережкой бегом и все вроде в снежки играем. Вот он, Гришка, стоит в сквере. Остановились мы, ждем. Замерли. Сейчас шнурочек должен догореть. Там, в думе, сейчас бокалы поднимают за упокой революции. «Ура» кричат, сюда слышно.

Гришка, слышим, шепчет:

– Пикни, мамочка, пикни, родная моя!

Ничего. Тихо, все замерло. Ударил колокол в соборе. Гришка сорвался:

– Я попляжу в нее, что там.

Мы его за полы:

– Куда ты! С ума ты...

И тут как ахнет! Мы даже подскочили. Ну, знаете, и пикнуло. Тысячью хлопков застучало эхо.

Мы только видели, как белое густое кольцо выпрыгнуло из пушки и важно поплыло в воздухе. Секунду все молчало, пока отхлопало эхо. И тут как заверещали свистки! В думе двери захлопали. Вылетели околоточные, господа во фраках, все забегали по крыльцу, со свечками бегут, с канделябрами. Пристав с крыльца скатился, вот полицмейстер бежит, как был, без фуражки, салфетка на мундире. Кареты с перепугу рванули. Ух, какую-то понесли кони!

– Фиюррр! Держи! – Городовые бегут, свистят, все разом.

Кто-то кричит:

– Бомбу бросили, спасайтесь!

Мы бежим тоже, кричим:

– Что? Что случилось? Ради бога!

Все бегут к пушке. Полицмейстер кричит:

– Да не бойтесь: второй раз сама не выстрелит!

Наконец примолкли, расступились: шел губернатор, с ним голова. Какие-то во фраках несли канделябры со свечками.

– Осмотреть, осмотреть! – басил губернатор.

Губернаторский адъютант ловко влез на лафет.

– Внимательно осмотрите. Дать ему свет! – командовал губернатор.

Друг через друга карабкались чиновники с канделябрами, капали стеарином на спины.

– Ну, докладывайте оттуда, сейчас же! – кричал губернатор адъютанту.

– Тут надписи, ваше сиятельство, красным. Свежая краска. – Адъютант обтирал рукав.

– Вы там не прихорашивайтесь, не перед зеркалом! – крикнул губернатор. – Читайте! Кажется, грамотный. Громче, не слышно!

– Вот тут написано... – тонким голосом начал адъютант и смолк.

– Ну! – рявкнул губернатор. – Осипнуть изволили с перепуга. Герой!

– Здесь на-пи-са-но, – во весь голос кричал адъютант, – написано: «Ура! Ура! Ура! Да здрав-ству-ет... Российская... социал-демократическая... рабочая... пар-ти-я!!!»

## Пекарня

Как-то раз на пирушке у товарища, меня обидели, хозяин не заступился, я хлопнул дверью и вышел не попрощавшись.

Это было как раз недели через две после того, как ушли от нас красные и в город ввалились белые.

Дело было в слободке. Места я не знал и злыми шагами пошел наугад вдоль забора. Но забор кончился, и скользкая, мокрая дорога пошла под гору. Я очутился в овраге. Наверху, на той же стороне, мутными зубьями чернели лачуги. Я стал карабкаться вверх по липкой грязи, но пьяная лень одолела – я лег на мокрый откос и решил ждать до утра.

Я уже стал засыпать, как вдруг почувствовал, что на мою мокрую кепку хлынула волна не то песку, не то какого-то зерна. Я насторожился. Волна повторилась. Я схватил рукой: не зерно, не песок, а сухая земля. Я привстал и плюнул наверх: две человеческие фигуры маячили на краю оврага. Теперь я ясно увидел, как они вывернули мешок. Сухая земля снова докатилась до меня. Хмель соскочил с меня. Все Пинкертоны, которых я читал, вихрем закружились в голове. Я обрадовался, что не крикнул.

Я шепотом сказал себе:

– Федя, не зевай шанс, здесь тайна. Ты один, без помощников, откроешь ее.

Я взял горсть этой земли и сунул в карман. Шерлок Холмс, пожалуй, тоже не прозевал бы.

Наверху фигуры исчезли. Я встал на четвереньки и кошкой пополз наверх. Я осторожно огляделся. Передо мной был поломанный забор. Наверное, они ушли туда. Я боялся переступить: во дворе, наверное, собака. Я воровски обошел двор и оказался на улице. Направо я увидел пароконный фургон и трех человек около него. Яркий свет из отворенной двери освещал всю группу. Я прислушался: они говорили не по-русски, а на каком-то кавказском наречии. «Теперь осторожность и храбрость: надо пройти мимо них и заметить лица».



Пьяной походкой я прошел по мосткам, я был весь в грязи, и меня легко было принять за гуляку. Я поматывал головой. На фургоне я успел прочесть: «Пекарня Тер-Атунянц». Я осторожно мазнул глазами по лицам – так и есть, бородатые кавказские лица. Один высокий, кривой: левого глаза нет. В освещенную дверь я увидел внутренность обыкновенной булочной.

«Тьфу, кажется, я зря пинкертонил! Обычное дело: всегда по ночам разносят хлеб в булочные. Пожалуй, они не сыпали землю».

Я прошел еще десять шагов и пьяно прислонился к забору. Кавказцы замолкли.

Боком глаза я следил за ними из темноты. Вдруг высокий повернулся и пошел ко мне по мосткам. Он стал вплотную против меня, чиркнул спичку и поднес к моему лицу. Признаюсь, душа сползла у меня в пятки. Я, как мог, распустил губы и сопел носом.

– Кто такой? – сказал кавказец и опять чиркнул спичку.

Я приоткрыл глаза. Лицо его показалось мне страшным: будто дуло из кустов, глядел из-под брови его единственный глаз. Он что-то крикнул своим, и те двое затопали ко мне по мосткам.

– Ты здешний, слободский?

– Нет, – просопел я и помотал головой.

Но двое взяли меня за руки, а третий стал шарить по карманам. Он нащупал землю, захватил ее в горсть, что-то крикнул своим, и меня повели в булочную. На свету они рассматривали землю, а косою крепко держал меня за руку. Немилым глазом смотрели они на меня.

– Городской, говоришь? – сказал кривой. – Заблудился? Подвезем.

Вот мы въехали в город, замелькали уличные фонари. Из фургона я увидал собор. Вот Государственный банк, и часовой у фонаря. Вот свернули в переулок, и фургон стал. Меня под руки ввели в пекарню; крепко пахло свежим хлебом. Ранние покупатели толклись у прилавка. Мои провожатые весело гоготали. И вот я уже в задней комнате: голые лавки по стенам, деревянный стол, счетная книга и тусклая электрическая лампочка с потолка. Кроме тех двух, что меня привели, появилось еще двое. Кривой начал допрос:

– Зачем землю брал?

Я сказал, что взял землю спяна, наобум, и сейчас же стал говорить про себя. Сказал, что я дорожный мастер, что сейчас я без

места, что кавказцев люблю, потому что работал на Кавказе, делали тоннель.

– Это вам не хлеб печь! Это, знаете, с одной стороны гору копают, а с другой – им навстречу. Одни других не видят, а надо, чтобы сошлись.

Я уже развалился, размахивая руками, слюнил палец и чертил на столе.

– Гора каменная, работа трудная, а вдруг попадут мимо, не сойдется – миллионы пропали. Инженер ночей не спал. Вот пришло время, вбегает инженер, бледный, вот как эта стенка. Что, спрашивает, не слышно? Нет, говорим, не слышать. Ничего не сказал и убежал. Убежал и застрелился. А через полчаса мы через дырочку уже прикуривали у тех, что с той стороны. И весь тоннель сошелся, будто кто гору буравом просверлил. Это вам не калачи в печку сажать.

Я глядел на них, как они слушали. У всех глаза блестят, по коленкам себя стучают, повеселели. Вижу: моя взяла. Я поднялся.

– Так вот то-то, – говорю. – Дайте мне теперь закурить, и я пошел, а то, гляди, уж день на дворе.

Но кривой взял меня за руку и придавил к лавке.

– Ты сиди, никуда отсюда не пойдешь... Хочешь быть живым, месяц будешь у нас работать.

Я посмотрел на всех, все серьезно глядят.

– Бросьте, – говорю, – шутки шутить. Уж седьмой час, наверное.

Смотрю, один, маленький, против меня на лавке сидит и из-под полы кинжал показывает. Новенький, блестящий. То на меня плянет, то на кинжал. Я последний раз попробовал.

– Да вы что, в самом деле? – сказал я. – Это же...

И тут я заплакал. Они молчат. Я бросил плакать.

Тогда кривой стукнул ладошкой об стол, как камнем кинул.

– Плакать еще потом будешь. Слушай дело. – И тут он рассказал мне в чем дело.

Они сняли пекарню. Для вида пекут хлеб, а сами ведут подкоп наискосок под улицей в Государственный банк, в самую главную кладовую. Значит, роют тоннель. Ты, мол, тоннельный мастер, ты нам нужный человек, и вот мы тебе доставим все, что надо, веди нашу работу. Времени у нас осталось две недели. До того времени ты из

тоннеля не выйдешь, а если в кладовую тоннеля не попадишь, тогда в этом тоннеле тебя и закопаем.

Я спрашиваю:

– Живого?

А они смеются.

– Что ж, – говорят, – можно и живого, тебе от этого пользы мало будет. Понял? – спрашивают.

Я подумал: «Куда ж я это попал? Что за люди? Ну, Федя, влопался ты! Страшные это люди».

А они в полу открыли люк. Там у них в полу отделан ход и целая горенка с электрическим освещением. Хороший стол. Вижу, на нем два плана. Но мне уж было не до того. Голова у меня с похмелья гудела, как завод. Я искал глазами, где прилечь. Около стены было пригорожено что-то вроде нар. Я повалился на постель в надежде, что проснусь и все окажется смешной шуткой. Только кинжал все поблескивал в памяти и не давал покоя. Однако заснул я довольно скоро.

Когда я проснулся, двое кавказцев спорили за столом. Я смотрел на них прищуренными глазами. Пусть думают, что сплю. Один был молодой, с бритым подбородком. Другой был в бороде с проседью. Он поминутно снимал пенсне и стучал им по чертежу. Пенсне меня успокоило.

Они спорили во весь голос. Я сел на койке и крикнул. Оба сейчас же смолкли и обернулись ко мне. Седоватый сейчас же подскочил к койке и быстро заговорил:

– Кушать хочешь? Чай пить хочешь? Вина немножко хочешь? Курить хочешь? Скажи, чего хочешь.

Он очень ласково смотрел на меня. Молодой так и держал руку в волосах и черными глазами навывкате пристально меня разглядывал. Седоватый прошел в глубь комнаты – там чернел проход в рост человека, с метр в поперечнике.

– А как тут вас звать? – спросил я молодого.

– А зови как хочешь. Скажи как хочешь. Мы запомним.

Он совсем чисто говорил по-русски.

– Ну, зови его «Старичок», а меня – «Земляк».

Он засмеялся. Я глаза раскрыл с перепугу. Мне показалось, что во рту у него вдвое больше зубов, чем обычно бывает у людей. Будто весь рот зубами усажен. Белые и крепкие, как камень.

«Если такой укусит...» – подумал я, но не додумал.

Земляку, видно, не терпелось.

– Слушай, мастер. Иди сюда, – и он нетерпеливо хлопал рукой по плану. – Скажи, пожалуйста, – говорил он, – вот улица. Вот видишь: трамвай. Вот здесь, видишь: красным – это наш подкоп. Вот тут канализация. А вот тут какие-то кишки протянуты – должно быть, освещение.

– Постой, – сказал я. – Почему ты знаешь, что ваш ход идет так?

– Как почему? Компас. Вот север, – он показал на верх плана. – Вон видишь стрелку? Там начерчено, где север. Ты же знаешь, как на планах? Ты же мастер.

– Что ж, – сказал я, – вы прочертили прямую от пекарни до банка. По ней ведете подкоп. Направление держите по компасу. И думаете попасть как раз в кладовую, когда пройдете эти сто сорок саженей по плану. И думаете, как гвоздь вобьете?

– А что, нет? И вобьем, – сказал Земляк и со всей силой ударил кулаком в грудь. Хорошо еще, что в свою, а не в мою.

– Ух, какой ты умный! – Я прищурился на него и маленько головой поматывал. – Какой ты страшный!

Он еще больше выпучился, а потом вдруг заулыбался.

– Мастер, говори. А что, нет, не попадем?

– Какой ваш план? – стал кричать я. Я схватил со стола план и тряс ему перед носом. – Верста в дюйме. Ты мне покажи тут сажень, сажень ты мне покажи! Ну, какая она? Такая? Такая? – показывал я на ногте крошечки.

Земляк мой совсем обтек, глядел на меня – вот заплачет. И вдруг зашептал жалобно:

– Она очень маленький, сажень, совсем маленький... – Бедняга от волнения и русский язык забыл. – Ну, скажи, дорогой, как делать? Я могу понимать, я учился винодельческая школа.

– Эх ты! Школа! – сказал я. – Тут нужно сажень в дюйме.

– Вот сажень в дюйме. Есть сажень в дюйме. – Он схватил с койки свернутый в трубку план. Это был план здания Государственного банка, подробный, точный.

– Это банк! – кричал я. – Нужно улицу и город, а с этим планом мы попадем во двор. Да кто его знает, – может, прямо в караульное помещение, к солдатам. На этом плане ты не можешь указать сажени, а ошибка в один аршин может загубить все дело. Это – барахло, а не работа.

Сам не понимаю. Я орал, как в строительной конторе на работах. Как будто я не пленник, а инженер, и передо мной стоит прораб, который прошляпил дело.

– Верно, верно, – шептал Земляк. Он вдруг сорвался, бросился в черный проход и что-то кричал на своем языке.

– Остановить работы, – приказал я. Черт знает, что на меня нашло. Я уже говорил «мы», «нас». Как будто в самом деле попал на стройку.

– Он уже кричал остановить, – сказал Старичок и кивнул головой в проход.

Я сел на койку, взял котелок и стал важно, не спеша, есть. В это время в мою контору из прохода стали входить люди. Они были в земле, на коленках подушки – прикрученные веревкой мешки.

– Подожди, – сказал я.

Пришел и Земляк. Они стояли в проходе, разглядывали меня.

Я пошел в проход. Люди расступились и пропустили меня. Проход быстро понижался. Я зацеплял потолок головой. Вдали светили оставленные людьми фонари.

Скоро мне пришлось стать на четвереньки. Наконец мне попала под руку лопата, потом кирка. Вот свежескопаная земля. Ага, вот конец! Так, саженой пятьдесят накопано. Но что это за работа: нигде не подперто, каждую минуту земля могла обвалиться и засыпать работников. Но такое дело, что пожарных не вызовешь или аварийную команду.

Я пополз назад. Все выжидательно смотрели на меня. Я минуту молчал и хмурил брови. Меня злило, что так по-дурацки начато дело. Все молчали. Ждали.

– Вы копаете себе могилу, – сказал я наконец. – Нужно достать план водопроводных работ этого района. В городской управе, у Петра Афанасьевича Мышкина... Запомнил? – тыкал я Земляка.

Он нырнул рукой в волосы и крепко зажал их в кулак.

– Повтори, – сказал я.

– Петру Афанасьевичу Мышкину, – прошептал Земляк.

– Громче! – крикнул я.

Земляк повторил во весь голос.

– Чтобы к вечеру было!

Все переглянулись и оскалили зубы. Я спохватился: с разгону я не сообразил, что не знаю, который час.

– Сейчас девять вечера, – сказал Старичок.

Вышло, я чуть-чуть сорвался. Но я не сдал ходу.

– Ну, так к утру!

Я скорей отвернулся и стал разглядывать план Государственного банка. Трое землекопов ушли в проход. Старичок и Земляк поднялись вверх по лестнице.

Я остался один. И вдруг тоска налетела на меня. Черт возьми, они копают эту яму наобум Лазаря! К дьяволу в зубы! Достанут ли они точный план? И что по пути нам встретится? Попадем ли мы через две недели куда надо, если нарвемся по пути на каменный массив? Сейчас они меня слушают, а через две недели...

Я вспомнил кинжал и сказал вслух:

– Как барашка! – и внутри у меня замутило. То я старался глазами пронизать всю толщу земли от нас до банка, то вдруг ноги неудержимо просились к лестнице, головой пробить этот люк на потолке и броситься вон, к двери, на волю. Пусть на дороге зарежут. Только бы на свету, а не в погребе. Я уж невольно двинулся к лесенке, как вдруг люк отворился и спустился кривой. Он уставился на меня и стал шепотом говорить:

– Ты смотри! Ты помни! Две недели – пасха. Ваш русский пасха. В банке не будем – тебя не будет. На волю дырку не копай. Вперед тебя наши будут. Ты последний идешь. Или в банк, или на тот свет дорогу копаешь.

Я решил осердиться:

– Что ты меня пугаешь? Я уже пуганый. Я вам дело говорю, а нет...

– А нет, мы другого человек поймаем. А тебе здесь могила будет.

На минуту я струсил. Так он страшно глядел на меня своим глазом. Я его так возненавидел, что мне стало все равно. Я отвернул голову, чтобы не глядеть, и со всего маху стукнул кулаком по столу.

– Да пошло оно все... – заорал я не своим голосом.

Но в это время из прохода высунулись землекопы. Я не знаю, что тут вышло в этой подземной клетушке. Помню, что была возня и я забился в угол на койку. Они что-то кричали по-кавказски и все навалились на кривого. Потом он быстро взбежал наверх. Землекопы мои запыхались. Потом один присел ко мне и сказал:

– Ты не серчай ему. Нервный человек. Ему штыком солдат глаз колот.

– Я-то чем виноват?

У землекопов в земляной нише была керосинка, харчи. Мы пили чай, и все опять было похоже на то, как будто я на работах, а они сезонщики. Я закурил и заснул с папирсой во рту. Меня разбудил Земляк. Он принес-таки план. Настоящий план района в крупном масштабе! Внизу была подпись городского архитектора и печать городской управы.

– Ловко! – сказал я.

Земляк улыбался.

– Хвалю, молодец! Где твой компас?

Земляк ушел в проход и тотчас принес мне новенькую астролябию на подрезанном штативе. Все чертежные приборы – циркули, линейки, транспортир – уже оказались на столе. Я принялся за дело.

Я проверил направление подкопа. Земляк ошибся: тоннель привел бы нас во двор банка, рядом с караульным помещением. Надо было взять на десять градусов левой. Земляк смотрел мне в руки, когда я работал.

– Ай, ай, ай! – закричал Земляк. – Значит, все пропало. Пятьдесят саженой пропало.

Землекопы высунулись из прохода на этот крик. Я все-таки дал им минуту погоревать.

– Исправить можно, – сказал я.

Я сам стальной рулеткой точно промерил длину подкопа. Я показал, как повернуть, чтобы на ломаной линии попасть точно в намеченную точку.

Я слышал, как над нами, там, в конце подкопа, грохотали трамваи. Земля мелко сыпалась с потолка. Звуки глухо доносились вниз, и теперь я знал, когда начинается день и когда наступает глухая ночь. Я распорядился, чтобы достали чурбанки и плахи и подперли тоннель.

– Точно вот по этому направлению и вести работу, – сказал я Земляку и показал на плане мою линию. – Каждую сажень подпирать. Выработка – в два часа сажень. Тогда у нас будет три дня в запасе. И к пасхе мы будем там.

Я звонко щелкнул ногтем по плану и в ту же минуту оглянулся на дверь. Из черного люка глядел на меня острый глаз.

Я лежал на койке. Старичок приносил мне есть, как больному. Я ел неохотно: недоедал, отказывался от вина. В «нашей» конторе стоял дым от моих папирос, и Земляк каждые два часа докладывал мне, сколько прокопали и какой грунт. Не знаю, сколько дней прошло, я не ходил в тоннель, а сюда не слышать было трамваев. Дни я считал по тому, сколько раз таскали мешки. Землю отвозили на слободку, в хлебном фургоне, и выбрасывали в тот овраг, где я застрял, возвращаясь с пирушки. Но скоро я перестал считать дни. Кривой не появлялся, и никто не шагал наверху по полу: может, он и ходил в чулках.

Но один раз Старичок сказал мне:

– Посмотри, дорогой, посмотри, мастер: там кишки пошли какие-то!

– Ну ладно.

Шахта была подперта по всем правилам. Я стал проверять направление от поворота, где шла линия уже по моему плану. Что за чертовщина! Сначала линия шла совершенно прямо, а потом она уклонялась все левей и левей. Земляк светил мне электрической лампой. Это по моему распоряжению весь вход осветили электричеством.

– Опять натворили чудес! – ворчал я. – Оставь вас только на три дня. Чего же это вы влево взяли? – обернулся я к Земляку.

Он внимательно смотрел на меня добрыми, овечьими глазами.

– Не брал лево. Честное слово, по компасу.

– Давай компас, – сказал я.

Я проверил направление. Земляк был прав. Ход шел по намеченному мной курсу.

– Что за притча?

Я вернулся обратно к тому месту, где начинался мой поворот.



Нет, и я прав. Отсюда ход идет только по курсу. Значит, компас поворачивает влево, потому что я по огням свечек наметил прямую, и ход нашего подкопа ясно уклонялся влево.

Я велел вынести вон из шахты весь железный инструмент. Совсем вон, в нашу контору: может быть, железо оттягивало магнитную стрелку и путало показания компаса? Где же компас показывает верно? В начале поворота или там, где наш путь закрутился влево? Сказать правду: в этот момент у меня внутри все похолодело.

Я еще три раза проверил мои наблюдения. Я стал раздражаться и покрикивал на землекопов, как будто они в чем-то виноваты.

Наконец я вылез из шахты, от волнения не берегся и набил себе темя о скрепи. Это меня еще больше обозлило. Я сел в конторе на койке и закурил. Мне противно было, что Земляк стоит там, у стола, и внимательно глядит на меня. Глядит на меня, как на больного.

– Чего уставился? – крикнул я. – Не видишь, какую кривулину гнем? Это тебе не винный подвал. Чего стоишь? Скажи, чтобы не копали.

Земляк ушел. Очень нерешительно ушел.

Я курил папиросу за папиросой. Вернулся Земляк. Он осторожно присел рядом со мной, тихонько положил руку на колени и сказал тихо, почтительно:

– Скажи, мастер, куда копать? Где компас верный?

– Ничего я не знаю, будь оно проклято! Копайте могилу и себе и мне. Ну вас!

Я лег на койку, поднял воротник и натянул на уши кепку. Однако я слышал, как Земляк поднялся по лестнице вверх, а через минуту стали спускаться вниз много, не один. Я не оглядывался. Черт с ними! Пусть как хотят. Я слышал, что много народу говорит в нашей конторе. Вдруг все замолкли. Я услышал, как Старичок позвал меня:

– Мастер, слышишь, мастер!

Я не оглядывался, не шевелился. Но меня за плечо повернули к свету, и я увидел, что это кривой.

Контора была полна людей. Двое были в муке, – видно, что сейчас из пекарни. Все смотрели на меня. Из прохода глядели землекопы.

– Чего не копаешь? – крикнул кривой. – В чем твое дело? Говори! – и он присунулся близко к моему лицу. И опять глаз, как

пистолетное дуло, вперся в меня. Я тихонько отпихнул кривого назад и сел на койку.

– Режьте меня сейчас, – сказал я, – хоть живым в землю зарывайте, а я не знаю, в чем дело. Компас кривит. Спросите его, коли не верите, – я кивнул на Земляка. Земляк мотнул утвердительно головой и что-то сказал по-своему.

Я ничего не понимал и взглядывал на Земляка. Но он не глядел на меня и разговаривал с кривым. Старик два раза бросил на меня взгляд, но лучше бы уж не глядел: ничего хорошего для меня во взгляде не было. Я опустил голову. Папироска дрожала у меня в руке. Я едва попал в нее спичкой. Но тут все опять замолчали, и Старичок сказал:

– Вставай, иди меряй. Это тебе будет последний раз!

Меня подняли с койки: сам я встать не мог. Меня пропихнули в тоннель. Я не мог стоять. Я встал на коленки и пополз. Я дополз до поворота. Тут стояла астролябия, а там, впереди горело два огонька, по которым я определял направление работ. Я лег пряжкой на землю. Было совсем тихо. Уж действительно, как в могиле. Люди молчали, – видеть, ждали. Трамваев не было слышно. Земля молчала.

«Значит, ночь, – подумал я, – трамваи не ходят».

Я повернулся лицом вверх и стал смотреть в потолок. Он был от меня в полутора метрах.

И вот эти самые кишки – провода, про которые говорил Старик, – их подвязали веревкой к перекладинам, как я велел.

«Развязать веревку и удавиться, – подумал я. – Низко, но я подожду коленки. Тогда режь покойника хоть на котлеты».

Я приподнялся: надо было переставить астролябию, чтобы не мешала. Понятно, что я не очень спешил. Я даже еще раз взглянул в астролябию. Что за дьявол? Компас не кривил и показывал точно. Я стоял на коленках, глядел через прорези на огоньки и не верил глазам.

Я перенес астролябию дальше. Компас уверенно и спокойно показывал то же самое. Я носился с астролябией по всему нашему ходу, компас отмечал все то же.

– Что ж ты, мерзавец, раньше-то? – это я уж застонал вслух. – Ведь меня резать хотят, а ты вон что?

Я обернулся и крикнул во всю плотку:

– Земляк! Иди проверяй! Компас на месте.

Я вошел в контору и нахально глянул кривому в глаз.

Минуты через три вернулся Земляк. Он был красен и чуть не плакал от счастья.

– Что ты там сделал, мастер? – закричал он.

– Ничего не сделал, – сказал я. – А ты дурак! – Я видел, как двинул бровями Земляк. – И я дурак! – прибавил я и ткнул себя пальцем в грудь.

Я сейчас же потребовал есть. Я ел и не мог наесться. Земляк несколько раз просил меня объяснить, что случилось с компасом, но я отвечал ему всякие глупости.

Я ни с кем не разговаривал, курил, сплевывал, распорядился. Я потребовал, чтобы работы вели в три смены, а землю пускай хоть едят – не мое дело.

Теперь все ходили копать. Приходил и кривой. Он каждый раз пронзительно взглядывал на меня, но я глядел на него, как на стенку, и отдувался дымом; я курил не переставая. Люк часто открывали, потому что в тоннеле становилось душно, люди вылезали оттуда потные, все в земле и скользкие, как черви. Работали до поту, раздевшись чуть ли не донага.

Каждые шесть часов я ходил проверять длину. Остальное время я жрал, курил и валялся на койке. Я чувствовал, что я обрюзг, отяжелел. Щеки обросли щетиной, и тупая сонливость овладела мной. Всякое волнение на время покинуло меня, как будто действительно копали ямину для винного погреба. Наконец мне сказали, что осталось три дня.

– Осталось три сажени, – сказал я и сплюнул через зубы.

За день до срока, – это, значит, был канун пасхи, – я сказал: «Стоп»!

Я знал точность моих измерений. Больше чем на полсажени я ошибиться не мог. По моим расчетам, мы подкопались под самую середину кладовой банка, а кладовая была три сажени в ширину, восемь сажен в длину. В какую бы сторону я ни ошибся, мы выйдем наверх обязательно внутри кладовой.

Но если мои расчеты неверны? Если планы, которые были у меня в руках, сняты неточно? Если мы действительно попадем в караульное помещение? На секунду я оледенел от этой мысли, но даю слово: на одну секунду, а потом мне становилось опять все равно.

Я сам забил кол в том месте, откуда мы должны рыть яму вверх. Теперь я сидел в конторе и каждые десять минут поглядывал на часы. Я знал, что был вечер, а в девять часов было назначено начать работу вверх. Чтобы скоротать время, я требовал то кофе, то еды.

В половине девятого Земляк снова взял рулетку и опять пошел промерять, не знаю, вероятно, в сотый раз. Потом он подошел ко мне, молча глядел на меня. Минуты с три, не больше.

Но тут открылся люк, и стали спускаться люди.

Теперь командовал кривой.

Впереди пошли три землекопа, за ними какой-то человек, которого я раньше не видел, потом Земляк, за ним Старичок, потом кривой велел идти мне.

Требовать иного порядка я не смел: обогнать Старичка и пойти впереди него в этом узком проходе было невозможно. Сердце мое колотилось от досады и злобы, но делать было нечего.

Наконец все остановились. Я слышал, как впереди начали работать землекопы. До верха должно было оставаться не больше полсажени. Я слышал, как лопата царапнула по цементному полу подвала. Вот осторожно садят ломом. Стуку было очень мало.

Цемент легко треснул. Большие куски передавали с рук на руки. Говорили шепотом. Старичок двинулся впереди меня. Я понял, что дыра пробита.

Но пройти в дыру мне не дал кривой. Он цепко схватил меня за ногу.

«Ага, вот оно!» – подумал я. Я ждал удара кинжалом и прикрыл руками шею.

– Стой здесь со мной, – шептал кривой. – Там пол работают.

Действительно, я слышал, как наверху ломали. Я закрыл глаза, хотя все равно было темно. Я скорчившись сидел на куче земли и слышал, как кто-то рядом со мной хрипло дышал. Сверху что-то говорили по-кавказски.

Куда попали? Может быть, в общий зал, а может быть, в глухое помещение архива? Я старался не думать, но это было так трудно. Мне хотелось крикнуть Земляку: «Ну как?» Но я боялся пошевелиться. Кривой все крепче жал мою ногу, он накрутил на кулак штанину и вертел ее все туже и туже.

Наверху все замолкло. Я не знал, куда они провалились. Мне казалось, что время запуталось в этой темноте, стало на месте как вкопанное. Да и не все ли равно! Я решил, что больше уж никогда не увижу свет. Наконец я услышал осторожные голоса.

Кривой совсем было насел на меня, но теперь он поднялся и тащил меня назад. Мы стали пятиться.

Я снова начал беспокоиться думать, что значит это отступление. Голоса впереди глухо гудели. Вдруг я увидел, как вдоль по тоннелю что-то пересовывали от одного к другому. Вот оно уже у Старичка в руках, вот он переталкивает мне, говорит:

– Давай дальше.

Я пропихнул кривому плотный сверток, кило с пятью весом. Потом пошло больше и больше.

Я понял, конечно: удача. Это деньги.

Я и Старичок стояли в пекарне.

– Ты знаешь, – сказал Старичок, – тебя искали. Твоя хозяйка в полиции говорила, что ты пропал. В газете было...

Я уже плохо понимал, что он говорил. Я слышал через закрытые двери волю. Я слышал, как гудят пасхальные колокола, как гомонят прохожие ночными гулкими голосами.

А Старичок все говорил, говорил...

Я только понял, что меня не пускают потому, что надо идти непременно с ними.

Наш пароход уходил в три часа ночи. Старичок, кривой и Земляк вместе со мной поместились в одной каюте. Где были остальные, я не знал.

Я не видал, куда они дели деньги. Насколько помню, их было мешков пять. На пароходе я не узнал кривого – не потому, что он переоделся, не потому, что он успел постричь и расчесать бороду. Нет, веселый и приветливый человек сидел против меня на пароходной койке. Он глядел на меня, как, пожалуй, мать смотрит на сына, когда лет десять его не видала. Он поминутно хлопал меня по колену, говорил что-то по-кавказски и приговаривал по-русски:

– Ты хорош человек. Очень милый человек. Совсем хороший мастер, – и опять по-своему и опять по-русски. – Завтра, – говорит, –

что хочешь, сегодня не надо.

Когда я выходил из каюты на минутку, на две, кривой выходил со мной, но я уже на него не сердился. Он хлопал меня по плечу, и мне было приятно, когда он говорил:

– Постой, милый мой, немножко. Завтра иди, куда хочешь.

Я уже засыпал, как вдруг в темноте кто-то толкнул меня в плечо. Из темноты я услышал, как Земляк говорил:

– Милай, пожалуйста, прошу, скажи, компас?

Ну, как я мог ему отказать, когда мне только и хотелось, что улыбаться! И я сказал:

– Астролябия стояла под этими кишками. Помнишь, под проводами. Это трамвайные провода. Подземный кабель. Весь день до поздней ночи по ним идет ток, пока ходят трамваи. Этот ток и поворачивал магнитную стрелку, пока ходили вагоны. Случайно, когда вы собрались меня резать, – я даже улыбнулся, когда вспомнил про это, – было это в глухую ночь, когда молчат трамваи.

Сквозь сон я слышал, как наш пароход останавливался, как наверху топали по палубе. Я взглядывал в паровозное окошко, но там было мутно. Я заворачивался с головой в одеяло. Мне хотелось сделать себе подарок. Мне хотелось открыть глаза и сразу увидеть яркий дневной свет.

Так и вышло. Я проснулся – и солнце в каюте. Я так обрадовался, что погладил рукой на стене солнечные пятна. Но в каюте я оказался один. Товарищи исчезли.

На пароходе их не оказалось.

Под подушкой я нашел небольшую пачку денег и записку. Из записки я узнал, что деньги-то эти как раз те, что красные не успели с собой увезти из нашего города, – белые навалились и поставили в банке свой караул. А они копали, чтоб свое золото выручить.

Только тут я понял, кто они были.

На октябрьском вечере товарищ Н. в своих воспоминаниях, посвященных подпольной работе в тылу у белых, вскользь упомянул и об описанном случае с пекарней.

«Действительно, – рассказал товарищ Н., - с трудом налаженное дело увоза золота, которое не успели вывезти от белых, чуть не

сорвалось из-за какого-то полупьяного чудака, который задумал разыграть из себя сыщика. Нам ничего не оставалось, как взять с собой этого человека, и он неожиданно, несмотря на свою трусость и небольшие умственные способности, принес нам кое-какую пользу.

Мы ему представлялись какими-то страшными разбойниками; со страху ему казалось, что мы готовы его живьем в землю закопать.

По соображениям, вполне понятным, ему не открывали, кто мы такие.

В истории с подкопом товарищи проявили немалую выдержку. Легко себе представить, что всем нам грозило, если бы белые пронюхали про подкоп. Но подпольный ревком поручил нам выручить золото, и мы это дело выполнили».

## Утопленник

*И утопленник стучится  
Под окном и у ворот...*

*А.С. Пушкин*

Усталый, плыл я к нашей купальне в порту. Вдруг слышу, на пристани кричат; поглядел: разряженные дамы махали зонтиками, мужчины показывали в воду котелками, тросточками. А ну их, они пришли пароход встречать! Я хотел повернуться и поплыть на боку, но они взревели еще громче, тревожней. Я огляделся: вон из воды показались руки. Пропали. Вот голова – и опять нырнула в воду. И я разобрал, что кричат: «Тонет, тонет!» Откуда силы взялись! Я мигом подплыл.

Вот высунулось из воды лицо, и на меня плянули сумасшедшие глаза. Я поймал его руку. И в тот же миг он прижался ко мне, обвил ногами, впился ногтями в мою руку. Мы тихо пошли ко дну. И тут я, не помня себя, рванулся. Я не заметил тогда, что в кровь разодрал он мне руку: у меня и сейчас на руке его отметины. Я выскочил,дохнул. Но вот он тут и сейчас опять схватит меня. Я отскочил, подплыл сзади. Я схватил его за волосы и ткнул под воду. Он попытался выплыть, но я ткнул его снова. Он затих и медленно пошел ко дну. Тогда я поймал его за руку, легко поднял, повернул и толкнул его под мышки – он продвинулся вперед, весь обвисший, как мешок. Я толкал его рывками прямо к берегу. Я ждал, вот сейчас дадут шлюпку – и мы спасены. Но шлюпки не было... Я боялся, что у меня не хватит сил, и глянул на пристань.

Шикарная, праздничная публика стояла плотной стеной у края пристани. Они смотрели, как на цирковой номер. Махали мне и кричали: «Сюда! Скорей!» Теперь мне оставалось саженой десять. Я задыхался.

Фу, вот я у свай! Осклизлые сваи стоят прямой стеной, а подо мной двадцать футов воды. А сверху сыплется песок из-под чьих-то ног, и я слышу: «Слушайте, куда вы меня толкаете, ведь я упаду в воду



сейчас! Не вам одному хочется... Ах, какой ужас, он его утопил! Но все-таки, славу богу!»

Я не мог больше, я хотел бросить утопленника, пусть достают баграми, чем хотят. Я искал, за что зацепиться. Я глядел вверх, а там – полные оживления, любопытные лица. Ой, вот костыль! Костыль забит в сваю. Фу ты! Не достать его, четверть аршина не достать! Я набрался последнего духу, толкнул утопленника вниз, сам подскочил вверх и повис на двух пальцах на костыле. В правой руке под водой был утонувший.

Наверху разноцветные зонтики и вскрики:

– Ах, ужас! Он висит! Пусть он лезет! Сюда! Сюда! Он ничего не слышит. Крикнуть ему!

У меня пальцы, как отрезанные, сейчас пушу. И слышу:

– Га! Бак бана... [49]

Я вскинул голову: сносчик-турок разматывает свой пояс. Я разжал пальцы. А вот уж и пояс, тканый, широкий, как шарф, и на конце приготовлена петля. Я сунул в нее руку утонувшего и затянул петлю. Не помню, как я доплыл до своей купальни. Я еле вылез и упал на пол. Не мог отдышаться. Кровь стучала в висках, в глазах – красные круги. Но я опять стал слышать, как гомонит и подвизгивает народ – это публика над утопленником. Тьфу, начнут еще на бочке катать или на рогоже подбрасывать – погубят моего утопленника. Я вскочил на ноги и как был, голый, выскочил из купальни. Толпа стояла плотным кругом. Зонтики качались, как цветные пузыри, над этим гомоном.

Я расталкивал толпу, не глядя, не жалея. Вот он лежит навзничь на мостовой, мой утопленник. Какой здоровый парень, плотный; я не думал, что такой большой он. И лица я не узнал: спокойное красивое лицо, русые волосы прилипли ко лбу.

Я стал на колени, повернул его ничком.

– Да поддержи голову! – заорал я на какого-то франта. Он попятился. Я искал глазами турка. Нет турка. Стой, вот мальчишка, наш, гаванский.

– Держи голову.

Теперь дело пошло. Я давил утопленнику живот. Ого! Здорово много вытекло воды! Нет, больше не идет.

Теперь надо на спину его, вытянуть язык и делать искусственное дыхание. Скользкий язык не удержать.

– Дайте платок, носовой платок! – крикнул я зрителям.

Они дали бы фокуснику, честное слово, дюжина платков протянулась бы, но тут только спрашивали задних:

– У вас есть платок? Ну, какой! Ну, какой! Ну, носовой, обыкновенный!

Я не вытерпел: вскочил, присунулся к какому-то котелку и замахнулся:

– Давай платок!

И как он живо полез в карман, и какой глаженный платочек вынул!

Теперь мальчишка держал обернутый в платок язык утопленника, а я оттягивал ему руки и пригибал к груди.

Мне показалось, что первый раз в жизни ядохнул – это вот с ним вместе, с его первым вздохом.

Мальчишка уже тер своей курткой ноги и бока этому парню. Тер уж от всего сердца, раз дело шло на лад. Утопленник-то! Ого! Он уж у меня руки вырывает, глаза открыл. Публика загудела громче.

Утопленник приподнялся на локте, икнул, и его стало рвать. С меня катил пот. Я встал и пошел сквозь толпу к купальне.

Дамы закрывались зонтиками и говорили:

– Я думала, что они бледнеют, а глядите, какой он красный! Да посмотрите!

Они меня принимали за утопленника.

Одежду мою украсть не успели.

Через полчаса я отлежался, оделся и вышел. Никого уже не было. Пришел пароход, и на нем мыли палубу.

Дома я завязал руку.

А через три дня перестал даже злиться на зонтики. И забыл про утопленника: много всякого дела летело через мою голову.

Да вот тоже с утопленниками. Уходил пароход с новобранцами. Мы с приятелем Гришкой на шлюпке вертелись тут же. Пароход отвалил, грянула музыка. И вдруг с пристани одна девица крикнула пронзительно:

– Сеня! Не забывай! – и прыг в воду.

– И меня тоже!

Глядим, и другая летит следом. И барахтаются тут же, под сваями. Мы с Гришкой мигом на шлюпке туда. Одну выхватили из воды, а она кричит:

– А шляпку! Шляпку-то!

Но мы скорей к другой, вытащили на борт и другую. Пока шляпку ловили, они уже переругались:

– Тебя зачем туда понесло?

А другая говорит:

– А ты думала, ты одна отчаянно любишь?

Гришка говорит:

– Да он и не видал.

Та шляпку вытряхивает, ворчит:

– Люди видали, напишут.

Нет, это не дело, и стали мы сетки налаживать: ждали скумбрию с моря и все готовились. Возились мы до позднего вечера.

Раз прихожу домой. Мне говорят, что ждет меня человек, часа уж три сидит.

Вошел к себе. Вижу – верно: сидит кто-то. Я чиркнул спичку: парень русский, в пиджачке, в косоворотке. Встал передо мной, как солдат.

– Вы, – говорит, – такой-то?

По имени, отчеству и по фамилии меня называет. Я даже струхнул. «Каково? – думаю. – Начинается!» И все грехи спешно вспомнил: очень уж серьезно приступает к делу.

– Да, – говорю, – это я самый.

И парень мой как будто в церкви: становится на колени и бух лбом об пол. Я тут и опомниться не успел – отец мой со свечкой в дверях:

– Это что за представление?

Парень мой вскочил. Отец присунул свечу к его лицу.

– Что это за балаган, я спрашиваю? – крикнул отец.

Парень смотрел потерянно и лепетал:

– Я Федя. Они меня из воды вынули. Мамаша велела в ножки.

– Что-о? – отец со свечой ко мне. – Ты что же, Николая-угодника здесь разыгрываешь? А?

Я уже догадался, что это тот самый паренек, которого я с месяц назад выволок из воды. Я не знал, как отцу сразу все объяснить, но тут Федя уже тверже сказал:

– Честное слово, будьте любезны. Это я был утопленник, а они меня спасли. Благодарность обещаю...

– Никаких мне утопленников здесь! – и отец так махнул свечой, что она погасла. – Вон!! – и ногами затопал.

Федя попятился.

– Ну, уж я как-нибудь... – бормотал Федя с порога.

А отец не слушал, кричал в темноте:

– Двугривенные бакшиши собирать! Мерзость какая! Вон!

Но тут и я улизнул из темной комнаты. За шапку – и к Гришке.

Ну, как мне было Федю узнать? Из воды он глядел на меня, как сумасшедший из форточки. А тут на тебе: молодец молодцом, с прической на пробор, пиджачок, да и в сумерках-то. Кто его разберет! И вот оскандалил, хоть домой теперь не иди.

Уже все легли, когда я вернулся. Наутро объяснил матери, как было дело; пусть уговорит отца. А она посмеялась, однако обещала.

Вечером иду домой. И вот только я в ворота – тут, как из стенки, вышел Федя.

– Мы очень вами благодарны. Мы бы на другой день, тогда же, явились. Ноги, простите, так были растерты. И вот бока, руки только раскоряченными держать можно: до чего разодрал, дай бог ему здоровья, мальчик этот, Пантюша. Мамаша маслом на ночь мне мажут третью неделю. Такой маленький, скажите, мальчик, а как здоров-то! Ах, спасибо!

Это он скороговоркой спешил сказать, а я уж брался за двери:

– Ну, ладно. Заживет. Прощайте!

Но Федя взял меня за руки:

– Нет, я не войду, не бойтесь. Папаша ваш чересчур серьезный. А я благодарность вашей девушке передал.

– Стой! – сказал я и толкнул Федю в дверь. Я позвал нашу девчонку и в сенях втихомолку велел принести сюда Федину благодарность. Дверь я держал, чтобы Федя не выскочил.

Девчонка приволокла голову сахару, а потом пудовый мешочек муки «четыре нуля» и, смотрю, еще тащит – мыла фунтов десять, два бруска.

– Забирай! – шепотом закричал я в ухо Феде.

– Дорогой, милый мой человек! – Федя чуть не плакал, но тоже шепотом (оба мы боялись моего отца). – Золотой ты мой! Мамаша

мне наказала, чтобы вручить. Говорит, коли не отблагодаришь, так ты у меня сызнова потонешь. Да это хоть кого спроси. Я же в лабазе работаю, на Сретенской, у Сотова. Ты возьми это, дорогой, и квиты будем. А мамаша каждый день за тебя богу все равно молит. Борисом ведь звать? Возьми, дорогой. Как же я домой пойду? Мамаша...

– А я как? – и я кивнул на дверь. – Папаша!

– Как же мы теперь с тобой будем, друг ты мой милый?

Но тут я услышал, как под отцовскими шагами скрипят ступеньки нашей лестницы.

– А ну, гони отсюда ходом, – шепнул я Феде и пошел в дом.

Наутро я узнал, что гаванский Пантюшка вчера угощал всех папиросами «Цыганка» первого сорта, а сейчас лежит больной, – определили, что от мороженого.

Я пошел к Пантюшке.

Как только все вышли, я спросил:

– Пантик, откуда папиросы?

– А оттуда. Федя дает. Ну да, не знаешь? Федя-утопленник. Я его натер, он теперь аж до той пасхи помнить будет.

Я пообещал Пантюшке оторвать оба уха.

– А что? Я же не прошу, он сам дает.

– Меня тоже не надо просить, я сам дам! – и я погрозил Пантюшке кулаком.

Теперь уж, шел ли я домой или из дому, всегда поглядывал, не караулит ли где Федя.

Девчонка наша сказала мне, что в воскресенье Федя час, если не два, ходил под окнами.

Так прошел месяц. Я уходил за рыбой в море и редко бывал дома. Потом как-то, в праздник, я оделся в чистое и пошел в город. Я уж поднялся на спуск, как тут заметил, что за мной все время кто-то идет. Оглянулся – Федя-утопленник. Он сейчас же нагнал меня:

– Милость мне сделайте и уважение старой женщине, тут недалеко, зайдите! Живой рукой. Мамаша, не поверите, высохли вовсе.

Он так просил, что я решился: зайду и объясню, чтоб больше не приставали и чтоб никаких мне больше утопленников!

Жили они в комнатухе с кухней. Чистенько, и все бумажками устлано: и плита и полочки. «Старуха» была крепкая, лет сорока пяти.

Она мне и в пояс поклонилась, хотя я не старше был ее Федьки. А потом плянула на меня очень крепенько.

– Что ж это вы, – говорит, – молодой человек, как бы сказать, чванитесь? Вам господь послал человеку жизнь спасти, слов нет – спасибо, – она снова поклонилась, на этот раз уж не очень. – А что же выходит? Вы благодарность нашу ногой швыряете, а сами должны понимать, вы не мальчик: он у меня один, смерть за ним ходила, слава Христе, – она твердо перекрестилась, – смерть не вышла ему, и должны мы это дело искупить. А если мы это указание оставим без внимания, то, значит, снова нас оно мучить будет, и тогда уж ему... – она опяделась, – тогда ему уж прямо в ведре утонуть может случиться. На это вы его навести хотите, молодой человек? Да? – и уж такими она на меня злыми глазами глядела, так бы вот и прошпилила насквозь. – Молчите? А то, что мать сохнет, что я его каждый день точу: возблагодарил? А то, что я листом осиновым дрожу, думаю: как же это он останется в воде неплаченный. А? Это вам нипочем? В баню пойдет, так я как на угольях, пока воротится.

– Так что же вы хотите? – я уж стал пятиться к двери.

– Что хотим? – закричала мне в лицо эта мамаша. – Да ты-то что, ирод, хочешь? Бочку золота хочешь? Нет у нас бочек! С огурцами у нас кадушка, с огурцами! Так какого тебе рожна еще подать, чтоб ты взял, креста на тебе нет! На, на самовар, – она схватила с полки медный самовар и тыкала им мне в живот. – Подушку? Федор, подавай подушки!

Она поставила самовар мне под ноги, бросилась к кровати, – там, как надутые, лежали пузырями две громадные подушки. С этими подушками она пошла на меня.

Я бросился к дверям. Ах, ты, дьявол! Когда их успел запереть Федька?

– Мадам, успокойтесь! – сказал я. – Вы просто дайте мне копеечку на счастье, и будем квиты.

– Это за кошку дают! – закричала мамаша. – За кошку выкуп! Так вот как? Тебе что Федя мой, что котенок – одна цена? А я за тебя три молебна служила.

– Ладно, – говорю, – ладно; пусть завтра Федя приходит, я скажу, мы порядим и будем квиты.

– Ступайте, молодой человек, только вижу я, что вы за гусь! Завтра так завтра. Ишь ведь, и цены себе не сложит! Проводи, Федор! Я уж за дверью слышал, как она сказала:  
– Послал господь!

Мы вышли с Федей.

– Ну и мамаша, – говорю, – у тебя: коловорот!

– Да не покрепче вашего папаши будет. Тот раз думал: порешат они меня подсвечником. Как ноги только унес!

– Слушай, Федор. Ну их, с родителями! Давай сами поладим. Возьми ты у мамашы своей, что она там, голову сахару, что ли, или мыло – «благодарность», одним словом, и занеси ты ее, благодарность эту, куда-нибудь к чертям в болото. Ну, старухам в богадельню какую-нибудь. Или хочешь: продай да пропей. Понял? И квиты.

Я зашагал, Федя за мной.

– Никак этого невозможно. Как же я перед мамашей-то солгу? Видали сами: они на три аршина в землю видят, мамаша. Обманите, если умеете, вы своего родителя, скажите: вроде купили.

– Иди ты! – и я выругался. – И чтоб тебя не видал никогда. Сунься ты к нам в гавань, – вот истинный бог, скажу ребятам, они тебе нос утрут в лучшем виде.

Федя все что-то говорил, но я шагал во весь мах и повторял:

– Чтоб и ноги твоей... и духу твоего! Чтоб ни под окном, ни у ворот!..

Я завернул в какой-то двор. Федя отстал. Я выждал минут десять – и домой.

Дома я матери рассказал, что нет никакого сладу с утопленником, что у него мамаша объявилась и чуть меня эта мамаша в самоваре не сварила, что если эта мамаша сохнет, то пусть она в порошок рассыплется – не чихну; туда ей, выжиге, и дорога.

Я долго ругался и махал руками.

Мать сказала мне, что не надо дураком быть, но я не дал ей больше говорить, а стал кричать, что у Пантюшки уже вся стенка в объявлениях: «Чай Высоцкого» и «Лучшая питательная овсянка „Геркулес“» – и что от чернослива его скоро наизнанку вывернет.

Но мать махнула рукой и вышла из комнаты.

Однако же Федьку-утопленника, видно, проняло: вот уже две недели, а его как ветром сдуло. Пантюшка пробовал узнавать, где утопленник квартирует или в каком лабазе приказчиком. То-то, ага!

Но «ага» вышло вот какое. Собирался как-то отец на службу. Стоит в прихожей, чистится щеткой. Тут звонок. Я выхожу, а отец уж двери открыл, смотрю: батюшки! Федора мамаша. Желтая, злая. Так в отца глазами и вцепилась. Черная шерстяная шаль на ней и вся, как в крови, в красных букетах. И под платком что-то оттопыривается: прямо будто с топором пришла и сейчас кого первого по головке тяпнет. У меня душа в пятки.

Отец:

– Вам кого?

А эта глазами с отца на меня.

– Да уж кто поправославней, того бы мне.

– А здесь не святейший синод, сударыня, – и вижу: отец шагнул к ней со щеткой.

Тут, слышу, мать быстренько каблучками стучает – и сразу из дверей.

– Это ко мне. Проходите, пожалуйста.

И как-то ловко эту выжигу под локоть, и, пока отец поворачивался, она уже и дверь закрыла.

– Это что за сваха такая? – спросил отец. Но взглянул на часы и поспешил вон.

Я хотел было следом за ним: от греха. Но слышу, за дверью разговор идет тихий. Я немножко переждал и тихонько отворил дверь. Стал на пороге.

Ничего. Вижу: мать ее чаем угощает – еще чай со стола прибрать не успели. Та с блюдечка спокойно тянет и говорит:

– Да-с! А сынок ваш, сударыня, за моего Федю копейку спросил.

– Без запросу, – говорит мать и улыбается.

– То есть как? – и блюдечко на стол поставила. – Вот этот кавалер Федю моего в копейку ценит, – и тычет на меня пальцем.

Мать мне мигнула: молчи, дескать. А сама спрашивает:

– Ну, а ваша цена?

– Как, то есть, цена? – и вытаращила глаза на мою мать.

– Вот, говорите, копейку! Это он малую очень цену поставил, вы недовольны. Так ваша какая будет цена? Рубль? Два с полтиной?



Красненькая?

Федина мамаша даже шаль с головы стянула и глазами заморгала.

– Что это? А ты своего во сколько? Вот этого?

– Да он не теленок, я им не торгую.

– А мой-то – гусь, что ли? – и привстала, к матери присунулась.

Думал, вцепится.

А мать говорит:

– А коли не гусь, так за чем же дело стало? Нечего ни продавать, ни на сахар менять.

Та так и села. Глазами хлопает, молчит. Минуту добрую молчала, потом руки развела, опять свела.

– Милая, да как же это у нас вышло-то... что Федя – не гусь. Тьфу, что я... не тот... ну, как оно? Ох, да и грех! – рассмеялась. – Ох, милая, да и что ведь Федя надумал уже: «Дайте, – говорит, – мамаша, я его в воду невзначай спихну, да и сам сейчас прыгну и пока что вытащу. Это – чтоб на квит вышло». А я говорю: «Феденька, бойся ты теперь этой воды, сам, гляди, утонешь и, неровен час, он опять тебя же вытащит».

«Нет, – думаю я, – уж теперь не тащил бы: натерпелся я, уж пусть кто-нибудь, только боюсь я теперь утопленников».

Тут она стала мою мать целовать. Шаль накинула – и к дверям.

– Будем знакомы!

А мать:

– Сахар-то, сахар забыли.

Гляжу: верно, голова сахару осталась на полу.

Я подал.

А Федя стал к нам в гавань приходить рыбу ловить. Прозванье так за ним и осталось: Федя-утопленник. Давно это было. Теперь, пожалуй, в наших водах такого не выловишь.

## Клоун

Цирк сиял огнями. И огненным веером горела над крышей на черном небе красная надпись:

ЛУИЗ  
КАНДЕРОС

Входные двери перестали хлопать – не успевали закрываться: густой кашей валил народ к кассе.

Тринадцать тигров и среди них будет женщина на коне. На афише была нарисована воздушная женщина в розовом трико верхом на белой лошади, без седла и уздечки, а вокруг мечутся и скачут рыжие тигры с оскалившимися зубами. А женщина подняла, как крылышки, ручки и беззаботно улыбается.

Публике хотелось скорее увидеть ее среди тигров одну, даже без хлыстика в руке. А под трико не спрячешь револьвера. И все волновались, уж глядя на одну только картинку на афише.

А у служащих была своя тревога: как раз сегодня днем на репетиции при всех артистах директор устроил скандал клоуну Захарьеву. Захарьев репетировал свой номер с Рыжим и хлопнул его по щеке. Вдруг вошел на арену директор, высокий, толстый, и сразу начал кричать.

– Надоели вы со своими оплеухами. Все ваши номера один мордобой. Выдумайте, шевелите мозгами. Сегодня последний вечер с оплеухами! Слышите? А то выходит у нас не цирк, а ба-ла-ган!

Директор покраснел от натуги. Фыркнул и вышел вон. Захарьев и рта открыть не успел. Все кругом молчали и, подняв брови, глядели на Захарьева. Захарьев нахмурился и ни на кого не глядя вышел вон.

А у себя в уборной Захарьев чуть не плакал. Он считал себя первым клоуном в Союзе. Столичным клоуном, лучшим выдумщиком. Ему всегда говорили, что он – талант, известность. Он был красавец, франт, и даже клоунский костюм у него был в талью, из желтого атласа, с серебряным шитьем.

Вот уж пять лет он работает в этом цирке и всегда визг, хохот, аплодисменты.

И вдруг этот новый директор позволил себе при всех... Захарьев бил с досады кулаком по колену.

Вдруг он увидел, что в дверях стоит Рыжий и смеется.



Рыжий одним прыжком сел рядом на стол.

– Горе луковое! Не злись! Сегодня мы им покажем, какая у нас будет последняя оплеуха. Дай только я на этот раз выдумаю.

– Меня оскорбляют, а я буду выдумывать? – крикнул Захарьев.

– Не ты, а я, я буду выдумывать, – перебил Рыжий. – А знаешь, в чем дело?

– Ну? – Захарьев насторожился.

– Дело в том, – сказал Рыжий, – что на твое место директор хочет поставить своего племянника Серьгу.

Захарьев побелел от злости.

– Наплюй, – сказал Рыжий. – Слушай лучше меня. Будешь слушать?

Захарьев молчал.

– Ну тогда я уйду.

Рыжий соскочил со стола и прыгнул в двери, в коридор.

– Стой, стой! Рыженький! – крикнул вдруг жалобно Захарьев.

Рыжий вернулся.

– Так будешь слушать? Дай руку.

Захарьев протянул ладонь, и Рыжий с размаху треснул в руку так, что жарко стало. Повернулся волчком и побежал по коридору.

И вот до вечера никто не знал, что будет на спектакле у клоунов. Говорили среди артистов, что клоунского номера совсем не будет, что Захарьев подал жалобу в союз и уходит. Другие говорили, что выступит новый клоун Серьга. Рыжего целый день не видели, а когда вечером он явился, за три минуты до начала, все его обступили с расспросами. Рыжий сказал, что сам директор наденет колпак и будет бегать по арене на четвереньках.

А публика валила и валила в цирк. Артисты в уборных одевались к своим номерам. Рыжий с Захарьевым заперлись в своей каморке. Кто-то постучал в дверь. Рыжий высунул голову. Служитель стал шептать ему на ухо:

– Директорский племянник одеваются тоже, знаете, клоуном, наряд очень богатый, и – и какой богатый!

– Ладно! – крикнул Рыжий, – кланяйся павлину и спереди и в спину, – и захлопнул дверь.

Оркестр грянул марш. Под куполом вспыхнули яркие лампы, на вороном коне, на бешеном скаку вылетел на арену наездник – представление началось.

А по коридору опять бежал служитель. Он крикнул через двери:

– Слушайте, товарищ Захарьев! Директор велел спросить, будет ваш номер или нет? Слышите? А если будет, так чтоб пять минут, потому надо время оставить: их племянник следом после вас выступают.

И потом прибавил вполголоса в щелку двери:

– И с ним ящик огромный, неизвестно, что в нем.

– Выступает Захарьев после летучей немки, – крикнул из-за дверей Рыжий, – так и передай!

А «летучая немка» уж начала свой номер. Музыка играла вальс, огни были притушены, и в темном воздухе, в луче прожектора появлялась то в одном, то в другом краю цирка блестящая бабочка. Немка на черной невидной проволоке летала по цирку, к рукам от колен шли шелковые тонкие крылья. Луч прожектора раскрашивал ее в яркие огненные цвета. Она взмахивала крылышками и, казалось, легко порхала в воздухе. Публика нетерпеливо ждала конца: всем скорей хотелось видеть тигров.

Но вот немка спустилась, публика вяло хлопала. Зажгли полный свет. Из прохода вышел Захарьев.

– Вот, почтеннейший публикум, – крикнул он ломаным голосом, – вот у нас несчастье! Сегодня последний раз в нашем циркус можно давай по морде!

Директор заворочался на своем стуле – не наскандалил бы Захарьев.

– Вот я прошу уважаемый гражданины, кто желает мне помогай? Немножко постоит, я от сердца давай ему последний оплеуха! Немножко постоять смирный – нам нельзя больше пять минутки! Граждане и гражданяты! Кто-нибудь!

Захарьев обводил весь цирк глазами. Все молчали. Директор от волнения привстал в своей ложе.

– Пожалуйста! – кричал Захарьев и прикладывал руку к сердцу. – Кто-нибудь!

Вдруг из первых рядов поднялся высокий гражданин в котелке и стал протискиваться на арену.



Директор совсем встал, глядел и не мог узнать. В проходе артисты шептались – никто ничего не мог понять. А высокий гражданин вышел на арену и спросил глухим басом:

– Хорошо, только можно воротник поднять?

И тотчас поднял воротник. Видно было, как он боялся и втягивал голову в плечи.

– Ух! – подпрыгнул весело Захарьев, – уй-ю-ю-юй! – есть один. Ну, стоять смирна! – Он отошел, разбежался, размахнулся полным махом и замер. – Нет! вы не закрывайтесь с рукавом.

Гражданин нехотя опустил руку.

– Держите его, – крикнул Захарьев в проход. Шталмейстер в мундире подбежал и сзади обхватил гражданина.

– Я сейчас руку достану, ух! последний раз так последний раз.

Захарьев засунул руку в свои широкие штаны и оттуда вытянул руку – но это была огромная рука, красная, с бородавкой в апельсин

на большом пальце. Он был как рак с клешней. Гул смеха пронесся в цирке.

Гражданин завертелся в руках служителя.

– Ага! спугальсу! – визжал Захарьев. – Ух! последний раз. – Он размахнулся и хватил гражданина этой огромной рукой в ухо.

Все ахнули: голова, вся голова слетела с гражданина и покатилась по песку арены. Она стукнулась о барьер и крикнула: «Ква!»

Весь цирк встал на ноги.

– Ай! – визгнула дама в партере.

И вслед за ней загудел, закричал весь цирк.

– Я вам сейчас подам! – крикнул Захарьев. – Не сердитесь, гражданин.

Все смолкли.

Захарьев подбежал к голове, схватил ее и вдруг заверещал на весь цирк. Он бежал по барьеру, а голова зубами вцепилась ему в огромный палец.

– Ай, не буду, не буду! – верещал Захарьев. Он обежал круг и выбежал в проход. Служитель пустил гражданина. Он повертелся в разные стороны, пошарил по песку. Потом махнул безнадежно рукой и пошел в проход за Захарьевым.

Весь цирк стоя хлопал. Кричали:

– Захарьев! Захарьев!

Захарьев вышел. Гражданин шел за ним.

Захарьев кланялся на все стороны. Гражданин стоял за ним с головой на плечах и как ни в чем не бывало кланялся за Захарьевым.



Захарьев снял свой клоунский колпак и замахал им публике. Гражданин схватился за голову, он шарил по волосам, искал шапку. Потом схватил себя за волосы, дернул вверх. Голова повисла в руке, и гражданин замахал публике головой, как шапкой.

Затем он поднял колено и с размаху стукнул по нему головой. И голова крикнула на весь цирк: «Ква!»

Гражданин выпустил голову, схватился за бока, дернул вниз пальто, пальто сползло, и из поднятого воротника высунулась голова Рыжего, высунулась и прокричала на весь цирк:

– Ку-ку-ре-ку!

Все еще хлопали, ждали следующего выхода. Служители оглядывались в проход. Но никто не выходил. Директор поднялся из своей ложи, тяжело сопя, пошел за кулисы. Через минуту он вышел и сказал:

– Объявите антракт. Второго клоуна сегодня не будет. Ставьте клетку для Кандерос.

Клоун Захарьев сидел перед зеркалом в своей уборной. Ноги он положил на подзеркальный столик, руки засунул в карманы и, откинувшись на спинку стула, раскачивался и пускал дым в потолок. Рыжий сидел на диванчике, ногой подбрасывал спичечную коробку и ловил ее зубами. В дверь стукнули, и служитель сказал:

– Директор спрашивает, будете репетировать или пойдет вчерашний номер?

– Пошли ты своего барина к чер-р-ртям!

Служитель смотрел выпуча глаза.

– К чертям! понял? – крикнул Захарьев и так качнулся на стуле, что чуть не слетел.

Служитель хлопнул дверью и ушел.

Рыжий с коробкой в зубах выскочил за ним следом.

– Стой! – крикнул Рыжий, и коробка прыгнула изо рта на целую сажень. – Стой! Я сам скажу директору.

Рыжий обогнал служителя и мигом скатился с лестницы.

Директор стоял на арене и говорил с летающей немкой Амалией. Рыжий кивком головы отозвал директора.

– Почему так таинственно? – сказал директор и не спеша подошел.



– Захарьев ставит номер. И опять непременно с оплеухой.  
Согласны?

– Если повторите вчерашний... – начал директор.

– Нет, но с оплеухой обязательно.

– Да уж не знаю... – помялся директор и пошевелил животом.

Рыжий двинулся.

– Ну, пожалуйста, пожалуйста, – живо заспешил директор.

– Условие, – сказал Рыжий, – репетируем одни, чтоб никого не было.

Директор кивнул головой, а Рыжий бросился догонять летучую немку Амалию.

– А впрочем у меня есть кем заменить, – сказал вдогонку директор.

Но Рыжий не слышал, он что-то говорил Амалии коверканным немецким языком. Амалия смеялась, подымала брови и директор слышал только:

– Ах, зо! ах, зо!

А Рыжий все шептал ей в ухо.

Рыжий не приходил, и Захарьеву уж надоело смотреть на свои подметки в зеркало. Он хотел встать, как вдруг в дверь пулей влетел Рыжий.

– Дело! Дело! – заорал Рыжий.

А Захарьев опять закачался и важно заметил:

– Ухожу и пусть плачут.

– Дурак! – крикнул Рыжий, – лучше выходи и пусть смеются.

Индюк ты, тут такое дело!

Рыжий выпянул в двери, оглядел, пусто ли в коридоре, запер на задвижку дверь, скинул Захарьева со стула и плюхнул его на диван.

– Молчи и слушай! – и Рыжий стал шептать. Захарьев прищурясь глядел сначала в стену, потом раскрыл глаза на Рыжего и вдруг крикнул:

– Врешь! согласна?

– Идем доставать сбрую, тебе же сбрую целую надо!

Рыжий схватил с подоконника шапку и нахлобучил Захарьеву по самые уши.

Оба выбежали вон.

У них оставалось всего пять часов до начала спектакля.

Уж последние артисты уходили с репетиции. Служители гасили свет. Летучая немка Амалия в шубке и шапочке хохоча вошла на арену. За ней следом вился Рыжий. Неуклюжий сверток звенел у него под мышкой.

– Погляди, Захарка, чтоб ни одного чучела не бродило около, – крикнул Рыжий назад в проход.

– Никого! – крикнул Захарьев из прохода.

Им оставили один большой фонарь под куполом цирка.

Рыжий стал спешными руками разворачивать сверток.

Директор сидел в своей конторе и делал вид, что проверяет счета, а краем уха прислушивался, не слышно ли чего с арены. Но оттуда ничего решительно не было слышно: ни клоунских выкриков, ни звонких оплеух, ни визгу.

Прошло два часа. Директор не вытерпел. Он кликнул дежурного капельдинера и сказал:

– Подите, товарищ, скажите им, что пора кончать... Посмотрите, что они там делают, может, я даром для них свет держу. И доложите мне.

Дежурный побежал.

Директор заходил по конторе, очень не терпелось ему узнать, что застанет там на арене дежурный.

Через две минуты вернулся дежурный.

– Ну что? что? – спросил директор и задышал громко.

– Никого нет, ушли и свет погасили.

Директор выпустил воздух и повернулся спиной.

Публика уселась, оркестр из большой ложи рванул марш, и яркий свет ударил сверху. Бойко выскочил из прохода на арену вороной конь, белый наездник легко, как бумажный, подлетел и стал в рост на спине лошади.

Спектакль начался. Парадный воскресный спектакль. Номер шел за номером. И вот очередь клоунам, но это пять минут, за ними следом все ждали клетку тигров и среди них артистку на лошади.

Музыка играла, на арене было пусто. Клоуны не выходили.

А посланный от директора стучал во всю мочь в двери Захарьеву:

– Идите, – кричал служитель, – скандал, директор бесится.

– По-сле тигров! – крикнул Рыжий из-за дверей, – скажи: последний номер наш. А не хочет – пусть своего племянника выпускает.

– Товарищ Рыжий, – завопил служитель, – музыка второй раз играет! Директор велел...

– Пусть сам, катается кубарем, коли хочет, – крикнул Захарьев. – После тигров и шабаш!

Служитель зашлепал рысью по коридору.

Все видели, как директор, разинув глаза и растопыря руки, слушал, что передавал ему служитель. Потом вдруг нахмурился, покраснел и крикнул зло:

– Клетку!

Капельдинер вышел на арену и сказал громким голосом:

– Граждане! антракт на десять минут.



А служители бросились укреплять высокую железную решетку вокруг арены.

И вот под звонкий марш, под медные трубы, мягкой походкой, один за другим прокрались по решетчатому коридору тигры.

Они вошли на арену, жмурились на свет и заходили в беспокойстве вдоль решетки. Они зло искоса глядели на публику, и люди невольно прижимались к стульям.

Оркестр переменял музыку, заиграл плавный вальс, и на арену въехала Луиз Кандерос на высокой белой лошадке.

Артистка улыбалась и кланялась публике, кивала головкой и не глядела, как скалились тигры – и как на них косила глаза белая лошадка.

– И гоп! – крикнула Кандерос и взмахнула вверх рукой.

Лошадка стала на дыбы и пошла под музыку вокруг арены. Тигры заметались, забегали в клетке, но наездница не глядела на них и беспечно покачивала головкой в такт музыке. Лошадка сделала полный круг и дошла до подъемных дверей клетки.

– Алле! – крикнула артистка. Лошадь опустила, и вдруг все заметили, что что-то случилось. Будто лошадь наступила на лапу тигру, и в тот же миг зверь махнул лапой, лошадь рванулась, артистка едва усидела, весь цирк завыл, публика забилась, затопотала на своих местах. Но уже десять железных шестов просунулось в клетку, как пики, и выстрелы залпом ударили в воздухе. Никто не мог понять, что происходит, все ждали ужаса и крови, сейчас, сию минуту, и люди не слышали своего крика за ревом зверей. Публика не заметила, как помощники артистки успели поднять вмиг железную дверь. Эти помощники были всегда наготове, с шестами и револьверами. На один миг они напугали тигров и за этот миг сделали все. Зрители пришли в себя, когда лошадь с артисткой была уже в решетчатом коридоре и железная дверь опустилась сзади нее. Через две минуты все было в порядке, и тигры один за другим, рыча, шли по коридору вон с арены.

Публика волновалась, некоторые уходили, уводили детей.

Но в это время на арену вышел сам директор и зычным голосом, как из бочки, возгласил поверх всего шума:

– Граждане! Артистка невредима! Легко ранена лошадь. Спектакль продолжается.

И сейчас же грянула веселая музыка. На арену выскочил Рыжий, в руке он держал обруч, публика сразу стала садиться на места.

Директор вспотел от волнения, он стоял в проходе и утирал красное лицо платком. Он с радостью замечал, что публика начинала успокаиваться, и водил глазами по верхним местам. Он не заметил, как подбежал к нему Рыжий:

– Гражданин директор! – крикнул над самым ухом Рыжий. Директор вздрогнул, котелок соскочил на толстый затылок. Смех легким шумом пробежал в публике.

– Гражданин директор, держите обруч! – и Рыжий тянул директора за рукав на арену.

Толстый директор шагнул два шага.

– Держите колесо! – Рыжий совал ему в руки обруч. – Я прыгай, как велосипед! – заорал Рыжий.

Он отбежал и колесом покатился к обручу. Но в это время из прохода вбежал Захарьев.

– Мой обруч! – взвизгнул Захарьев на весь цирк и вырвал у директора обруч. Рыжий вскочил на ноги:

– Что-о? твой? отдай!

– Мой, – завизжал Захарьев и бросился бежать.

А директор стоял, мигал глазами и не знал, что затеяли клоуны, – но уж рад был, что публика весело гудит и на галерке и в ложах.

– Гражданин директор! – подскочил Рыжий. – Можно я ему по морде дам? Сегодня. Воскресная оплеуха?

Директор кивал головой, растопырив руки.

– А! можно! – закричал Рыжий и во всю прыть погнался за Захарьевым. Захарьев бежал по барьеру арены, Рыжий за ним. Захарьев дал такого хода, что уж сам сзади стал нагонять Рыжего, а Рыжий бежал в двух шагах впереди, орал:

– Держите его! – и вдруг упал и встал на барьере горбом. Захарьев с разбегу вбежал на него и... и не сбежал вниз: он с разгону так и пошел вверх, пошел прямо по воздуху, быстро семеня ногами, как будто под ним был твердый помост.

Весь цирк ахнул.

А Захарьев орал во весь голос сверху:

– Держите, держите меня! ой, что со мной делается! – И еще шибче перебирал ногами.

Летучая немка Амалия, откинувшись на стуле, хохотала в ложе.

А Захарьев кругами забирал в воздухе все выше и выше. Он уже был у перил, что отделяют галерею, и тут вдруг попал ногами на эти перила и побежал.

Рыжий уже влез туда же и бежал за ним следом, они добежали до пустого пролета, и вот Захарьев пробежал по воздуху над пролетом как ни в чем не бывало. Рыжий повернул назад.

– Ой, держите меня! – орал Захарьев, – за что попало, хватайте меня! – и бежал по воздуху, поперек, через цирк. И вдруг Рыжий выскочил из-за барьера галерки и – цап! поймал за обруч. Захарьев бежал теперь по воздуху, перевернувшись вверх ногами, он по-прежнему бежал ногами, будто муха по потолку. Рыжий висел на обруче. Они были на самой середине арены, но уже всего на двух саженьях высоты.

– Дай! – крикнул Рыжий. – Бах! и оплеуха щелкнула звонко на весь цирк.

Захарьев бросил кольцо, и Рыжий полетел вниз. И в этот миг потух свет. Он вспыхнул через минуту.

Захарьев с Рыжим стояли рядом посреди арены и кланялись публике. Захарьев помахал клоунским колпачком, и вот колпак сам поднялся в воздух. Только тогда публика увидела тонкий проволочный канат, что шел к самому куполу цирка. Он был черный, его нельзя было сразу заметить. Это был тот самый канат, на котором летала Амалия.

Цирк хлопал, хлопал от веселой души; забыли все про страшных тигров. Директор махал клоунам котелком из своей ложи.

В уборной Рыжий снимал сам, запыхавшись, с потного Захарьева ременную сбрую: это были кожаные подтяжки. К ним приделано было железное кольцо, за которое и прицеплялся немкин черный проволочный канат.

– Чуть не сдох! – отдувался Захарьев. – Распрягай живей!

В это время без стука в дверь влетел в уборную директор.

– Голубчики, выручили! Милые мои, спасли, как из огня! – он старался обнять сразу Рыжего и Захарьева.

– Так можно оплеуху? А? – крикнул Рыжий.

– Кому хотите, хоть мне, лишь бы весело! – чуть не плакал директор.

Но Захарьев сказал задыхаясь:

– А что ж ваш племянник, гражданин?

– Дурак ты, – вдруг сказал директор, – никакого племянника нет, отроду не было. Это я нарочно пугал, чтобы вас, бестий, подстегнуть. Верное слово! В цирке уж известно: не стеганешь – и толку нет.

Захарьев плюнул в пол, но вдруг обернулся к директору:

– Ну, черт с тобой: мировая.

И хлоп ему ладонью в руку.

# Элчан-Кайя

## I

Ветер дул с моря. Плотный, тяжелый ветер. Налег на город и на порт. Все окошки захлопнулись, все ворота рты зажали, голые деревья спиной повернулись, и полохнул дождь. Не дождем, а будто камнями кто с неба кидал: зло и метко. В рожу, за шиворот, ляпнет в глаз. И все побежали и спрятались в домах. Закрылись, законопатились. Зажгли свет, а дети залезли на кровать и шептались тихо.

А греку Христо нельзя было бежать. Он стерег в порту мешки. Мешки были покрыты брезентом. Ветер рвал брезент, а Христо ловил его за угол, и его подбрасывало на воздух и ударяло о мостовую. Черная собака лаяла на брезент, металась и хватала Христо за штаны.

Такой был ветер.

Христо был сильный человек, он прикатил огромные камни, навалил, прижал брезент и ругался, чтоб не заплакать.

Большое парусное судно, что стояло на рейде, подняло якорь, поставило крохотный парус, как платочек, и понеслось в порт, в ворота: не могло выдержать погоды.

Христо забился в угол, а собака стала моститься ему под пальто.

Зыбь била в портовую стенку, и брызги фонтаном летели вверх – выше мачт.

Ветер принес тучи, нагнал темноту и завладел всем.

## II

Христо сидел на дворе и стерег брезент. Христо думал: теперь уж никого в море нет. Суда ушли в порт, а люди под крышу. Одно только судно в море не спустило парусов: каменный корабль Элчан-Кайя. Ему все нипочем.



Много чего рассказывали про каменный корабль. Чего только не выдумывали! И турки одно, а греки другое. Будто шел корабль на недоброе дело, совсем уж к берегу подходил и вдруг окаменел. Как был со всеми парусами, со всеми людьми.

И верно: когда издали смотришь, днем на солнце – горят паруса, накренившись на бок, пенится в волнах корабль – и все ни с места. А подойдешь – это скала торчит из моря. Какой же это корабль?

Но турки говорят: давно это было, давно окаменел корабль, и море размыло, разъела вода каменные паруса и снасти. Чего люди не выдумают! Говорят же, что по татарским кладбищам клады закопаны. Копни только – и море золота. Врут люди. А кто и выкопал, разве скажет?.. Врут и про Элчан-Кайя, просто торчат из моря дикие скалы торчком, остряком, а зыбь бьется об них и пенится.

Но отойдешь полверсты, оглянешься – догоняет на всех парусах каменный корабль: прилег на бок, пенит воду.

И Христо стал думать, как это сейчас стоит там в море один этот корабль, и разбивается об него черная осенняя зыбь. А собака ворошилась в ногах и лизала мокрую шерсть, а заодно и хозяйские брюки.

Маяк стоял на конце мола, далеко в море, в воротах порта. Светил красной звездой, не мигая. Христо сжег полкоробка спичек, пока закурил трубку, а маяк не моргнет на штормовом ветру. И кому светить в такую ночь? – никого нет в море. Один только есть корабль...

### III

И вдруг маяк погас на секунду, потом опять мелькнул... опять... И снова загорелся ровным светом. Значит кто-то прошел мимо маяка. Кто-то парусами закрыл маяк. Христо привстал и через дождь и шторм стал пялиться в море.

Неужели парусник, что спрятался в порту, выскочил в ворота на полных парусах? Нет, вот он белеет в углу гавани. И тут Христо заметил в темноте – на минуту совсем ясно – огромные, как облака, паруса и высокий, как дом, корпус. Корабль медленно входил в порт. Медленно, в шторм, на всех парусах.

Он занял половину порта, серый как скала. Молча, без огней, двигался медленно, тяжело, чуть накренившись на бок. Не спуская парусов, он стал посреди порта. Христо дух затаил – смотрел во все глаза.

Элчан-Кайя! Каменный корабль пришел в порт.

Ой, и никто не видит – все заперлись, все спрятались. Один Христо в порту, а в порт пришел Элчан-Кайя. Наутро рассветет, и все увидят. Не устоял Элчан-Кайя в море!

А с каменного корабля спустили шлюпку. Ну да, шлюпку. Вон движется, ползет по воде. Как будто кусок от корабля отломился. Медленно идет. Уж хорошо видать через дождь. Христо спрятался под брезент.

«Пусть, – думает Христо, – меня нет. И сам буду считать, что меня нет».

Запратал собаку под брезент. Ведь кто их знает, какие там люди? Старинные турки. Одним глазом смотрит Христо из-под брезента. А шлюпка идет прямо туда, где мешки, где Христо. Теперь уж под самой пристанью. И вот брякнули весла, и стали на пристань вылезать люди. Каменные старинные турки, в каменных чалмах...

Вылезли не спеша. Сорок турок вылезло на берег. Христо знал по-турецки, прислушивался, но ветер рвал голоса: ничего не разобрать. Собака заворчала на них под брезентом. Христо ей морду, что было силы, стиснул меж коленями. А турки пошли по каменной пристани и дробно стучали тяжелыми ногами. Серые все, как камень Элчан-Кайя.

Прямо в город пошли турки. А впереди высокий, все брюхо широким поясом замотано, из-за пояса кривые ручки торчат – пистолеты. Будто каменные крючки. Ближе прошли от Христо – медленно, тяжело. Еле гнутся каменные ноги, не треплет штормом бороды и все вниз глядят, в землю. На ходу друг о друга стучаются каменным стуком.

Куда пошли турки? Христо слышит, как грохают шаги по мостовой. Войдут в дома, выдавят двери, закаменеют люди от страха и всех греков, всех русских вырежут за ночь турки. Бежать надо, всем сказать, надо в соборе в колокол ударить!

Христо хотел двинуться, да вспомнил, – стоит под берегом турецкий баркас. А глянул в море: полнеба закрыл Элчан-Кайя

каменными парусами. И никто не видит. Светит ровно красный маяк. Крепко спят там люди под дождь, под штормовой ветер.

«Нет меня, нет меня на свете, – думает Христо. – Ничего я не видел», – и со всей силой зажмурил глаза. Только слышит сквозь бой зыби, как тяжело толчет в пристань каменная шлюпка.

Прижался Христо к собаке, – все же вместе, все же она живая, теплая. И тут вдруг вспомнил, что осталась в городе жена Фира. Придут турки...

– Не может грек терпеть это! – сказал Христо и стал ползти под брезентом, вдоль мешков, подальше от берега, дальше от шлюпки. Вылез Христо, – хлещет дождь, как стрелы. Собака хвост между ног зажала, смотрит на Христо: куда?

«Да не чудится ли мне?» – подумал грек. Оглянулся и обмер: еще выше стали каменные паруса, еще ближе надвинулся на город Элчан-Кайя.

#### IV

И ударился Христо бежать. Напролом – через рельсы, через барьеры, бежал Христо. Гнал его ветер, гнал дождь холодными прутьями. Христо бежал в темноте. Перебежал площадь и тут стал. Дробно по мостовой шаркали каменные ноги.

Христо прижался к стене: по трое, тринадцать рядов прошли старинные турки, а впереди высокий. Газовый фонарь мигал, пламя билось, но Христо увидал, что у высокого одна рука. Другую он нес под мышкой, и она сжимала кинжал. Только не каменная рука была под мышкой у высокого турка, а живая, и кинжал вспыхивал сталью на свету.

Христо пошел за турками, шел поодаль, затаив дух. Боялся будить людей, боялся стукнуть в ворота, чтоб не оглянулись турки. А они прошли город и вышли на большую дорогу. Вот прошли татарское кладбище и встали в круг. Зажгли каменные факелы. Мутным светом стал огонь и недвижно замер.

Тогда вышли двенадцать турок в круг и стали ятаганом копать землю. Выкопали большую яму, круглую могилу. И высокий турок спустился и положил на дно живую руку с зажатым кинжалом. И вот

все загудели: запели молитву. Будто обвалились с гор камни и грохочут с раската.

Тут завыл пес. Христо накрыл его полой, но турки пели – не слышали. Потом все стали разматывать пояса, и посыпалось из поясов золото. В сорок ручьев лилось золото в яму и чуть не до полна насыпали ее турки. Закидали землей, затоптали тяжелыми ногами.

Стали опять по три в ряд и пошли. Христо хорошо заметил место и покрался вслед за турками. Глянул – а над городом сквозь темь и дождь, высоко в небе маячат серые паруса. Христо бежал за турками, держался за мокрый картуз и думал:

«Уйдут турки – все золото мое. Никто не видал: кто в такую погоду нос высунет. Скорее бы ушли турки!»

И вдруг подумал:

«А что, если останется один человек, один каменный человек, – стеречь золото?»

– Нет, – сказал Христо. – Нет, я прибегу раньше них на пристань, я всех пересчитаю: ровно сорок их было, если сорок уедет, значит, мои деньги.

И Христо пустился переулками бегом, скорей, в обход к пристани. Тихонько прокрался к мешкам и заполз под брезент. Дождь перестал уже и не стучал по брезенту, как по железной крыше. Только ветер еще злее рвал с моря и нес брызги на берег.

Христо стал прислушиваться: идут, идут турки. Вот остановились и стали один за другим спускаться вниз. У Христо глаза слезились от ветра, но он не мигал и считал:

– Раз, два... Вот тридцать девять турок спустились в шлюпку. Один остался на пристани – высокий турок. Он обернулся к городу и сказал на крепком старом турецком языке:

– Прощай, город, – сказал турок. – Похоронили мы грехи наши, похоронил я руку, что отсек мне праведный человек, вместе с моим кинжалом непобедимым.

Поклонился городу – чуть не до земли чалмой, и слез в шлюпку.

Христо перевел дух. Шлюпка подошла к кораблю и как выросла в него.

Взметнул Элчан-Кайя парусами над городом, повернулся и полетел каменный корабль из порта. Вышел в море, и растаяли во тьме серые паруса.

## V

Христо вылез из-под брезента, потер усталые глаза.

«Да что за черт, – подумал грек, – было ли все это?» И вздрогнул. Услыхал – бьются друг о друга, говорят камни.

Фу ты! Да это ветер треплет брезент, а брезент ворочает камни, что навалил по краям Христо.

«Заснул я, привиделось, не был в порту Элчан-Кайя, не ходили по городу старинные турки».

А собака сидит против Христо, смотрит ему в глаза и подрагивает мокрой шерстью на холоду.

И не знал Христо: ходил он за город на татарское кладбище или проспал за полночь, и все привиделось.

Собака знает. А как спросить?

– Филе, Филе, – сказал Христо, – ходили мы с тобой?

Собака подвизгнула и стала тереться мордой о Христину руку. Глянул Христо на море – пусто в порту. Ровно сочит свой красный свет маяк, и стоит в стороне белый парусник.

Вот и ветер стал спадать. Дунул, дунул и оборвался. Мутным заревом дымит за облаками луна. Капнули по небу звездочки. Прошел шторм, выдулся ветер, и плянула с неба спокойная луна. Круглая, ясная.

– А трелля, трелля, плупости это, – сказал Христо и обошел мешки.

Все спокойно. Постучал ногой в камень. Наутро заведующий скажет: хороший человек Христо, уберег мешки Христо. Все убежали, а Христо молодец – иди спать.

## VI

Чуть стало солнце подыматься, пошел Христо домой, и Филос-пес поплелся сзади.

Вошел в дом, жена ахнула.

– Где был, откуда грязи набрался? Точно волокли тебя за ноги по дороге!

Глянул Христо: весь бок в грязи, в липкой глине. Посмотрел на собаку: по брюхо собака вывалилась, на хвосте комьями глина налипла.

Глядит Христо и не знает, что жене сказать.

– Элчан-Кайя, – шепчет Христо я стоит глаза выпучив.

Жена тараторит:

– Снимай, – кричит, – ботинки! Ты пастух или сторож? Смотри, морда вся в грязи.

Пока стаскивал пудовую одежду, надумался Христо, что врать:

– Привезли, – говорит, – хохлы хлеб, полколеса в грязи, обмазался я об колеса.

Помотала жена головой и поставила чайник на мангал.

Смотрит Христо на собаку, собака на него из угла косится.

«Хорошо, – думает Христо, – что собака говорить не может. А то узнала бы баба про золото, испугалась, ни за что не пустила бы и одного червонца взять. Все соседки узнали бы, весь город. Пришло б начальство, и весь клад свезли бы в контору, а Христо остался бы в дураках».

Разве грек может так сделать? Грек и пьяный ума не теряет.

## VII

– Ложись спать, – говорит жена, – наморился за ночь. – И пошла во двор чистить Христину одежду.

А Христо лег и ни минуты не спал. Все думал про золото, про каменный корабль Элчан-Кайя. Никто не знает, никто не видел. Может, и не было. И взглянет на собаку. А собака на него глядит черными глазами.

– Мы с тобой знаем, – сказал Христо и ткнул себя в грудь.

В обед вышел Христо в город. Солнце светит, как будто не осень, а весна настала. Топчется веселый народ на улице, в кофейнях посудой звякают, спорят греки за столиками. В кости играют, кофе пьют. Зашел Христо в кофейню: дай, думает, послушаю: если люди видели – разговор будет. Узнаю, что люди говорят.

Натворила за ночь погода всяких бед: две мельницы положила, рыбакам сетки оторвала и с часовни крышу сдернула. Головами люди

качают, языками цокают, а про корабль – ни слова.

Три чашки выпил Христо и до самого вечера сидел в кофейне. Уж свет стали зажигать, вдруг слышит Христо, кто-то сзади сказал:

– Элчан-Кайя!

Обернулся – видит, за столиком два моряка-парусника и один говорит другому:

– Иду я судном, думал, уж с дороги сбился, а ведь берегом иду. Вот уж должен быть Элчан-Кайя. Прошел уж два тополя – нет и нет Элчан-Кайя. Так и в порт пришел. Повалило, видать, штормом каменный корабль.

– Э, брось масал рассказывать, – сказал другой. – Сколько лет стоял, не может этого быть. Проспал ты или пьян был. Не ушел же в море Элчан-Кайя на каменных парусах?

– Спроси моих людей, – говорит тот, – коли не веришь. Никто не видал. Пойди, найдешь каменный корабль – я тебе на него мое судно меняю.

Тут они встали и вышли.

«Ну, – думает Христо, – значит, верно. Дождусь ночи и пойду за кладбище в степь».

## VIII

Зашел Христо домой, крикнул собаку и пошел мешки стеречь.

Луна вошла и тихую ночь привела. Светит лунная дорога на море, и как капля крови рдеет маяк на молу.

А Христо ждет, чтоб смолк город, угомонился б народ, заперся бы в домах. Высоко уже вошла луна. Вот и город замер, только чуть хлюпает зыбь под пристанью. Нашарил Христо старый чугунный колосник, взял под мышку и тихонько свистнул собаку.

Спит город в белых улицах, а Христо в тень прячется, пробирается закоулками на большую дорогу.

Вот и кладбище татарское. Стоят татарские могилы, каменные столбы на могилах, и чалмы высечены. Блестят на луне.

Покосился Христо на каменные чалмы и позвал собаку поближе. Потрепал по спине.

Вот оно место.

Опляделся Христо быстро кругом и вонзил колосник в землю. Раз, раз! Летит земля комьями. Торопится Христо узнать, есть ли золото, не померещилось ли. Рвет землю, рук не слышит. Тычет колосником. Чует только, как стоят за спиной чалмы на кладбище.

Уж с четверть проковырял Христо. Нет золота.

– Трелля, трелля! – говорит Христо, – привиделось! – А сам все бьет землю злее и злее. И вдруг лязгнул колосник, и блеснуло на луне золото. Христо сразу в пот бросило. Кинул он колосник, выхватил из земли червонец и зажал в кулак. Оглянулся на кладбище.

Спокойно стоят каменные чалмы за оградой, блестят на лунном свете.

В ушах это звенит, или двинулось там что?

– Филе, Филе, – шепчет Христо, – чужой, чужой!

Насторожилась собака, напряжилась. Уркнула глухо.

Нет, все спокойно. Никого.

Запустил Христо горсть в ямку, ухватил червонцы и сунул не глядя в карман. Скорее заровнял ямку, притоптал ногой и бежать прочь.

## IX

Как вор прокрался в порт, за мешки, за брезент и тут вынул из кармана червонец. Старая мусульманская монета, а чистая как вчерашняя. Горит, на луне нежится. Поладил ее Христо и опять в карман.

Тяжелый карман. Звенит, раскачивается, говорит в нем золото. Не утерпел Христо, снова вынул золотой: поплядеть, на руке взвесить. Поцеловал Христо золотой – спрятал. Двенадцать раз за ночь вынимал Христо золото, чтоб поверить, чтоб порадоваться.

Чуть светать стало – пошел домой. В карманах руки держит, чтоб молчало золото. Услышат люди: откуда у Христо деньги?

«Приду домой, – думает Христо, – найду ему место».

Разве грек не знает, как надо сделать?

– Фира, – сказал Христо жене, – я больной совсем. Никакой нету силы: тянет в животе, и тошно мне.

Жена зажгла свет.



– Что ты, Христо, что тебе дать? Ты красный какой!

– Дай, – говорит Христо, – огурца соленого, мне лучше будет.

Жена побежала в погреб, принесла пару огурцов, а Христо швырнул огурцы.

– Жаль тебе хороших огурцов мне дать. Это не огурцы – жабы болотные.

Три раза Фира бегала, а Христо все больше ругается. Заплакала – бросила ключи.

– Иди, – говорит, – сам, ты как с ума сошел. Видать, болезнь в голову бросилась.

А Христо поднял ключи и пошел. Нарочно ключами бренчит, чтоб не слыхала жена, как золото в карманах переливается.

Пошел в погреб. Вырыл в углу яму, схоронил золото и засыпал землей, а сверху картошкой закидал. Один только червонец оставил Христо.

## X

А когда ушла жена на базар, Христо вышел, запер двери и побежал на слободку к старому еврею.

Еврей жил на самом краю в последнем доме. Древний старик. Весь в белой бороде как в снегу.

Христо вошел в темную комнату: одно маленькое окошко и то рядом завешено.

Еврей посмотрел на Христо красноватыми глазками, и показалось Христо, что он все знает: и про клад, и про Элчан-Кайя.

И подумал Христо: «Задушить еврея».

А старик сидел, барабанил сухими пальцами по столу, брякал ногтями и смотрел, моргая, на Христо.

Минуту Христо стоял и дышал, как корова, и сказал наконец:

– День добрый!

Разве грек не понимает, как дело делать?

– Здравствуй, – сказал старик и сложил руки под тощим животом, а пальцы один вокруг другого бегают.

– Вот, – говорит Христо, – дядя мне из Турции с верным человеком деньги послал. Старые деньги.

И показал Христо турецкий червонец.

Еврей подошел к окну, отдернул рядом и поглядел на червонец. Стукнул о подоконник.

– Старые деньги, – сказал старик. – Крепкие деньги.

Попробовал на зуб:

– Каменные это деньги.

Христо кровь в голову бросилась, а старик задернул рядом.

– Хочешь двадцать рублей?

Отсыпал он Христо двадцать серебряных рублей. Христо завязал их туго в платок, забил в карман и пошел прочь, и дверь забыл закрыть.

Раньше жены вернулся Христо. Достал лопату и наточил ее на камне, наточил как бритву. Обернул ее мешком и сунул под крыльцо.

На ночь взял с собой лопату, свистнул Филоса-собаку и ушел в порт.

Ночь стояла тихая, звонкая. Тугой свежий воздух стоял над степью. Как Христо не таился, ярко щелкают сапоги по камням. Снял Христо сапоги и босиком засеменял по холодной дороге. Собака сидит сторожит, а Христо роет. Хрустит лопата, а грек оглядывается, не идет ли кто. Но вот уже отрылся клад, блестит, как золотая лужа на луне. Глянуло золото Христо в глаза. Шире, шире раскопать! Уж не оглядывается Христо ни на дорогу, ни на кладбище: тычет лопатой, кидает наотмашь землю. Шире бы, шире открылось золото! Вот уже круглым озером стоит и золотой рябью играет на луне, как шевелится все. Глядит Христо и думает:

«Мое, мое это озеро!» И стал руки окунать в золото. Вот оно, вот, как вода, как море переливается. Ниже, ниже наклоняется Христо. По локоть закопал руки. Вот оно, глубокое льется, всплескивает звонкими плесками.

И бросился Христо в озеро, лег и греб под себя золото. Золотыми брызгами летели на луне червонцы и падали со сладким звоном. Нырнуть захотелось греку, зарыться с головой. Закопаться в тяжелое золото.

Зарыл лицо в червонцы, огреб руками золото и замер. Прильнул – не шевелится.

И вдруг слышит: шелохнулось что-то внизу и хрустнули под спудом червонцы. И тут вспомнил Христо про руку с кинжалом.

Вскочил и прыгнул на землю. Собака с испугу вбок метнулась. Встала, раскорячась, и смотрит на хозяина. А Христо отбежал шагов сорок, оглянулся. Ласково нежится золотое озеро в черных берегах, не шелохнется. На небе луна стоит, лбастая, мирная и будто в сторону смотрит.

– Нет, – сказал Христо, – трелля, трелля: показалось. – И позвал собаку.

Подошел к золоту, стал на берегу: показывает собаке, тычет пальцем в золото и шепчет прерывисто:

– Филе, Филе, чужой!

Собака сторожко стала над золотым озером, потянула носом и вдруг ощетинулась черной шерстью. Глаза налились. Ворчит собака, дышит зло и глаз не сводит с озера.

– Ну, – говорит Христо, – стереги, стереги, Филе.

Схватил мешок, наплескал туда червонцев, а потом стал очертя голову забрасывать золото землей.

Как же! Оставит грек золото у проезжей дороги!

Отошел Христо шагов сто, стал, оглянулся и смотрит. Брови сдвинул. Смотрит, спокойно ли лежит золото под землей. И Филос рядом стоит, вперед подался.

И показалось Христо, что чуть шевелится земля над золотом, и собака оскалилась, заворчала.

Да нет! вздор! Туча по луне прошла. Качается сонная луна на облаках и вот мутится все на земле, шатается.

Плюнул Христо, свистнул весело собаке и пошел с тяжелым мешком.

– В чем дело? – сказал Христо вслух. – Я тебя не трогаю, лежи себе на здоровье. Какое твое дело? Держи свой кинжал заклятый!

А дома закопал Христо золото под картошкой.

И стал думать, как перенести домой весь клад. Так таскать – беда: заметят люди и тогда пропал. Все пропало и все скажут: дурак Христо, болгарин и тот так не сделает.

А! Разве грек не выдумает, как сделать?

В обед сидел Христо дома. Фира ему поставила на стол баклажаны. А Христо говорит:

– И что баклажаны – баклажаны! Вчера были баклажаны. Что у тебя каждый день понедельник? Пооди купи полквартины вина. Я тебе расскажу. Радость у нас.

И звякнул по столу рублем.

– Что, что? – кричит Фира, – говори, дорогой мой, хорошенький!

А Христо крикнул:

– Бре! Неси вина вперед.

Выпил Христо стакан. Фира против него сидит на табуретке. В глаза смотрит, трет коленки руками, ждет.

– Вот, – сказал Христо и поставил пустой стакан. – Вот прислал мне из Трапезунда дядя деньги.

– Ой, поставим плиту, Христо! – говорит Фира и к мужу придвинулась, – довольно мангал этот.

– Бре, – говорит Христо, – плита, плита! Плита – глупости. Я лошадь куплю. Дроги куплю. Бочку поставлю и буду воду возить людям. Хорошую воду. С горы воду: Темиз-су.

У Фире слезы в глазах заблестели. Помолодела гречанка.

– А не лучше – рыбой торговать будем?

Христо замахал руками:

– А, скажет баба, что по горшку поленом! Рыбу постом кушают, а воду каждый день пьют.

Купил себе Христо клячу у цыгана, справил бочку на колесах. Два ведра сбоку повесил и лейку жестяную.

– Ну, – сказал Христо жене, – я с ночи буду выезжать и уж до свету буду с водой в городе. Еще никто мангал не разводил, а Христо уж будет по улицам в ведро колотить: вода темиз-су!

– Вот какой ты у меня! – говорит жена.

– Э! Бре! Грек не знает, как воду возить?

Ездил Христо в горы к источнику, набирал полбочки воды. А как назад ехать, становился около клада и насыпал в воду золота.

Уже все золото перевез Христо. На один раз только осталось.

Везет Христо в город бочку, тарыхтят по мостовой колеса. Ведра звякают, танцует на боку лейка, бьется о бочку, а Христо изо всей силы колотит ведро и не слышно, как звенит в воде золото.

Запоздал нынче Христо: дорогой шлея лопнула, завозился. Уж солнышко высоко, люди с базара идут, а он только в город въезжает. Мелкий дождик закапал, что слезы. Небо низкое, и скучно в улицах, как в сырой комнате. Люди сгорбились и ходят как больные, укутанные.

Один Христо орет на всю улицу веселым голосом:

– Вода темиз-су! Кому воды?

И бьет в ведро, как цыган в бубен.

«Еще раз, и все золото дома», – думает Христо и заорал во всю плотку:

– Ой, кончаю, кончаю! Подходи, кончаю!

И вдруг видит: идет по панели старый еврей, по уши замотанный вязаным шарфом, и белым веником торчит из ворота борода. Оглянулся еврей на Христо и подошел не спеша.

– Ну, дай напиться, коли хороша вода.

«Принесло его, черта», – подумал Христо, остановил лошадь. А кляча тяжело дышит. По самые оглобли раздувает бока.

– Во что я тебе налью? – говорит Христо.

– Лей! – говорит старик и подставил горсть. Сам смотрит на Христо. Хотел грек оттолкнуть еврея, оглянулся, уж люди смотрят: чего старик из бочки пить просит среди улицы в осенний дождь?

Дернул Христо чоб, и побежала вода на мостовую светлой дугой. Набрал еврей в горсть, отхлебнул.

– Спасибо, – говорит, – хороша вода, – и губами почмокал, – золотая эта вода! – и опять глянул на Христо.

Ударил Христо по кляче – поломал кнутовище.

– Зарезать черта паршивого, задушить надо гадюку, – сказал Христо.

### XIII

Пригнал бочку домой и до вечера стерег с крыльца воду с золотом. Все старый черт из головы нейдет. Убить такого – семь

грехов простится. Сидит, старая рухлядь, днем в потемках, а ночь читает толстые книги по корявым буквам. А что там каракулями написано? Все там есть, говорят люди. Про все они, проклятые, знают!

#### XIV

Выпил с досады две кварты крымского вина Христо и ночью погнал свою клячу на большую дорогу прямо к татарскому кладбищу.

Луна уже поздняя была, и темно было дорогой. Грязь липкая клеит колеса. Еле тянет в гору проклятая кляча.

– Рвань ты! Сатана! Анафема!

Вырвал Христо из плетня здоровый прут держи-дерева, руки об колючки изодрал, и стал колотить по лошади.

– Довези ты меня до дому и сдохни, панукла!

Возьмет свое грек. Пусть тут Чатырдаг на дороге станет.

Темно. Еле нашел место Христо. Стал копать, рвать землю. Швырял во все стороны.

– Дорвусь, – шепчет Христо, – возьму свое и пусть тут яма останется. Пусть дураки думают, зачем яма копана.

Хорошо берет лопата, как бритва острая.

Христо стал лопатой нагребать скользкое золото прямо в бочку. Конец уже. Ковырнул впотьмах: и вот она рука, вот он кинжал.

– А, – сказал Христо, – ты что на меня кинжалом наставилась? Будет грек турецкого кинжала бояться!

Спрыгнул грек в яму, наступил коленом на руку и стал разжимать пальцы.

Крепко держит проклятая турецкая рука. Кольцо на руке царапается. Христо губы прикусил от натуги, стал бить кулаком по мертвым пальцам.

Собака рядом возилась, лаяла во всю плотку. Уж все равно было Христо. Схватил он лопату и стал со всей силой сечь по проклятым пальцам. Как капусту в корыте толк Христо и на куски, в кашу истолок руку.

Взял кинжал.

Отер о землю рукоятку и сунул за пояс, за спину. Потом плюнул в яму, нашвырял ногой земли и тронул домой.

– Моя взяла! – сказал Христо и пошел весело под гору.

Проходил мимо татарского кладбища. Маячат каменные чалмы впотьмах.

– Эй, вы, каменные башки! – крикнул Христо и стучал кнутовищем по чалмам, где мог достать.

Весело стало Христо. Сел на дроги, ударил по кляче и пустился вскачь под гору. Звенит сзади золото, как смеется.

Бре! Разве не вырвет грек у турка золото? И кинжал ихний заклятый заткнул грек за пояс.

Запрятал Христо золото в погреб и лег спать веселый.

А наутро жена сказала, что сдохла кляча.

– Тьфу! – сказал Христо, – туда ей и дорога. Перережь ей горло и продай татарам.

## XV

На берегу под обрывом стояла хата. В ней жил старый мастер Мустафа-Али-Оглу Измирдан. Перед домом стояла широкая турецкая фелюга: килем на чурбанах, кольями подперта. Мустафа жмурился на низком осеннем солнце, шурил глаз и смотрел на фелюгу.

У фелюги бок пробит, торчат дубовые ребра. Ободрала бок на камнях. Теперь терпит, ждет. А Мустафа острой стамеской кромсает деревянные лохмотья.

Рыба в море не ждет. Надо к среде ребятам спихнуть фелюгу в воду. Спешит Мустафа, упрел, стружки в бороде и красный фес на затылок съехал.

И вдруг из-за фелюги черный пес: выскочил, мохнатым хвостом машет, а за ним веселый грек Христо – крепкие усы, зубами светит, стучит прутиком по фелюге.

– Э, здорово, Мустафа Измирдан! Зачем тебе это барахло? – и ткнул Христо большую фелюгу под брюхо. – Что ты, сапожник, что весь век латки ставишь?

Мустафа надвинул фес и посмотрел из-под руки:

– Здравствуй якши-адам, здорово, хороший человек. Что ты кричишь?

А Христо на месте не стоит, шуршит ногами в стружках.

– Такая мастеру работа нужна? – кричит. – Вот, я тебе работу дам!

– Идем в хату, – сказал Мустафа и пошел к двери.

– Вот, – говорит Христо, – сделай мне новую фелюгу. Сделай, чтоб крепкая была, как бочонок, плотная, как орешек. Кругом крытая, чтоб ни щелочки. Чтоб как утка на волне играла.

Мустафа сидит на полу у стены и глядит на Христо. А Христо подсел к нему на корточки и прямо в лицо ему кричит:

– Большие паруса поставим, чтоб летала фелюга. На триста пудов грузу надо. Дубовые ребра, дубовый водорез!

– А что делать будешь? – спросил мастер.

– Рыбу буду возить, камсу, селедку из Керчи. По триста пудов.

– Умное дело, – сказал старик.

– Триста рублей, твой лес, – сказал Христо и встал.

Долго старик смотрел в пол, потом вскочил как молодой.

– Идем, – говорит, – я тебе лес покажу. Демир! Железо, не дерево, – и взял Христо за рукав.

Ударил по рукам и оставил Христо мастеру сто рублей.

– Хорошо, – говорит старик, – найму людей, скоро сделаем. А работу мою все знают.

И построил Мустафа Измирдан фелюгу для Христо.

Скрипка – не фелюга: гнутая, стройная, натяни только струны – запоем.

## XVI

Прощается Христо с женой Фирой на пристани.

– Ну, довольно, – говорит, – я воду возил, пускай она меня повозит. Пойду за рыбой в Керчь. Ты меня скоро не жди.

Поднял парус Христо, только оттолкнулся от берега – прыгнул с пристани Филос-пес.

– Тьфу на тебя, – сказал Христо.

Не вернулся: нехорошо, говорят, назад раньше времени поворачивать.

Долго Фира вслед смотрела: горят на солнце новые паруса. Режут ветер острым верхом. Вышла фелюга в море. Светит парус на зеленой



воде.

– Как цветок в поле, – сказала Фира, вздохнула и пошла к дому.

До вечера шел Христо берегом. Вот уж два тополя прошел. Смотрит грек туда, где стояла каменная скала Элчан-Кайя: нет, нет корабля. Ходит зыбь над тем местом. Стал смотреть Христо в воду: нет, и в воде не видать каменных парусов.

– Пропал Элчан-Кайя, пропал со всеми турками. А кинжал ихний заклятый здесь за поясом.

И хлопнул Христо по боку, звякнул кинжал в новых ножнах, брякнул серебряными насечками.

– Теперь нечего мне бояться, – и повернул прямо в море.

А что, не знает грек, куда судно вести?

Хорош ветерок дует с берега, распустила широко паруса фелюга и как змейка так и слизывает с волны на волну.

Урчит вода за кормой. Христо стоит на палубе, сдвинул шапку набок и стукнул ногой в палубу.

– Эх, лечу, куда хочу, хочу в Трапезунд, хочу в Инэболи. Неси, посудина.

А Филос свернулся кольцом под мачтой и всякий раз подымал голову, как стукнет хозяин каблуком в звонкую палубу.

## XVII

На третий день открылся берег, переплыл Христо море.

Рассыпался по красному берегу белый город. Будто копыя воткнуты, торчат острые минареты. Как хлеба горбушки, поднялись среди домов турецкие мечети. А вон в порту паутиной стоят мачты. Туда и направил фелюгу Христо. Прямо в Трапезунд угодил грек.

Бре! Может это быть, чтоб заплутал грек в море?

– Ай, фелюга! – говорят в порту, – сама как змея, паруса как облако.

Толпится народ на пристани. Христо бросил канат, десять человек ловить кинулись. И скоро все узнали, что приехал грек с того берега, один с черной собакой.

Пошел Христо в город: бегают, суетится народ, ослы орут неистово, все кричат, суются, топчутся, как будто крупный день пожар

в городе. Все греки – шумливый народ.

Одни турки в тени сидят. Кто кальяном дымит, а кто и соломку сосет – ждут судьбу.

Пробился Христо на базар и стал торговать шелковые платки – большие, вышитые, с золотом, с кисточками. Торговался, охрип. Вороха накупил Христо. Наложил четыре бочки, забил наглухо и покатыл на фелюгу.

«Провезу, – думает Христо, – тайком провезу. И продадут верные люди».

Не ждал Христо, сорвался ночью и побежал парусом домой. На пятую ночь прокрался к берегу. Тихая ночь стояла на море. Черная вода дышит – издали идет усталая зыбь, с того берега.

Свистнул Христо тихонько пять раз и подползла к нему шлюпка. Черные греки-дангалаки сидят. Чернее ночи. Перекатил им Христо четыре бочки, а они ему от себя рыбы насыпали полфелюги. Как серебра налили камсы-азовки.

– Ну, – говорит Христо, – завтра деньги приготовьте, разбойники.

– Хоть нынче ночью, господин, – шепчут дангалаки. – Верный твой товар.

– А кинжал мой вернее, – и вынул свой турецкий кинжал.

И вот горит мутным светом в темной ночи кинжал, змеится по воде серебряный блеск. Христо чуть его из рук не выпустил.

– Айя, метера! – говорят дангалаки. – На сейчас тебе деньги, – и стали разматывать пояса.

«Святое мое дело! – думает Христо. – Некого мне бояться, некого мне бояться», – и пошел к красному маяку.

## XVIII

Фира сидит на фелюге, торгует камсой, глупая баба.

– Не дорожись, – говорит Христо, – дорвалась дура до рыбы.

Хорош ветерок, дует прямо в море. И вот уже вечер ползет на землю.

Можно ли греку – а, диаволос! – терпеть бабьи штуки?

«Слетаю еще, еще слетаю, – думает Христо. – Весь Трапезунд, всю Турцию привезу домой; со всех мечетей ковры сорву; набью

денег полный дом и все куплю! Весь Крым, с Балаклавой и с Севастополем!»

– Скорей ты, баба, давай остатки даром!

И вот белая борода на пристани. Стоит старик и красными глазками хлопает. Стоит старый дьявол, что-то шепчет здоровому хохлу на ухо. Что-то вертит в костлявых пальцах. И показалось Христу, что щурится еврей на камсу, на фелюгу одним глазом.

«Не даст он мне жизни! – думает Христу. – Стал мне старый черт на дороге».

Что, грек не знает, как тарарам сделать?

– Что?! – орет Христу, – что ты говоришь?

А еврей не смотрит – шепчет хохлу в ухо.

– Что тебе, собачья душа, надо? – и зашагал Христу по доске на берег.

«Пхну в воду старого черта, – думает Христу, – за него ответа не будет. Его ветром валит». И тискается Христу к еврею.

А старик держит в руке перстень, тычет на него хохлу пальцем. Горит как кровь на перстне красный камень.

– Ты что? – наступает на старика Христу: узнал Христу турецкий перстень.

– Колечко человек торгует, – шепчет еврей, пятится.

Толкнул его Христу, как бумажный опрокинулся старик, а кольцо упало в море. Бросились люди подымать старика.

– Что ты, сдурел? – кричат греку.

А Христу на фелюгу, тискается меж людей.

– Зачем не зарыл могилы? Бросил там руку! На мертвой руке это кольцо блестело!

– А, проклятое племя! Семя Иудино! – бормочет Христу.

– Да, – говорит сосед, – этот плянет – молоко киснет.

Рассердился Христу, выкинул камсу в море.

– Фира! Иди домой! – кричит. – Нечего тут бабам делать! Живо!

Фиру в спину толкнул. Завизжал Филос: ногой его в зад стал колотить Христу. Обрезал канат, обрезал якорь, и в море.

Один Христу в море, не взял и собаки, думает: зачем старик бросил в море перстень? Кто его там подымет!

– Э! Когда высохнет море, пускай берут свой перстень каменные турки! Ничего не сделал ни кинжал, ни перстень – один Христу да

лопата. Трелля! Святое мое дело.

## XIX

Набрал Христо двенадцать бочек платков, ковров и целый бочонок масла розового.

«Отдам масло в собор, – думает Христо, – и буду святой человек».

Вот уж третья ночь. Низкое небо стояло и стал ветер. Повисли паруса. Одно море кругом, и один Христо среди моря. И вот пошла зыбь с востока – видно, там работает ветер. Слепые зыбины ходят. Чуть по гребешкам всплескивают. И показалось греку, что ищет слепая зыбь фелюгу, щупает гребешками. Тронет фелюгу, обшарит, как слепой, и покатит дальше. Сидит Христо, руль держит, сжался, съежился, а фелюга болтает обвисшими парусами и нет ходу.

Огляделся Христо и никого не видать, только черно стало с востока. Идет ветер – левант. Двинул ветер в паруса, и понеслась фелюга, как с испугу. Оскалилась зыбь, пошла белыми гребнями. Бьет в фелюгу, бросается в паруса.

«Нашла меня, нашла? – думает Христо. – Выноси, фелюга!»

А еще полморя впереди.

Темно стало, и рванул шторм от леванта. Сидит Христо, вцепился в руль и уж не уворачивается от зыби – неси, неси, фелюга! Увидать бы наутро свой берег. Воеет ветер в снастях. Остановится черная зыбь над Христо, постоит и разорвется белым гребнем, рухнет на палубу. Мокрый Христо сидит и уж не оглядывается на зыбь. Вдруг слышит сквозь вой, сквозь рев – шум идет от леванта: будто небо оборвалось и метет подолом по морю.

Повернулся грек, плюнул тайком из-под козырька, и показалось, будто облако несется на него, сбоку, с леванта. Не мог плаз оторвать, держался за руль и не знал, куда свернуть. Ближе серое облако. Паруса! Обмер Христо – узнал паруса.

– Элчан-Кайя!

Элчан-Кайя идет на каменных парусах, уходят мачты в черное небо и белой пеной режет надвое море.

Вьется фелюга меж зыбей, но уж полнеба закрыл Элчан-Кайя, прямо на Христо идет.

Крикнуть не мог Христо и шепчет без звука:

– Аман! Аман!

И прошел каменный корабль по фелюге, а сам растаял в шторме,  
в черном небе.

## История корабля

Я жил у моря. В порту. Мне было десять лет. Это было летом. Пришел мой дядька и из прихожей, не снимая шапки, закричал мне:

– Если хочешь военный корабль смотреть, сейчас же бери шапку и марш со мной.

Я схватил шапку и побежал.

Военные суда я видал только издалека. Они в порт никогда не входили. Они совсем не такие были, как обыкновенные пароходы, что возят груз. В них какие-то постройки поднимались горкой вверх в середине. Там стояли дымовые трубы. А спереди и сзади из этой горки надстроек торчали как длинные пальцы пушки. Все мальчишки говорили, что это двенадцатидюймовые орудия. Я тоже повторял как дурак. Говорил «орудие» и говорил «двенадцатидюймовое». А почему не пушка, а орудие и что там двенадцатидюймового, это я ничего не понимал. Твердил я это для важности, потому что после этого надо было поднимать кулак и говорить: «Ка-ак ахнет!»

Когда мы с дядькой шли к пристани, я хотел ему похвастаться, что кой-чего уж понимаю, показал рукой, где стояли военные корабли, поднял кулак и сказал:

– Эх, двенадцатидюймовая, ка-ак ахнет!

О том, что было потом, я говорить не хочу, потому что очень плохо вышло.

Дядька ухмыльнулся, на меня скопился и стал меня спрашивать, почему это двенадцатидюймовая и как это она ахнет. Было очень плохо еще потому, что везли нас на корабль на военной шлюпке. А дядька и там не отставал. Штатские были мы с дядькой да какой-то старик. Остальные кругом все были моряки: гребли матросы, а правил шлюпкой молодой офицер. И дядька нарочно при всех громко расспрашивает:

– Ну, а что же в ней двенадцатидюймового, в этой пушке-то? Ты же говорил: «Двенадцатидюймовая-то ахнет».

Все стали смеяться. А я хотел совсем из лодки выпрыгнуть и лучше вплавь на берег плыть, чем так ехать.

Но все-таки до корабля меня довезли, и когда я стал его видеть все ближе и ближе, я уже не слушал, как дядька подтрунивает.

Военный корабль вблизи показался мне таким громадным. И не то что дом, а как будто целый город стоит на воде. Мне даже страшным показалось, что этакая громада держится на воде. Мне казалось, он должен сейчас же пойти ко дну, как каменная гора, которую пустили плавать.

Я очень много узнал, пока нас с дядькой водили по кораблю.

Когда меня сестра дома спросила про корабль: «Что же он, железный?» – я сказал: «Очень, очень железный». И тут я вспомнил, чего я больше всего боялся, когда был на корабле.



Нас водили в огромные круглые башни. Башни были на палубе. Их стены из железа в два кулака толщиной. Из этих башен торчат пушки. Вот это-то самые двенадцатидюймовые орудия. Они тяжеленные, потому что дула у них двенадцать дюймов в поперечнике, торчат они из башни, длинней чем телеграфный столб. Одна такая башня на корабле впереди, другая сзади. Экая тяжесть! Мне сказали, что палуба тоже железная. Она из железных плит толщиной в руку. А сверху эти деревянные дощечки только так, чтоб ходить лучше было. А по бортам, от верху до самой воды, идут у корабля железные плиты такой толщины, что могла бы лечь моя фуражка и козырек не высунулся бы. Я, конечно, понимал, что корабль не утонет из-за всего этого, что он как большое железное корыто. Вон в корыто сколько кирпичей нагрузить можно и то не потонет. Нет, я уж как-то перестал бояться, что корабль потонет от всего этого, я не того боялся, что корабль потонет от всей этой тяжести, а мне вот чего страшно было. Вся эта тяжесть наверху, и вот он стоит теперь, пока все спокойно, а если его чуть качнет, сразу перевесит верхний груз – и корабль перевернется вверх дном. Сразу, мгновенно. Как у меня переворачивались игрушечные лодочки, когда я на них наваливал

песок горбом. Мне все было беспокойно. Я совсем легко себя почувствовал, уже когда мы сели на гребной катер.

Там сидело двадцать гребцов. Рулевой как сказал: «Весла!» – так все гребцы сразу взяли весла, вставили в уключины и выставили над водой. Они их так ровно держали, как будто две гребенки выросли по бокам нашей шлюпки. А потом рулевой сказал: «На воду!» – и все матросы, как один, занесли весла и сунули их в воду. Они их враз опускали и вынимали. Весла всблескивали на солнце, как будто вспыхивал и гаснул огонь. Я очень много узнал за этот день. Не за день даже, а за те три часа, что пробыл на военном корабле. Мне стало смешно и стыдно, как это я ничего не знал, а только кулак поднимал: «Да ка-ак ахнет!»

Я уже совсем засыпал в постели и думал, как это завтра я буду всем мальчишкам рассказывать про корабль и расскажу все, что мне говорили: почему двенадцатидюймовая и как дошли, чтобы толщенными броневыми плитами борта загоразивать. И тут вдруг увидел, что я почти все забыл, что мне говорили моряки. А что я запомнил, так того я не понимал.

И вот с тех пор я стал узнавать, я стал отыскивать книжки, рисунки, картинки, непременно, чтобы про корабли, про корабли.

И вот, что я узнал с тех пор, и постараюсь здесь рассказать. Я сам, только когда вырос большой, понял, почему не переворачивается военный корабль, несмотря на то, что так много у него нагружено наверху.

И мне сейчас вовсе не смешно, что я тогда мальчишкой боялся, чтобы не опрокинулся вверх дном броненосец.

Я все-таки тогда на берегу спросил дядьку: «Не может ли корабль перевернуться?» Дядька сказал: «Чего б это ему переворачиваться? Не так он строен, чтоб ему переворачиваться».

Но потом я узнал, что это неправда, что корабль может перевернуться. Всякий. И военный тоже, если бы пришел великан, подошел бы в воде к кораблю, упер был пальцем в мачту и стал бы корабль наклонять. Моряки говорят: «Кренить». Сначала великану было бы легко кренить корабль. Но чем больше бы он кренил корабль, тем сильнее старался бы корабль выпрямиться. И мачта сильней давила бы великану на палец. И вот когда мачта стоит так, как часовая



стрелка, когда на часах половина второго, великан вдруг почувствует, что сопротивление корабля начинает слабнуть. Мачта слабей стала давить на палец, великану стало легче кренить корабль, и вдруг, когда мачта еще не дошла до воды, корабль сразу упал на бок. А вот он уже вверх килем!

Если бы великан мог точно сказать, с силой скольких тонн он давил на мачту в начале, в середине, в конце крена, мог бы точно сказать, как возрастало и как падало потом сопротивление корабля, тогда бы мы могли записать, до какого крена возрастает это сопротивление корабля – его остойчивость, и как потом она падает.

Сто лет тому назад жил в Англии знаменитый корабельный инженер Джон Рид. Он для каждого корабля делал чертеж, где видно было, как растет и падает остойчивость при крене.

На его чертежах показано, с какой силой корабль сопротивляется крену. Вот когда его положат на пятьдесят градусов, это значит – он с наибольшей силой старается выпрямиться и встать ровно. Но в шестьдесят градусов уже нет никакой силы у корабля сопротивляться крену. Это значит, что если довести его до этого наклона, то он без сопротивления опрокинется, ляжет мачтами на воду или вовсе перевернется. Эта линия начерчена для каждого корабля, ее знает всякий капитан, она называется диаграмма Рида.

И на том броненосце, где я был с дядькой, конечно, была у командира диаграмма Рида. И он знал, при каком наклоне его броненосец уже не будет сопротивляться крену, не будет больше стараться выровняться, а опрокинется как сраженный насмерть.

Конечно, командир знал, что ни при какой волне его не покренит так здесь, в Черном море. И командир был спокоен, хоть огромные тяжести были нагружены вверху корабля.

Но какой же корабль устойчивее: узкий и острый с тяжестью на самой глубине или широкий как лоханка? Узкий и острый с тяжестью внизу, ведь он как доска, которой на ребро надели свинцовую шину да так и пустили плавать. Доска, конечно, наполовину загрузнет и будет торчать из воды как забор. Вы ее никогда не перевернете, она будет вставать как ванька-встанька. Но и болтаться же она будет тоже как ванька-встанька от малейшего толчка. От ничтожной причины ее будет раскачивать сбоку набок, и хоть такое судно никогда не перевернется, но и остойчивости в нем мало.

То ли дело – ящик: широкий, с высокими бортами. Да, его не так-то легко накренить. Если начнешь пихать один борт в воду, будешь стараться его притопить, какое он окажет сопротивление! Как будет стараться он вылезть из воды и стать ровно, как стоял прежде. Вот в том, что широко расставленные высокобортные края ящика не хотят идти под воду, – в этом и вся сила остойчивости широкого высокобортного судна. Это не доска, которую одним щелчком можно раскачать, и она будет качаться, как маятник. Нет, как только вы пустите ящик, он сейчас же выпрямится. И разве разок-другой покачнется и сейчас же станет на воде прочно, будто он стоит на земле.

Ящику вовсе не требуется свинцовый груз под водой. Он и без всякого груза крепко стоит на воде. На таком ящике можно посередине нагородить целую башню со всякими тяжестями, и от этого широкому ящику горя мало, лишь бы не пошли борта под воду. А там, сделай милость, раскачивайся – не перевернись!

Я вспомнил, что броненосец, куда мы с дядькой ходили, был здорово широкий. Я потом смотрел его чертеж. Он прямо как лоханка.

Но как же люди плавали по морям, когда еще никакого Рида не было и никто не знал, как наперед подсчитать, чтобы корабль не перевернулся? А ведь ходили! Вон Колумб переплыл океан на своей «Санта-Мария». Если бы теперь такое судно вздумало взять отход за океан, его не выпустили бы ни из одного порта в мире. Нет, я вру! Именно как раз такому судну, в точности как «Санта-Мария», дали отход, чтобы переплыть океан из Европы в Америку. Это в 1898 году, когда праздновали 400-летие открытия Америки. Сделали точную копию Колумбова корабля. Люди сели и повторили первое Колумбово плавание. Да, только эти «Колумбы» плыли с нянькой: большой океанский пароход шел рядом на случай, чтобы чего не случилось. По счастью, все прошло гладко, и наши «Колумбы» открыли Америку второй раз.

Но когда в 1498 году Колумб плыл открытым морем все на запад и на запад, ни он сам, ни команда не боялись, что их судно перевернется. Они боялись другого: им было страшно, что там земля кончится и что там вода прямо с краю, водопадом срывается в бездну, что туда идет сильный ток, он тем сильнее, чем ближе к краю. Туда

затянет корабль с неудержимой силой, и от той гибели не уйти на парусах. И не спасет никакой якорь.

Того хуже: можно было увидеть в книгах, в работах почтенных страшные рисунки. На одном рисунке было точно показано, как из-за горизонта поднимается страшная рука гиганта. Уже издали до полнеба поднимаются длинные пальцы с длинными на концах когтями. Такая рука может, как муху, накрыть и раздавить корабль. А сирены? В них твердо верили тогдашние люди. Вой ночного ветра в снастях, светящаяся пена южных волн, как все это обманывало испуганный глаз и ухо! Вой ветра в снастях казался пением. Откуда оно? И белые барашки зыбей на ночном море казались белыми телами русалок-сирен. Ага! Они-то и воют. И уж пошли рассказы, что кто-то погибал в море, один или вдвоем, на обломках корабля. Их спасли. И они рассказали, божась и крестясь, что видели днем, как поднялся из моря целый хоровод сирен, днем, в тихую погоду. И они пели чудными голосами. Манили к себе в воду. Погибавшие рассказывали, что если бы они не закрыли друг другу глаза и уши, то они оба бросились бы в море.

А вы думаете, они не видали этих сирен, не слышали их пения? Я много слышал рассказов людей, погибавших в море, людей, на шлюпке, без воды и пищи скитавшихся по десять, по пятнадцать дней, когда погибали товарищ за товарищем и последние, оставшиеся в живых, уже бывали не в силах выбрасывать покойников за борт. Оставшиеся в живых передавали страшные рассказы, они передавали видения и бред своих товарищей. Люди погибали, выбились из сил, они устали погибать. Но неугасимая надежда на спасение, она-то и вызывала видения и бред. Одному казалось, что вот «чухает» мотор, вот прямо им навстречу несется полным ходом спасательный бот. Погибающий в бреду кричит рулевому охрипшим голосом, но что есть мочи: «Право! Право! Держи право!» – а сам ловит руками невидимый канат, который как будто ему бросают спасатели. Если бы этот человек остался жить, он, наверное, рассказывал бы, что к ним подходил спасательный бот, сказал бы даже, какой нации, что бросали канат, а дурак-рулевой не взял вправо, сколько он ему ни кричал.

Рассказывал один полярный моряк: их спаслось на шлюпке двое из восьми. Он наслушался этого предсмертного бреда товарищей, и когда за ним действительно стал «чухать» мотор норвежского

рыбачьего бота, он не оглянулся. Он подумал: «Эге, вот уж и мне начинает казаться!» Он плохо еще верил, когда и он и товарищ увидели рядом догнавших их норвежских рыбаков. Он боялся, что ему чудится то, что он знает, во что верит, что может быть.

И чего удивляться, что старинным людям чудилось то, во что они твердо верили?

Еще не так давно пропала вера в морскую змею. То тот, то другой моряк или пассажир океанского парохода сообщал, что видел ясно в бинокль, другие говорили, что простым глазом, совсем близко, видели громадную змею, раза в полтора длиннее парохода. Змея плыла по морю, подняв высоко из воды голову, страшную, зубатую. На пароходе хотели стрелять, да не было пушки.

А во времена Колумба вы никогда не разуверили бы, что есть морской человек, что он живет и растет в море и что там, на дне, есть морская собака, она как рыба, только на четырех лапах и со страшными зубами. Четырьмя лапами она бежит по дну, а рыбьим хвостом поддает себе ходу.

Вот всех эти страстей и боялись Колумбовы люди, а вовсе не того, что их может опрокинуть ветром, положить парусами на воду.

Паруса на Колумбовой каравелле были совсем не высокие, и центр напора ветра приходился совсем низко. Кроме того, при тогдашней оснастке кораблей мореходы не ходили боковыми ветрами, а всегда так, чтобы ветер дул хоть немножечко сзади. А если он дул уж совсем сбоку, когда опаснее всего опрокинуться, то рулевой поворачивал судно так, чтобы все-таки идти немножко по ветру. Конечно за погодой зорко следили, парусов было мало, и спустить их можно было в один миг, если бы налетела буря.

А уж в этом деле – подследить погоду, направить судно, чтобы меньше заливало волной да чтобы не валил ветер – ох! – в этом деле давно уже люди понаторели. И к Колумбову времени уж столько было опытных специалистов парусного хождения, что их на Средиземном море, наверное, не меньше было, чем в Москве шоферов.

Вот смотрите: несколько лет тому назад в Средиземном море работали подводники. И вдруг водолазы наткнулись на остатки древнего корабля. Он затонул на неглубоком месте, куда еще могли спускаться водолазы. Водолазы сообщили наверх, наверху решили

непрерывно достать. Достать эту древность, которую море так добросовестно сберегало нам до наших дней.

Теперь не сломать бы, как будем доставать!

Достали со всей осторожностью, и что же? Ученые сказали, что этому судну две с половиной тысячи лет. Все тщательно очистили, обмыли. Они сказали, что это судно финикийское, что плавало оно между Тиром и Карфагеном, принадлежало оно торговой компании «Бр. Кукис» и что сейчас оно везло тридцать мехов карфагенского вина.

Ученых спросили:

– Позвольте, вы говорите сейчас?

– Фу, – сказали ученые в один голос, – ведь вот мы нашли росписи и записи, по которым был сдан на судно груз. Это уж совсем как теперешняя бухгалтерия. Все это так похоже на наш сегодняшний день. Вот мы и сказали «сейчас».

Две с половиной тысячи лет назад уже существовала контора по морской перевозке грузов! Значит, отвечали за целость. А от Карфагена до Тира не ближний путь. Это и в наше время не парусник, а грузовой пароход прошлепает недели полторы.

Этому кораблю не удалось доплыть. Но ведь и нынче бывают несчастья, а в прежнее время кроме бурь, туманов и подводных скал была опасность и от людей... Ведет кормчий хозяйское судно. Хитро ведет. Он знает, когда бывают под берегом и где, когда скорей найдешь ветер в море.

В надежных гаванях, на тяжелых якорях он отстаивается, выжидает, пока продуют противные ветры. Он жалеет силы гребцов: они понадобятся, чтобы из штилевой полосы добраться к ветру или чтобы подгрестись к берегу, когда с гор начинает задувать штормовой ветер. Но вот он идет тихим ветром мимо скалистых отвесных берегов. Он глядит на берег, но видит на фоне скал небольшие лодки с большими веслами. Он заметил, когда они уже сорвались, гребут во всю мочь и идут напересечку. Он их увидел тогда, когда высокая гора совсем закрыла ему ветер и паруса безжизненно повисли как большие тряпки. Капитан уже видит, как блестят на лодках щиты, как блещут огоньками острия копий.

– Весла! Весла! – командует кормчий.

– Горе нам! – шепчет брат хозяина.

Ему доверили сопровождать груз. Он даже подумал, не уговорился ли капитан с этими разбойниками. Зачем он так близко подошел к берегу? Зачем он залез в такое место, где нет ветра? Хозяйский брат спускается к гребцам, он кричит на них, бьет, чтобы гребли сильнее. Он кричит капитану, чтобы правил прямо в море. Капитан сам давно уже направил судно носом от берега, он приказал спустить паруса, чтобы не мешали движению судна.

Но разбойники на легких лодках летят по гладкой воде, кажется едва ее задевая.

Эге! Да они с двух сторон охватывают судно! Теперь и они летят прямо в море. Один их ряд справа, другой – слева от корабля, но они смыкаются ближе, ближе. Кто раньше устанет: гребцы на тяжелом корабле или на легких лодках? Вот уже слева полетела первая стрела, пущенная пиратом с передней лодки. Она ударилась, вонзилась в борт и остановилась дрожа. На корабле тоже есть лучники, на корабле есть охрана. Они ответили десятками стрел с борта. Но вот и справа полетели стрелы. Это справа, совсем близко подступили пираты.

– Всем направо! – закричал капитан.

Хозяйский брат тоже что-то кричит, мечется, но никто его не слушает. Он схватил копье, метательный дротик, и бросил его в пиратов. Но дротик упал в двух шагах от корабля. Показалось, что он бросил его за борт.

Гребцы внизу не знали, что сделают с ними пираты, если захватят судно. Может быть, они потопят их вместе с кораблем за то, что они так сильно гребли и долго не давались. Они все были рабы, никто не будет выкупать их, и пираты их, может быть, возьмут, чтобы перепродать хоть за низкую плату. И гребцы не знали, что делать. Они то гребли со всей силой, то их одолевали усталость и сомнение, и они опять гребли тише.

Вдруг к ним спустился капитан и сказал два слова. Гребцы навалились на весла так, что пена взбурлила перед носом корабля. Казалось, вон из воды хочет вырваться корабль и взлететь на воздух. Весла трещали и гнулись. Казалось, сейчас лопнут. Капитан впереди видит черную полосу на воде. Он знал, что туда лег ветер, это от мелкой ряби почернело глянцевитое море. Там не затеняет гора, там он подымет паруса, и тогда пусть-ка гонятся за ним пираты на веслах!

Ветер небось не устанет! Но надо дойти туда раньше, чем схватят пираты.

Капитан вытащил мешок круглых, отборных камней к себе на корму. Он закладывал их в ременный пояс и, раскрутив в руке, швырял их с этой пращи в ближние лодки.

Капитан с детства был мастером этого дела. Он кидал камни из пращи лучше чем солдат-пращик. Поэтому он надеялся не только попасть в пиратскую лодку, но целил там самому высокому воину в башку.

С третьего камня он угодил ему в локоть. Воин бросил лук, схватился за локоть, повернулся два раза на месте и сел на дно лодки. Капитану это поддало духу, и он сбил еще двух пиратов. Капитан кричал, чтобы только в эту первую лодку и метили с его корабля, кто из лука стрелой, кто метательным копьём. Лодка как будто приостановилась, задумалась.

Вторая стала обгонять ее. С левой стороны летели стрелы с пиратских лодок. Теперь они полетели вдруг густо. Капитан хотел поглядеть налево, но он увидел, что его рулевой убит: ему в шею попала стрела. Капитан сам схватил веревки от рулей: от двух больших весел, которые спускались с кормы справа и слева. Теперь ни к чему было глядеть ему налево: снизу, с воды, крики доносились так громко, и ясно – пираты близко, они сейчас настигнут. С корабля перестали стрелять, видно, все потеряли надежду.

Брат хозяина держал в руке короткий меч, он им размахивал, направляя себе в сердце, и каждый раз останавливался и только слегка касался мечом своей груди. Но каждый раз он пронзительно вскрикивал: «А! А!». На него никто уже не оглядывался.

Капитан давно уже делал какие-то знаки матросам. Он махал им руками. Они его понимали без слов. И вот теперь капитан на минуту освободил свою руку от веревок рулей, он вскинул ее вверх, матросы поняли. Они мигом растянули парус. Он раздулся пузырем: корабль был уже в полосе ветра. Гребцы, не щадя сил, вынесли корабль из безветрия. Двое гребцов упали со своих лавок, бросив свои весла. Может быть, они умерли от натуги. Сейчас было не до них.

Теперь корабль шел на парусах и на веслах. С пиратских лодок завизжали, когда увидели поднятый парус. Пираты налегали во всю мочь. С корабля было видно, как воины били гребцов. Но через

минуту корабль был уже в полосе сильного ветра. Всем стало ясно, что погоня не удалась. Пиратские стрелы уже не долетали, они их пускали с досады, в надежде, что донесет ветер. Капитан велел прекратить греблю. Он велел матросу разносить гребцам вино и воду, сколько хотят. Убирали раненых, их было семь человек. Убит был один рулевой. Два гребца так и не пришли в себя: они умерли с натуги, от разрыва сердца.

Корабль спокойно шел попутным ветром, удаляясь от страшного берега. Два матроса сменили капитана у рулей. Брат хозяина совсем изнемогал от пережитого страха. Он лег щекой на плечо капитана:

– Какое счастье! Спас бог Мардук.

– Не Мардук, а гребцы, – сказал капитан. – Я обещал им свободу за наше спасение.

– Как это? – сказал брат хозяина. Он перестал всхлипывать, отшатнулся и испуганно глядел на капитана. – Ведь не ты их покупал! Или ты обещаешь их выкупить?

– Они себя выкупили: спасли корабль, – сказал капитан. – А на всякий случай меньше разговаривай, потому что я приказал освободить их ноги от оков.

Брат хозяина нахмурился и глядел капитану в глаза.

– Торговаться не приходится, – сказал капитан. – Ты бы лучше радовался, что остался цел. А то продали бы тебя пираты... в гребцы. И пахал бы ты тяжеленным веслом. Ты знаешь: их двое умерло сейчас за свою свободу, спасая тебя и твое добро.

И капитан пошел к гребцам.



## Храбрость

Я о ней много думал. Особенно в детстве. Хорошо быть храбрым: все уважают, а другие и боятся. А главное, думал я, никогда нет этого паскудного трепета в душе, когда ноги сами тянут бежать, а то от трепету до того слабнут, что коленки трясутся, и, кажется, лучше б лег и живым в землю закопался. И я не столько боялся самой опасности, сколько самого страха, из-за которого столько подлостей на свете делается. Сколько друзей, товарищей, сколько самой бесценной правды предано из-за трусости: «не хватило воздуха сказать»...

И я знал, что по-французски «трус» и «подлец» – одно слово – «ляш». И верно, думал я: трусость приводит к подлости.

Я заметил, что боюсь высоты. До того боюсь, что если лежу на перилах балкона на шестом этаже, то чувствую, как за спиной так и дует холодом пустота. Просто слышу, как звенит проклятая холодом своим. И говорю тогда невпопад: оглушает сзади пустота.

Я раз видел, как на подвеске красил купол кровельщик. Метров сорок высоты, а он на дощечке, вроде детских качелей. Мажет, как будто на панели стоит, еще закурил, папироску скручивает. Вот я позавидовал! Да если б меня туда... я вцепился б, как клещ, в веревки или уж прямо бросился бы вниз, чтоб разом покончить со страхом: это самое болезненное, самое непереносимое чувство. Я выследил этого храбреца и вечером пошел за ним. Он пошел прямо на реку. Стал раздеваться. Я рядом. Я, при таком храбреце, пробежал по мосткам до самого края и с разбегу бух головой: глубоко там, не ударишься. Выплыл. Смотрю, мой кровельщик стоит по пояс в воде и плещет на себя, приседает, как баба. Я ему:

– Дяденька, иди сюда, здесь водица свежей.

А он:

– Ишь, приткий какой. Тама, гляди, утонуть можно.

– Да тут тебе по шею.

– Ладно! Неровен час колдобина али омут какой. Ну тебя к лешему. Не мани.

А когда он портки оттирал песком, я спросил:

– А как же выси-то не боишься?

– По привычке.

А поначалу, сказал, что страховито было.

Я решил, что приучу себя к высоте. И стал нарочно лазить туда, где мне казалось страшно.

Но ведь не одна высота, думал я. А вот в огонь полезть. В пожар. Или на зверя. На разбойника. На войне. В штыки, например.

Я думал: вот лев – ничего не боится. Вот здорово. Это характер. А чего ему бояться, коли он сильнее всех? Я на таракана тоже без топора иду. А потом прочел у Брема, что он сытого льва камнем спугнул: бросил камнем, а тот, поджавши хвост, как собака, удрал. Где же характер? Потом я думал про черкесов. Вот черкес – этот прямо на целое войско один с кинжалом. Ни перед чем не отступит. А товарищ мне говорит:

– А спрыгнет твой черкес с пятого этажа?

– Дурак он прыгать, – говорю.

– А чего ж он не дурак на полк один идти?

Я задумался. Верно: если б он зря не боялся, то сказать ему: а ну-ка, не боишься в голову из пистолета выстрелить? Он – бац! И готово. Этак давно бы ни одного черкеса живого не было. С гор в пропасть прыгали бы, как блохи, и палили бы себе в башку из чего попало. Если им смерть нипочем. Ясное дело: совсем не нипочем, и небось как лечатся, когда заболели или ранены. Зря на смерть не идут.

Вот про это «зря» я увидел целую картину.

Дело было так. Был 1905 год. Был еврейский погром. Хулиганье под охраной войск убивало и издевалось над евреями как хотело. Да и над всякими, кто совался против. И образовался «союз русского народа»... казенные погромщики, им даны были значки и воля: во имя царя-отечества наводить страх и трепет. В союз этот собралась всякая сволочь. А чуть что – на помощь выезжала казачья сотня, на конях, с винтовками, с шашками, с нагайками. Читали, может быть, про эти времена? Но читать одно. А вот выйдешь на улицу часов в семь хотя бы вечера и видишь – идет по тротуару строем душ двадцать парней в желтых рубахах. Кто не понравился – остановили, избивали до полусмерти и дальше. Дружина союза русского народа.

В это время как раз приходит ко мне товарищ. Приглашает дать бой дружине. Днем, на улице. Я ни о чем другом тогда не подумал, только: неужто струшу? И сказал: «Идет...» Он мне дал револьвер. А

за револьвер тогда, если найдут, ой-ой! Если не расстрел, то каторга наверняка. Уговорились где, когда. «И Левка будет». А Левку я знал. Я удивился: Левка был известен как трус. Его называли Левка-жид, и он боялся по доске канаву перейти. И Левка. Место было то, с которого начинала орудовать дружина. Нас было семь человек. Мы растянулись вдоль улицы под домами. Вот и желтые рубахи. Улица сразу опустела – еврейский квартал. Дружина идет строем по тротуару. Мы стоим, прижавшись к домам. Нас не видно.

У меня сердце работало во всю мочь: что-то будет? Чем бы ни кончилось, все равно замечен и потом... Все равно найдут. Стрельба на улицах... Военный суд. Виселица.

Вдруг один из дружинников поднял камень, трах в окно. В тот же момент выстрелил наш вожак. Это значило – открывай огонь. Наши стали палить. Мой выстрел был седьмым. Но я думал, что есть еще утек: есть возможность замести следы. Дружина шарахнулась. Их начальник что-то крикнул, все встали на колени и стали палить из револьверов. И вдруг Левка выбегает на середину улицы и с роста бьет из своего маузера. Выстрелит, подбежит шагов на пять и снова. Он подбегал все ближе с каждым выстрелом, и вдруг все наши выскочили на мостовую, и в тот же миг дружина вскочила на ноги и бросилась за угол. Левка побежал вслед, но его догнал наш вожак и так дернул за плечо, что Левка слетел с ног.

Дружина постреливала из-за угла. Через пять минут уже взвод казаков дробно скакал по мостовой. Дал с коней залп. Левку держали, чтоб он не бросился на казаков. А я только со всей силой удерживал ноги на панели, чтоб не понесли назад. А грудь – как железная решетка, через которую дует ледяной ветер. Мы, отстреливаясь, благополучно отступили. Не знаю, много ли стрелял я.

Я сразу не пошел домой, чтоб запутать следы, наплести петель. А Левку едва вытолкали из улиц, он плакал и рвался.

Я испытывал храбрость, а у Левки сестру бросили в пожар. Лез не зря. У него в ушах стоял крик сестры и не замолк вопль народа своего. Это стояло сзади, и на это опирался его дух. У меня был товарищ – шофер. К нему подошли двое ночью, и он снял свою меховую тужурку и сапоги и раздетый прибежал домой зайчиком по морозу.

Его мобилизовали. И через два месяца я узнал: летел на мотоциклете с донесением в соседнюю часть. Не довезет – тех окружают, отрежут. По пути из лесу стрельба. Пробивают ноги – поддал газу. Пробивают бак с бензином. Заткнул на ходу платком, пальцем, правил одной рукой и пер, пер – и больше думал о бензине, чем о крови, что текла из ноги: поспеть бы довезти. А чего проще: стать. Взяли бы в плен, перевязали, отправили в госпиталь. Да не меховым бушлатиком на этот раз подперт был дух.

Или вот вам случай с моим приятелем капитаном Ерохиным. Ему дали груз бертолетовой соли в бочонках из Англии в Архангельск. При выгрузке у пристани от удара эта соль воспламенилась в трюме. Бертолетова соль выделяет кислород – это раз, так что поддает силы пожару. А второе – она взрывает. Получше пороха. И ее полон трюм. Ахнет – и от парохода одни черепки. Он взорвется, как граната. Через минуту – пламя уже стояло из трюма выше мачт. У всей команды натуральное движение – на берег и бегом без оглядки от этого плавучего снаряда. И тут голос капитана: заливай. И капитан стал красней огня и громче пламени. И никто не ушел. Не сошла машинная команда со своих мест и дали воду, дали шланги в трюм, и люди работали обезьяньей хваткой. А берег опустел: все знали – рванет судно, на берегу тоже не поздоровится. И залили. Через полчаса приехала пожарная команда. Не пустил ее на борт Ерохин: после драки кулаками не машут.

На что его дух опирался? Да ведь каждый капитан, приняв судно, чувствует, что в нем, в этом судне, его честь и жизнь. Недаром говорят: Борис Иваныч идет, когда видят пароход, которого капитан Борис Иванович. И в капитане это крепко завинчено, и всякий моряк это знает, как только вступает на судно: капитан и судно одно. И горел не пароход, сам Ерохин горел. Этим чувством и был подперт его дух.

А то ведь говорили: как осторожно Ерохин ходит. Чуть карте не верит – прямо торцом в море и в обход. Не трусоват ли? Но поставьте тех, кто так говорил, командовать судном: думаю, и они не ушли бы с пожара, и они бы не проверяли б неверные карты своим килем.

Но вы скажете: «Что большие дела – война да море. А вот на улице».

Да, на улице, на каждой почти улице есть свой Иван. Был и в нашем переулке такой клевый парень, кому все не под шапку. Никому

не уважит. Лезет, хоть на кого. Просто, скажете, смелый, и все тут. Нет, не все. Для него вся жизнь в этой улице, тут его положение держится кулаком. Отступи – пропал. Хоть за ворота завтра не выходи. И когда его подуськивали затронуть здорового прохожего – как ему отказать? Ага! Полез в бутылку! Слабо! И все его положенье героя и «Ивана» повисло на волоске. И он уж кричит через дорогу:

– Эй, ты что смотришь?

(А тот и не смотрит.)

– В рыло давно не заезжали тебе, видать. – И шагает через улицу. Все глядят, как наш-то его.

И прохожему не до того, чтоб в каждой улице драться. Прохожий уклоняется. Ага! То-то. Знай вперед, как рыло держать.

А потом чего-то он перестал с ребятами за воротами стоять, прохожих поджидать. Днем его вовсе не стало видно. Как-то вечером слышу у ворот разговор, его голос:

– Ты сколько можешь осьминых заклепок в час забить? Не пробовал? Вот ты попробуй. У нас есть один, и посмотреть – не видный из себя парень, так он, брат, в час заколачивает – мне в три не кончить. Вот что!

Потом через месяц слышу – он на ребят покрикивает:

– А вы что? Все бузу трете? Чего к человеку пристали! Человек в баню идет.

А раньше самое первое дело: задрать с таким и чтоб бельё в грязь разлетелось.

Вышел из «Иванов», в другом его жизнь, в другом честь – не в улице, в заводе. Не подуськаешь: нет у него ни подъему, ни духу лезть на здорового дядю – улице свою храбрость показывать. Вылетела прежняя подпорка его духа.

А вот еще: один мне говорил, что до того боялся кладбища, что и днем-то его далеко обходил. Раз пришлось отводить домой девочку лет семи. Дорога самая короткая через кладбище. Она ему:

– Дяденька, кладбищем-то ближе всего, только ой! темно уж.

– А ты боишься, что ли?

– С вами-то мне нигде не страшно.

Мой приятель сразу усатым дядей стал. По кресту похлопывал, говорил:

– Да чего бояться, дурашка: он деревянный. Чего он тебе сделает?  
А покойники, они мертвые. Поди, и кости уж сгнили. Ничего там нет:  
земля да крест.

Девчонка к нему жалась, он ее все по головке гладил.

Ну, а потом? Потом снова обходил.

На девочкино доверие оперся его дух.

## Орлянка

Еще вчера, вчера утром, вывезли матросы убитого товарища и положили его под брезентовым тентом<sup>[50]</sup> на пункте Нового мола.

Офицер его застрелил.

Сносчики, мастера, гаванский люд толпились около брезентового шатра, глухо гудели. А бескровный лик покойника непреклонно отвечал одно и то же: он требовал возмездия.

Старый портовый стражник с медалями под рыжей бородой ровнял народ в очередь. А люди подходили, смотрели и снова заходили в хвост, чтоб еще раз спросить покойника. Подходили посмотреть и укрепиться.

Народу все прибывало, и вот торжественная жуть, как тревожный дым, поползла от порта к веселому городу. Все это было вчера, и как месяц, как год прошел до утра.

Какие-то люди стали разбивать казенный груз с водкой, – они не давали заводским бросать его с пристани в море. Какие-то люди стали зажигать пакгаузы, деревянную эстакаду. Они заперли в складе тех, кто не давал громить и жечь, и сожгли их, живьем сожгли в этом пакгаузе под рев пламени, под пьяное «ура».

Огненным поясом охватила порт горящая эстакада. С треском, с грохотом рвались гигантские дубовые балки.

Затлели пароходы, стоявшие у пристани. Горели постройки, и плотным удушливым дымом потянуло от штабелей угля.

И за треском пожара люди не слышали треска стрельбы: это из города пехотный полк обстреливал порт. Полк привели из провинции. Молодые безусые солдаты. Ночью на ярком фоне пламени черная толпа металась по молу. Ее стегали залпами вперекрест. Она выла и редела.

А штиль, мертвый штиль, не уносил дыма, и он стоял над портом обезумевшим и возмущенным духом. Военный корабль спокойно густым колоколом отбивал склянки. Он считал время и молчал. Его уже не боялись на берегу, не ждала от него помощи метавшаяся в огне толпа. И годы протекали от склянки до склянки.

Наутро смрад стоял над пожарищем. Пахло гарью, и ноздри разбирали среди чада этот особенный запах горелого мяса.

На уцелевшем каменном быке эстакады стоял патруль: ефрейтор и два рядовых-новобранца.

Востроносый прыщавый ефрейтор Сорокин с высоты быка осматривал пожарище и пустую улицу: безлюдную, с мертвыми воротами. Как очки на слепом, темнели стекла окон.

Рябой белый солдат, курносый, без ресниц – Рядков, надо же такое – Рядков! Рядков смотрел на пожарище – дым еще шел от угля и складов – и лазал солдат в карман – по локоть запускал руку. Вынимал семечки: с махоркой, с трухой. Тощие последние подсолнухи.

Утро было теплое, летнее, парное. Но после бессонной ночи казалось свежо, и все трое ежились.

– Которые проходящие – тех бить; никого чтоб не выпускать! – это говорил ефрейтор Сорокин, не глядя на рядовых. Служба на лице и серьез. Сильный серьез: ефрейтор не глядел на рядовых, а все осматривался по сторонам. Дельно и строго.

Рядовой Гаркуша верил, что все сгорели и никто не явится. Хоть и было жутко: а вдруг какая душа спаслась. Бывает.

Рядков еще раз обшарил карман, и стало скучно.

И вдруг ефрейтор Сорокин крикнул:

– Стреляй!

Рядков дернулся. По приморской улице, шатаясь, шла фигура. Кто б сказал, что это человек в этом сером утре? Серый шатается вдоль серой стены. Угорел или с перепою? Как травленный таракан, еле полз человек, спотыкался, шатался, чуть не падал, но шел. Упорно шел, как мокрый таракан из лужи.

– Паль-ба! – скомандовал ефрейтор.

Рядков дергал затвором и выбрасывал нестреленные патроны наземь.

– Дервня! – сказал Сорокин, – сопля! Пройдет... Почему пропустили? Бей!

И Сорокин сам вскинул винтовку.

Человека плохо было видно. Можно б и не заметить.

– Взял винтовку, что грабли! – огрызнулся Сорокин на Рядкова и приложился приемисто, как в строю, – показать дуракам, а они



отвернулись.

Бах! Глянули. А он все идет, спотыкается, а идет.

– А то стоит! Шлея деревенская, – со зла сказал Сорокин.

– Промазал, – шепотом с обиды сказал Рядков.

– Что? – крикнул Сорокин и зло глянул на Рядкова. – Я по движущейся... – и щелкнул затвором, как жизнь захлопнул.

У ребят сердце упало. Не отрываясь глядят на прохожего. Сорокин целит, недохнет. Трах! Прохожий споткнулся, зарыл носом. Лег на панель, не дрыгнул. Но это было далеко – четырехста шагов.

Солдаты смотрели. А он – не поднялся. Посмотрели минуту и молча отвернулись.

– Чтоб и птица не пролетела! Так сказано! – хрипло сказал Сорокин.

Рядков попробовал думать, что вовсе его и не было, серого прохожего. Почудилось, а стрелял ефрейтор в белый свет. Глянул – нет: лежит. Гаркуша сворачивал сигарку. Наспех. Просыпал махру и рвал бумажку.

– Он там и лежал... горелый, – сказал Рядков. Тихо через силу.

– Усе одно, не встанеть, – буркнул Гаркуша. Зло обкусил бумажку и плюнул.

– Бей! – вдруг крикнул ефрейтор остервенело. Как звал на помощь.

Гаркуша зло вскинул винтовку.

Той же дорогой шел человек. Без шапки. Чуть синела рубаха на серой стене. Он тоже шатался, как и прежний. И вдруг стал за два шага перед трупом. Увидал.

Теперь и Рядкову не хотелось пропустить.

Гаркуша выплюнул сигарку, оскалился, зашипел:

– А... таввою мачеху!

Замерла винтовка. Трах! Синяя рубашка метнула вверх рукавами, и навзничь рухнул человек.

Теперь все знали, что уже никого не пропустят мимо этих двух.

И когда выполз третий, то Рядков со второго раза положил – проклятый чуть не убежал. Он упал ничком, и ефрейтор сказал:

– Решка!..

Гаркуша ослабил ртом:

– Давай зато курить усем.

И Рядков вынул махорку.

Пятого бил в очередь Сорокин. Шло полквартиры водки. Разметав руки, прохожий лег навзничь.

– Орел! – в один голос крикнули и Гаркуша, и Рядков.

А они вылезали из щелей, из-за штабелей, мешков, выползали откуда-то из дыму. И теперь на солнце их хорошо было видно.

Орел! Решка!

Решка! Орел!

Гаркуша продул две дюжины пива, злился и мазал.

Он бил в бородатого взлохмаченного человека, который шел будто ничего не видя. Спотыкался об убитых и балансировал руками. Гаркуша переменял патрон и выстрелил третий раз.

Человек повернулся и пошел. Пошел прямо на солдат. Он поднял вверх руку. Конец ее шатался на каждом шагу. Оттуда широко шла кровь.

Гаркуша выпалил.

Человек шел. Он приближался и рос в глазах солдат. Он смотрел прямо на солдат и все шел, не опуская руку.

Все трое приложились вдруг быстро. Руки дрогнули. Они выстрелили разом залпом. А он шел. Они отбежали от края и все трое легли наземь, на середине быка, где их нельзя было видеть снизу.

## «Сию минуту-с!..»

Это было в царское время.

Провожали пароход на Дальний Восток. Стояла июльская жара, и смола, которой залиты пазы в палубе, выступила и надулась черными блестящими жгутами меж узких тиковых досок. Поп сиял на солнце, как луженый, в своем блестящем облачении. Он кропил святой водой компас, штурвал<sup>[51]</sup>, он пошел с капитаном вниз кропить трехцилиндровую машину в три тысячи пятьсот лошадиных сил святой водою. Поп неловко топал и скользил каблуками по намаасленному железному трапу.

– Хорошо, что не качает! – хихикнул мичман Березин своей даме.

Дама для проводов была в шелках, в страусовых перьях, на золотой цепочке играл на солнце лорнет в золотой оправе.

– Ах, страшно, не правда ли, когда буря и ветер воет: вв-вв-ву! – завывла дама и закачала перьями на шляпке.

Но мичман Березин – не простак:

– А знаете, если нам бояться бурь...

– Неужели никаких не боитесь?

– Нам бояться некогда, – и мичман браво тряхнул головой. – Моряк, сударыня, всегда глядит в глаза смерти. Что может быть страшнее океана? Зверь? Тигр? Леопард? Пожалуйста! Извольте – леопард для нас, что для вас, сударыня, кошка. Простая домашняя кошка.

Он повернулся к юту, туда, где в кормовой части парохода был шикарный салон, где сейчас буфетчик Степан со всей стариковской прыти готовил закуску и завтрак из одиннадцати блюд.

– Степан! А Степан! – крикнул мичман Березин. Он взял свою даму под локоток. – Степан!

– Сию минуту-с! – Старик перешагнул высокий пароходный порог и засеменил к мичману.

– Покажи Ваську, – вполголоса приказал Березин.

– Сию минуту-с! – И старик-буфетчик зашаркал начищенными для парада штиблетами в кают-компанию.

В кают-компании он крикнул на лакеев:

– Не вороти всю селедку в ряд! Торговать, что ли, выставили? Охломоты!

Лакеи во фраках бросились к столу, а буфетчик с дивана в своей буфетной уж звал Ваську.

Мичман Березин стоял с дамой, опершись о борт.

– Вы спрашиваете: к тигру в клетку? Родная моя! Но волна Индийского океана рычит громче! Злее! Свирепей! Это тигр в десять этажей ростом. Поверьте...

Но буфетчик уже повалил перед трюмным люком плетеное кресло-кабину японской работы – целый дом из прутьев. Степан – новгородский старик с бритыми усами – держал в руке кусок сырого мяса.

– Готово? – спросил мичман. – Пускай!

– Сию минуту-с!

Двери кают-компании раскрылись. В дверь высунулась морда. Это была аккуратная голова леопарда с большими круглыми глазами, настороженными, со злым вниманием в косых зрачках. Он высоко поднял уши и глянул на Березина. Дама прижалась к мичману. Березин браво хмыкнул и затянулся сигарой.

– Пошел! – скомандовал Березин, подхватив даму за талию.

– Сию минуту-с! – отозвался буфетчик. Он поднял мясо, чтоб его увидел леопард, и бросил на трюмный люк, на туго натянутый брезентовый чехол, который прикрывал деревянные створки.

И в то же мгновение леопард сделал скачок. Нет, это не скачок – это полет в воздухе огромной кошки, блестящей, сверкающей на солнце. Леопард высоко перемахнул через поваленное кресло-кабину и точно и мягко лег на брезент. Мясо было уже в клыках. Он зло урчал, встряхивая мордой, хвост – пушистая змея – резко бился из стороны в сторону. Он на миг замер, только ворочал глазами по сторонам. И вдруг поднялся и воровской побежкой улетел. Он исчез бесшумно, неприметно. Дама трепетно держалась за кавалера. Кавалер, осклабясь, жевал конец сигары.

– Полюбуйтесь, – не торопясь произнес мичман; он подвел даму к трапу, – вот!

Там на палубе, на крепких тиковых досках, остались следы когтей – здесь оттолкнул свое упругое тело Васька. – Вот как прыгают наши кошечки! Кис-кис! – позвал и щелкнул пальцами.

Дама вздрогнула и схватилась за белоснежный рукав крахмального кителя. Васька деловитой неспешной походкой прошел по палубе. Он облизывался.

– Кис-кис! – осторожно пропел Березин: Васька не повел ухом. Он ловко зацепил лапой дверь и ленивой волной перемахнул через высокий порог кают-компания.

– Э, хотите, я его сейчас, каналью, сюда притащу? – Мичман двинулся от борта. – Вы его себе накинете вокруг шеи, горжетку такую. А?

Но дама крепче вцепилась в рукав мичмана и шептала:

– Не надо, прошу, я не хочу... я уйду...

Мичман делал вид, что вырывается.

– Степан! – крикнул мичман Березин.

– Есть! Сию минуточку-с!

Буфетчик вышел из кают-компания, жмурясь на солнце.

– Не надо! Прошу! – сказала дама по-французски.

– Чего изволите-с? – Степан уж стоял, покачивая руку с салфеткой.

Мичман лукаво поглядел на даму. Она отвернулась, покраснела.

– Степан, у тебя... все готово? – спросил мичман и плутовски скоился на даму.

– Графинчики не заморозившись, – полушепотом докладывал старик, – водку надо-с, как льдинку. Особо в такую жару-с. Чтоб запотевши были графинчики. Сами знать изволите-с. Они-то на льду, а я вот как на угольях: ох, быть нам не успеть!

– Ну, ступай, ступай! Не бойтесь, сударыня, это я нарочно, – и мичман взял даму под локоток.

– Кис-кис! – шепнул мичман и осторожно пощекотал локоток.

Но в это время спускались со спардека капитан и гости. Капитан – крепкий старик, лихая борода с проседью расчесана на две стороны. Он сиял золотыми погонами, и на солнце больно было смотреть на его белый китель.

– А вот извольте – на случай пожара. Терещенко! Навинти шланг. Живо!

Матрос бросился со всех ног.

– Ах, только не поливайте! – и дамы кокетливо испугались, приподняли юбки, как в дождь.

– Нет, теперь, батюшка, дайте уж нам покропить! – и капитан захохотал деланным баском.

– Правда, мичман? По-нашему.

Мичман с дамой подошел почтительно и поспешно. Батюшка, завернув в рот бороду, уважительно шурился на сиявшую начищенную медь. Поливка развеселила всех. Мичман смеялся, когда немного забрызгало его даму.

– Ну, принесите же мой платок! – дама смеясь надула губки. – Принесите мой ридикюль, я его оставила там, в кают-компании.

Мичман ловко вспрыгнул на трюмный люк и оттуда одним прыжком – к кают-компании и дернул дверь.

– Эх, молодец он у меня! – довольным голосом сказал капитан, любуясь на молодого офицера.

Мичман Березин распахнул с размаху дверь и вдруг снова запер. Запер плотно, повернул ручку. Он неспешно шагал назад, подняв брови.

– Знаете, мне пришла мысль... – вдруг заулыбался он даме. – Мне очень-очень хотелось бы, чтобы вы воспользовались моим платком, честное слово, – и он достал из бокового кармана чистенький платочек. – Я буду его... хранить, как память.

– Нет, зачем же? Я хочу свой. Ну, принесите же!

Мичман молчал, протягивая платок.

– Ради бога! – шептал он. – Умоляю.

Капитан глядел нахмуясь.

– Быстрота и великолепие, – сказал батюшка капитану, но капитан, не оборачиваясь, кивнул наспех головой: он глядел на мичмана.

– Это неприлично-с, господин мичман! – немедленно отправляйтесь, исполните, что требует дама.

– Есть! – ответил мичман.

Он зашагал к кают-компании. Все глядели ему вслед. У самых дверей он укоротил шаги. Он поворачивал ручку, дергал ее, он рвал дверь, – дверь не открывалась. Он даже раз оглянулся назад. Все смотрели на него. Капитан прищурил один глаз, будто целился.

– Дверь не откроете? – крепким голосом крикнул капитан. – Мич-ман! – и капитан решительным шагом зашагал к двери.

– Я сама, сама! – вскрикнула дама и засемила по мокрой палубе, стараясь обогнать капитана. Вся публика двинулась следом. Но всех обогнал Степан. Степан-буфетчик, запыхавшийся старик, с графинчиками. Их по четыре торчало у каждой руки – зажатые горлами меж пальцев. Запотевшие, матовые – от ледяной водки внутри.

– Сию минуточку-с!.. Сию минуточку-с! – пришепетывал старик, юля и обгоняя гостей.

Он шлепающей лакейской рысцой обогнал капитана; он уцепил пальцем ручку – дверь легко распахнулась. Капитан уже стоял за плечами. У самого порога, по ту сторону дверей, лениво растянувшись, блаженно спал Васька.

– Ах, вот в чем дело! – грозно сказал капитан и перевел глаза на мичмана.

– Брысь, скотина! Брысь, брысь! – фыркнул на Ваську Степан.

Он пнул его стариковской ногой на ходу, с досадой, и леопард прыгнул через порог и, поджав хвост, змеей шмыгнул вон, на палубу, и исчез. Мичман стоял, опустив глаза.

– Моментально отправляйтесь на берег, – сказал капитан. – Ревизор! Списать на берег га-асподина мичмана! Ступайте! – и капитан повернулся к гостям.

Он не видел, как мичман большими, журавлиными шагами описал на палубе дугу, обошел для чего-то трюмный люк два раза вокруг и не понимая, почему это он шагает, пошел к сходне.

Завтрак из одиннадцати блюд сошел шикарно. Капитан вышел в море с двумя помощниками, третьим стоял штурманский ученик.

А в буфетной, после тревог, в одном жилете дремал выпивший «с устатку» Степан-буфетчик. Он развалясь сидел на диванчике. На колени старику положил голову Васька. Он терся лбом о жилет и урчал, как кот. Старик пьяной рукой щелкнул Ваську по уху:

– Я тебя, окаянного, вскормил, вспоил, с малых лет твоих – люди видели, не вру! А ты, шельма, скандалить? Скандалить? Через тебя, через блудную несчастную, человека на берег списали. А через кого? Через меня, скажешь? Тебя я, подлеца, спрашиваю: через меня? Через меня?

Тут Степан хотел покрепче стукнуть Ваську по носу, но в это время ревизор крикнул из кают-компания:

– В буфете!

– Есть в буфете! Сию минуточку-с! – Степан отпихнул Ваську и стал напяливать фрак. – Сию... минуточку-с!



## Тихон Матвейч

Это было в царское время на грузовом пароходе. Он ходил на Дальний Восток. И все это началось с порта Коломбо, на острове Цейлоне. Это английская колония, а туземное население – сингалезы. Они шоколадного цвета, и мужчины здорово похожи на цыган.

И вот на пароход приходят два сингалеза. Один высокий и статный, другой – пониже, широкий, на редкость крепко сшитый человек. Он-то и говорил, высокий больше молчал. Можно было понять, что он говорит про зверей. Он говорил на ломаном английском языке. Его обступили машинисты. Кто-то грубо спросил, где у него левый глаз. Левого глаза, действительно, не было. Он сказал, что глаз ему выбил тигр.

Они с братом охотники. Ловят зверей живьем и продают в зверинцы. Тигр прыгнул, брат должен был поднять сетку.

– В один миг тигр лапами попадает в нее, а вот ему приходится в это время тигру в пасть засунуть руку. В руке бамбуковая палочка, и если сжать ее в кулаке, то с обеих сторон выскакивают короткие ножики и так остаются торчать. Они вонзаются в язык и небо, – сингалез пальцами стал показывать у себя во рту, как становится палочка. – Но если нажать раньше, – палочка не влезет в пасть. А если поставить криво, – пропало все, но уже если удалось, – тигр от боли забывает все. Он лапами хочет выскрести палочку из пасти, лапы путаются в сетке, но тут не зевай: охотники подкуривают его снотворной отравой. Он засыпает, замирает. С ним можно делать что угодно. Они вынимают палку.

– Заливает! Калоши заливает! – сказал Храмцов, старший машинист. Он был атлет и франт. Он франтил мускулатурой и ходил в одной сетке на голом теле, а усики закручивал в острые стрелки. И он мигнул сингалезу нахально и помахал перед носом пальцем. Сингалез показал на груди шрамы. Они как белые восклицательные знаки шли от ключицы вкось к животу. Сингалез был до пояса голый, но казалось, что он в коричневой фуфайке и его закапали штукатуркой.

– Это вот брат не успел, на один всего миг опоздал поднять сетку – и тигр задел его лапой, но зато брат успел выстрелить.

– Сказки! Расскажи еще, как летающих медведей ловил, – говорил Храмцов. Он сделал шагов пять по палубе, но снова вернулся. Сингалец уже говорил про обезьян. Он говорил про оранга. Ловить ездили на остров Борнео. Говорил, что если оранга встретить в лесу и нет ружья, то не стоит пытаться бороться: захочет оранг – и задушит как мышь.

– А велик ли оранг? – спросил Храмцов.

Сингалец показал метра на полтора от палубы.

– А если ему в морду? – и Храмцов замахнулся кулаком. – Бокс, бокс! Понимаешь?

Сингалец улыбался.

Но машинист Марков, многосемейный человек, спросил:

– А почему штука оранги эти здесь, на месте?

Сингалец назвал цену.

– А в Нагасаках?

Да, выходило, что в Японии, если продать немецкому агенту, который скупает зверей для зоопарков, то заработать можно рубль на рубль.

– Дай мне сюда твою обезьяну, так ты у ней зубов не соберешь! – кричал Храмцов и выпячивал грудь. Грудь, действительно, здоровая, и мускулы как живая резина.

– Да брось ты, надо дело говорить, – гнусил Марков и заводил усы себе в рот – это всякий раз у него, как разговор заходил о деньгах. Он пробовал торговаться. Деньги, действительно, большие. Он хмуро оглядел всех и вдруг сказал:

– Айда, покупаю.

– А вдруг сдохнет дорогой? – сказал кто-то.

Марков засосал усы и долго зло глядел на сингалеза.

Но сингалец говорил с братом, потом оба подошли к машинистам.

Они говорили, что пусть поедут посмотрят – есть одна очень здоровая обезьяна. Ух, какая сильная! Не оранг, они ее иначе называли.

Решили сейчас же идти на берег трое, Марков четвертым, глядеть обезьян. Увязался и радист Асейкин, совсем молодой, долговязый: он первый раз попал в тропики и ходил как пьяный от счастья. Он все

покупал дорогой: маленькие вещи из дерева и из кости и все нюхал их. Хотел увезти с собой аромат этой нагретой солнцем земли, аромат зноя, когда начинают пахнуть и сами камни. А машинисты говорили, как бы Маркова не надул сингалез и что цены на зверей есть в каталоге. Где бы достать?

Это был небольшой дворик, и в нем два сарайчика. В один из сарайчиков ввел всю гурьбу сингалез. Сначала показалось темно – и все попятились. Из темноты раздался рев... Нет! Это было мычанье, каким вдруг начинает орать глухонемой в беде, в отчаянии, в злобе, но голос страшной силы и злобы.

Теперь ясно видно стало: сарай был надвое разделен решеткой, железными прутьями в палец толщиной, если не толще, низ их уходил в помост, верх был заделан в потолок. И там, за решеткой, на помосте, стоял, держась за прутья... кто? Сначала показалось, что человек в лохмотьях. Нет! Огромная обезьяна. Она глядела на людей большими черными глазами, страшными потому, что как будто из человеческих глаз смотрели собачьи зрачки, и пламенная неукротимая ненависть была в этом взгляде. Низкий лоб, и короткие волосы острой щетиной.

– Горилла! Тьфу, черт какой, – сказал Марков.

Но в этот момент горилла рванула и затрясла эту железную решетку и заорала мучительным ревом с яркой ненавистью. Она в бешенстве старалась укусить себя за плечо и не могла: железный воротник вокруг шеи подпирал эту голову с клыками, голову гориллы. Клетка трепетала в ее руках. Кроме Асейкина, все выскочили во двор. Сингалез показывал Асейкину на один прут. Его обезьяна вдолбила в потолок настолько, что он поднялся на полфута над помостом. Нижний конец этого прута был загнут крючком. Это она хотела расширить отверстие, схватила рукой и навернула на кулак. Сингалез объяснял, что они с братом ездили в Африку, в Нижнюю Гвинею. Они поймали ее в сетку из толстых веревок. Но она все равно их разгрызла бы зубами, изорвала бы в клочья. Они успели ее подкурить своим дурманом, и она заснула. Они надели на нее кандалы и заперли в клетку. Ух, как она взъярилась, очнувшись. Она в ярости кусала, рвала зубами свои плечи. Ее усыпили снова, надели ошейник.

Марков ругался на дворе, требовал показать товар, о котором говорилось на пароходе. Это в другом сарае.

Сингалез кивнул на гориллу и весело сказал:

– Бокс! Бокс!

Все вспомнили Храмцова. Но Марков торопил. Люди были отпущены на час.

В другой сарай уже не решились войти сразу – через двери глядели. Там, полулежа на рисовой соломе, пузатый оранг искал в голове у другого. Оба оглянулись на людей. Они глядели спокойно, даже с ленивым любопытством. Рыжая борода придавала орангу вид простака, немного дурковатого, но добродушного и без хитрости. Другая обезьяна была его женой.

– Леди, леди, – объяснял хозяин.

У леди живот был таким же пузатым, как и у ее мужа. Большой рот, казалось, улыбался.

Асейкин захохотал от радости. Он совсем близко подошел. Сингалец его не удерживал. Асейкин уж поздоровался с орангом за руку. Сингалец утверждал, что обезьяны эти совершенно ручные, что если их не обижать, с ними можно жить в одной комнате.

Все осмелели. Оранг темными глазами разглядывал не спеша всех по очереди.

Марков ругался:

– Это же пара: разделить, так он от тоски сдохнет. И ведь этикие деньги!

Оказалось, не поняли: эти деньги сингалец хотел за пару, он их только вместе и продает.

Марков повеселел. Он заставил сигналеца поднять оранга, провести, он уже хотел как лошади глядеть зубы.

Нет, цена, действительно, сходная. Разговор шел уже о кормежке.

Асейкин без умолку болтал с орангом. Он хлопал его по плечу и переводил свои слова на английский язык.

– Поедешь с нами, приятель. Ей-богу, русские люди неплохие. Как звать-то тебя? А? Сам не знаешь? Тихон Матвеич? Слушайте, – кричал Асейкин, – его Тихоном Матвеичем зовут!

Асейкин совал ему банан. Тихон его очистил. Но супруга вырвала и съела.

– Не куришь? – спрашивал Асейкин. Тихон взял портсигар двумя пальцами. Асейкин пробовал потянуть. «Как в тисках!» – с восхищением говорил Асейкин. Тихон держал без всякого, казалось,

усилия. Он повертел в руках серебряный портсигар, понюхал его. Сингалез что-то крикнул. Тихон бросил на солому портсигар.

Марков ворчал:

– Еще табаку нажрется да сдохнет.

Сингалез объяснял, чем кормить. Нет! Ничего не понять.

Наконец, решили, что сингалез сам доставит обезьян – Тихона и его леди – и корм на месяц и там покажет на деле, чего и сколько в день давать.

Марков долго торговался. Наконец Марков дал задаток.

Капитан пришел поглядеть, когда Тихон с женой появились у нас на палубе. Капитан бойко говорил по-английски. Сингалез его уверил, что этих орангов можно держать на свободе. Кормежку – все сплошь фрукты – привезли в корзинках на арбе, на тамошних бычках с горбатой шеей. Сингалез определил дневную порцию. Пароходный мальчишка Сережка успел украсть десятка три бананов и принялся дразнить Тихона. Марков стукнул его по шее. Тихон поглядел и как будто одобрил. Асейкин сказал: «Ладно, что не Тихон стукнул, а то бы Сережкина башка была за бортом». Сережка не верил, пока не увидел, как этот пузатый дядя взялся одной рукой за проволочный канат, что шел с борта на мачту, и на одной руке, подбрасывая себя вверх, легко полез выше и выше. Обезьяны ходили по пароходу. Их с опаской обходили все, хоть и делали храбрый и беззаботный вид. Фельдшер Тит Адамович глядел, как Асейкин играл с Тихоном, как, наконец, Тихон понял, чего хотел радист. Тихон взял в руку конец бамбуковой палки, за другой держал Асейкин. И вот Тихон потянул конец к себе, он лежал, облокотясь на люк. Он не изменил позы. Он легко упирался ногой в трубку, что шла по палубе. Да, а вот Асейкин, как стоял, так на двух ногах и подъехал к Тихону Матвейчу.

– Як он захворает, – сказал фельдшер, – то пульс ему щупать буду не я.

– Тьфу, – сказал Храмцов, – это сила? Что, потянуть? А ну!

Храмцов держал за палку. Он дернул рывком и чуть не полетел – оранг выпустил конец. Храмцов снова бросился с палкой. Тихон поднялся, в упор глядя на Храмцова.

– Бросьте, – крикнул Асейкин.

Марков уже бежал крича:

– Ты за нее не платил, так брось ты со своими штуками.

Но Асейкин уже хлопнул Тихона по плечу:

– Знаешь что?

Тихон оглянулся, Асейкин протянул ему банан.

– А я вам говорю, что я из него веревку совью, – говорил Храмцов и, расставив руки бочонком как цирковой борец, важно зашагал.

Но фельдшер Тит Адамович накаркал беду. Ночью леди-оранг стонала. Стонала, как человек стонет, и все искали по палубе, кто это. Стонала она, а Тихон держал ее голову у себя на коленях и не спал. Марков побежал, разбудил фельдшера. Тит Адамович сказал, что можно компресс на лоб, но кто это сделает? Холодный компресс. Но если Тихон обидится? Тихон что-то бормотал или ворчал над своей женой. Марков требовал, чтобы фельдшер дал хоть касторки. Касторки Тит дал целую бутылку, но Марков только стоял с ней около, да и не очень около, шагах в трех, с этой бутылкой.

– Да ты сам хоть пей! – крикнул Храмцов. – Чего так стоишь?

Асейкин сидел в радиокаюте, и к орангу до утра никто не подходил.

Наутро все три компаньона ругали Маркова: обезьянина сдохнет, а Тихон от тоски в воду кинется или сбесится, ну его в болото.

Асейкин один сидел рядом и глядел, как Тихон заботливо искал блох у жены в голове. Он даже хотел помочь, когда Тихон взял жену на руки и понес ее в тень. Какая-то мошкара увязалась еще с берега: Тихон отмахивал ее рукой от больной жены. Леди часто дышала с полуоткрытым ртом, веки были опущены. Асейкин веером махал на нее издали. Но Асейкин просил, чтобы заперли воду, чтобы сняли рукоятки с кранов: оранг их умел открывать. Он наконец оставил жену и пошел за водой, это было ясно: он пробовал открывать краны. Он пошел к кухне, возбужденный, встревоженный. Он шел как всегда, опираясь о палубу, но в дверях кухни он встал в рост, держась за притолку, искал глазами воды. Повар обомлел: он не знал, что собирается делать Тихон, другая дверь была завалена снаружи каким-то товаром, ее нельзя было открыть. Повар боялся, что Тихон обожжется обо что-нибудь или ошпарится – обидится, изъярится, и тогда аминь. И повар потерянно шептал:

– Тиша, Тишенька! Христос с тобой, чего, голубчик Тихон Матвейч? Чего вам захотелось?

Но Тихон обвел тоскливыми глазами плиту и стол и быстро пошел к жене. Он носил ее с места на место, искал где лучше. Но она вся обвисла у него на руках и не открывала глаз.



Уже второй день леди ничего не ела, не ел и Тихон.

Храмцов издевался, Асейкин кричал, чтобы не давали пить. Пайщики махнули рукой. Марков один только не мог примириться с неудачей. Он стоял над больной и приговаривал с тоской:

– Такие деньжищи! Да это лучше бы чаю купить этого, цейлонского...

Но вот леди открыла глаза. Она искала чего-то вокруг себя.

Асейкин вскочил. Он понесся к фельдшеру. Назад он шел со стаканом, с граненым чайным стаканом, в нем была вода, а поверху плавал порошок. Тит Адамович шел сзади:

– Не станет она того пить, а стаканом вам в рожу кинет, увидите. Я не отвечаю, честное даю вам слово!

Но Асейкин сказал свое: «А знаешь что?» – и Тихон оплянул. Он сам потянулся рукой к стакану, взял его осторожно и потянул к губам, но леди подняла голову. Она хотела слабой рукой перехватить стакан. Тихон бережно за затылок придерживал ей голову, и она жадно пила из стакана.

Марков причитал:

– Все одно пропадет, только на чучело теперь...

Тихон передал стакан Асейкину, как делал всегда. Асейкин налил воды из графина. Тихон снова сплил его жене. Третий стакан – за ним не потянулась, отстранила – Тихон сам выпил. Он пил с жадностью: это был третий день, что у него не было маковой росинки во рту. Мы так и не узнали, чего намешал Тит Адамович, но на другой день леди уже сидела. К вечеру она пошла пешком. Тихон поддерживал ее с одной стороны, Асейкин – с другой.

Храмцов уверял, что Тихону надоест, что Асейкин суется, и шваркнет этого приятеля за борт. Но Тихон, видимо, верил Асейкину, и они втроем прогуливались по палубе. Асейкин пробовал тоже опираться рукой в палубу – все смеялись, конечно, кроме орангов. Асейкин уверял, что он уже кое-чему выучился по-обезьянью. Он, правда, каркал иногда, но выходило по-вороньи. Обезьяны повеселели. Боцман поговаривал, чтобы Асейкин выучил их хоть палубу скрести, а то сила такая зря пропадает.

– Какая сила такая? – перебил Храмцов. – Это лазать разве? Так он же легкий сам. А если взяться на силу – ну бороться – да врет этот сингалез, заливаает, вроде как про тигра. Да я возьмусь с вашим Тихоном бороться, хотя бы по-русски, без приемов, в обхватку, да вот увидите.

Храмцов представил, как это он обхватит Тихона, и так это, действительно, приемисто, и так это вздулась, заходила его мускулатура, забегали живые бугры по плечам, по рукам, меж лопаток, что стало страшно за мохнатого Тихона Матвеича с рыжей бородушкой.

– А ну, как Марков будет на вахте, попробуйте, – шепотом сказал боцман.



– А кто ответит? – спросил фельдшер. – Обезьяна-то это фунтов тридцать стоит, на русское золото – триста рублей.

Но Храмцов сказал, что он-то ведь не обезьяна, так что душить ее насмерть не будет. А что положит, то положит.

И теперь уже шепотком, по секрету от Маркова, все переговаривались, что Храмцов будет бороться с Тихоном, бороться будут по-русски, в обхват, и даже назначили когда. Все ждали развлечения. Небо да вода, да день в день те же вахты – невеселая штука. А тут вдруг такой цирк!

Марков только что ушел в машину, когда Тихона привели на бак. Возле носового трюма должна была состояться встреча.

– А он ногой захватит, – говорил Храмцов.

– А сапоги ему надеть, – советовал боцман.

Тихону на ноги надели сапоги с голенищами – это его забавляло. Он любопытно глядел на ноги, и казалось ему самому тоже смешно. Но Храмцов уже стал его обхватывать, командовал, как завести руки Тихона себе за спину. Тихону все это нравилось, он послушно делал все, что с ним ни устраивали. Пузатый, с рыжей бороденкой, в русских сапогах, на согнутых ногах, он казался веселым, деревенским шутником, что не дурак выпить и народ посмешить.



Храмцов жал, но оранг не понимал, что надо делать.

– Сейчас я ему поддам пару!

Храмцов углом согнул большой палец и стал им жать обезьяну в хребет.

Вдруг лицо Тихона изменилось – это произошло мгновенно – губы поднялись, выставились клыки и вспыхнули глаза. Сонное благодущие как сдуло, и зверь, настоящий лесной зверь, оскалился и взъярился.

Храмцов мгновенно побелел, пустил руки. Они повисли как мокрые тряпки, глаза вытаращились и закатились. Оранг валил его на люк и вот вцепился клыками... Все оцепенели, закаменели на местах.

– А знаешь что? – это Асейкин хлопнул Тихона по плечу. И вмиг прежняя благодущная морда повернулась к Асейкину. Асейкин рылся в кармане и говорил спешно:

– Сейчас, Тихон Матвеич, сию минуту... Стой, забыл, кажись...

Храмцова уже отливали водой, но он не приходил в сознание.

В лазарете он сказал Титу Адамовичу:

– Это вроде в машину под мотыль попасть. Еще бы миг – и не было бы меня на свете. А как вы думаете: он на меня теперь обижаться не будет?

– Кто? Марков?

– Нет... Тихон Матвеич.

В Нагасаки, на пристани, уже ждала клетка. Она стояла на повозке. Агент зоопарка пришел на пароход.

Марков просил Асейкина усадить Тихона Матвеича в клетку.

– Я не мерзавец, – сказал Асейкин и сбежал по сходне на берег.

Только к вечеру он вернулся на пароход.

Никто ему не рассказывал, как Тихон с женой вошли в эту клетку – будто все сговорились, – и про обезьян больше никто не говорил во весь этот рейс.

## Кенгура

На парусном судне «Зазноба» служил матросом один литвин, Заторский, пудов на шесть дядя. Силы медвежьей. Бывает, тянут хлопцы брас<sup>[52]</sup>, пятеро их стоит, тужатся, жилятся; Заторский подойдёт, упрется – те только за ним слабину подбирают за кнехт крепят.

Он откудова-то из лесов был и мужицкой повадки своей не бросал: хоть за мокрое берется, а непременно вперед в руки поплюет. Ноги узловатые, как коренья, и ходит, будто за землю хватается, так и гребет.

Бить он никогда никого не бил. Возьтятся с ним ребята, иной раз – в штиль ведь делать-то нечего – бросаются, как собаки на медведя, а он только смеется. Потом поплюет в руки, сгребет троих, что хвороста охапку, и положит, не торопясь, на палубу. Добрый был и неразговорчивый. Это уж когда с полчаса все молчат, он, бывало, вдруг хриплым басом заведет: «А у нас в зиму – самая охота». Смешно: штиль, жара, море – как масло, а он про снег, про берлоги. Только это редко с ним бывало.

На берег идешь: там в случае скандальчик или что – за ним, как за каменной горой – в обиду не даст.

Вот как-то раз сидим мы на берегу в пивной, и Заторский с нами. Денег мало, так что выпиваем потихоньку. Молчат все.

Заторский уж начал объяснять, как у них там на волка капканы ставят, а Простынев вдруг перебивает:

– Идем в цирк!

Идем да идем – и так пристал: болтает, ломается. И ведь черт его знает, как он у нас на судне завелся: в каком-то порту подобрали. Жиденский весь какой-то, скользкий, дрыгается. Ну, слякоть одна.

И вечно врет. То говорит, что из Москвы, то он саратовский. А может быть, он и не Простынев вовсе? То у него мать вдова, то он у тетки жил. Так его и звали: теткин сын.

Выпил он на грош, а орет на весь кабак: в цирк, да в цирк. А по нему, шельме, видно, что это он неспроста. И все около Заторского пляшет, за рукав тянет: ничего, мол, стоить не будет, так пустят, без

денег, у него там знакомые. И крестится и ругается – это все у него вместе.

Пошли мы – так он надоел. Знали, что врал. Так и оказалось: заплатили. С разговором, правда, а все-таки заплатили. Сели.

Смотрим представленьё. Ну, как обыкновенно: лошади, клоуны. Наверху человек двоих в зубах держал. Заторский посмотрел:

– Ну, – говорит, – ежели этот кусит...

И головой только помотал.

Под конец музыка остановилась, выходит человек в вязаной фуфайке и с ним кенгура. В рост человека зверь, серой масти. На задних ногах, как на лыжах стоит; передние лапки короткие, как ручки. И на всех четырех лапах у него рукавицы шарами и крепко к лапам примотаны ремешками.

У этого, что его вывел, такие же шары на руках. Вышел распорядитель на середину и говорит:

– Сейчас почтеннейшей публике австралийский зверь кенгура покажет упражнение в боксе. Редкий случай искусства.

И вот этот человек в вязанке давай наступать на свою кенгуру с кулаками.

Она живо заработала ручками – трах-трах! – лап не видно. Хозяин отбивается, но, видать, она его не очень-то садит – ученая.

Всем смешно, все хлопают. Тут снова музыка ударила, и кенгура перестала драться.

Опять выходит распорядитель, поднял руку, музыка остановилась.

– Вот, – говорит, – публика убедилась наглядно, как работает австралийский зверь кенгура! Желающие испытать свои силы, могут выступить в бой без перчаток. Кенгура работает в перчатках. Если кто победит зверя, получает немедленно тут же сто рублей деньгами.

Весь цирк молчит – слышно, как фонари жужжат.

Вдруг слышу:

– Есть желающий!

– Здесь!

Гляжу – это Простынев орет. Подплясывает, тянет Заторского за рукав. Заторский стыдился, покраснел, отмахивается. Весь цирк на него пялится, орут все:

– На арену! Га! А!

Такой содом поднялся. Заторский в ноги глядит, а Простынев, теткин сын, вскочил на сиденье, на Заторского руками тычет – «вот! вот!», да вдруг как сорвет с него фуражку и швырнул на арену.

Заторский вскочил – в проход, вниз, через барьер, за фуражкой.

Только он на арену – кенгура прыг! И загородила фуражку. Головка у ней маленькая, собачья, стоит и кулачками пошевеливает – и около самой фуражки.

Тут распорядитель махнул рукой, и барабан в оркестре ударил дробь.

Заторский что-то кричит на кенгуру – ничего за барабаном не слышать, – а кенгура на него хитро так и зло глядит и все кулачками шевелит. Дразнит. Уперлась хвостом в песок, хвост у ней мясистый, упористый – твердо стоит, проклятая.

Заторский на нее рукой, как на теленка, по-деревенски – видно, отпугнуть хотел.

Вдруг кенгура задней ногой, как лыжей, – бах ему в живот. Да здорово! Заторский так и сел, глаза выпучил. Вдруг, вижу, озверело лицо, побагровел весь, вскочил да как заревет быком – куда твой барабан! Как рванется на кенгуру – раз! раз! Сбил с ног и с хвоста, с этого, насел. Весь цирк на ноги встал, и барабан оборвался.

А Заторский и себя не помнит: где и что. Сидит на кенгуре и молотит, морду ей в песок вколачивает.

Хозяин к нему – куда тут... И распорядитель и циркачи все вскочили – еле оторвали. Поставили Заторского на ноги.

Он огляделся, вспомнил, где он, и бегом в проход, вон из цирка, как был – без шапки. Мы за ним.

Нагнали его на углу. А он отдышаться, отплеваться не может.

Я ему:

– Чего ты озверел-то?

– Тьфу, – говорит, – обидно... зверь ведь... а с подлостью.

А тут Простынев нагоняет.

– Получил, – говорит. – Половина мне, потому без меня ты и не пошел бы!

Смотрю, Заторский снова озверел, как зарычит:

– Иди ты к...

Простынева и след простыл. Больше мы его и не видели.

А кенгуры три недели в афишах не было, так мы и в море ушли.

## Беспризорная кошка

### I

Я жил на берегу моря и ловил рыбу. У меня была лодка, сетки и разные удочки. Перед домом стояла будка, и на цепи огромный пес. Мохнатый, весь в черных пятнах – Рябка. Он стерег дом. Кормил я его рыбой. Я работал с мальчиком, и кругом на три версты никого не было. Рябка так привык, что мы с ним разговаривали, и очень простое он понимал. Спросишь его: «Рябка, где Володя?» – Рябка хвостом завиляет и повернет морду, куда Володька ушел. Воздух носом тянет и всегда верно. Бывало придешь с моря ни с чем, а Рябка ждет рыбы. Вытянется на цепи, повизгивает.

Обернешься к нему и скажешь сердито:

– Плохи наши дела, Рябка! Вот как...

Он вздохнет, ляжет и положит на лапы голову. Уж и не просит больше, понимает.

Когда я надолго уезжал в море, я всегда Рябку трепал по спине и уговаривал, чтобы хорошо стерег. И вот хочу отойти от него, а он встанет на задние лапы, натянет цепь и обхватит меня лапами. Да так крепко – не пускает. Не хочет долго один оставаться: и скучно и голодно.

Хорошая была собака!

### II

А вот кошки у меня не было, и мыши одолевали. Сетки развесишь, так они в сетки залезут, запутаются и перегрызут нитки, напортят. Я их находил в сетках – запутается другая и попадет. И дома все крадут, что ни положи.

Вот я и пошел в город. Достану, думаю, себе веселую кошечку, она мне всех мышей переловит, а вечером на коленях будет сидеть и

мурлыкать. Пришел в город. По всем дворам ходил – ни одной кошки. Ну, нигде.

Я стал у людей спрашивать:

– Нет ли у кого кошечки? Я даже деньги заплачу, дайте только.

А на меня сердиться стали:

– До кошек ли теперь? Всюду голод, самим есть нечего, а тут котов корми.

А один сказал:

– Я бы сам кота съел, а не то что его, дармоеда, кормить!

Вот те и на! Куда же это все коты девались! Кот привык жить на готовеньком: накрал, нажрался и вечером на теплой плите растянулся. И вдруг такая беда! Печи не топлены, хозяева сами черствую корку сосут. И украсть нечего. Да и мышей в голодном доме тоже не сыщешь.

Перевелись коты в городе... А каких, может быть, и голодные люди приели. Так ни одной кошки не достал.

### III

Настала зима, и море замерзло. Ловить рыбу стало нельзя.

А у меня было ружье. Вот я зарядил ружье и пошел по берегу. Кого-нибудь подстрелю: на берегу в норах жили дикие кролики.

Вдруг, смотрю, на месте кроличьей норы большая дырка раскопана, как будто бы ход для большого зверя. Я скорее туда.

Я присел и заглянул в нору. Темно. А когда пригляделся, вижу: там в глубине два глаза светятся.

Что, думаю, за зверь такой завелся?

Я сорвал хвостинку и в нору. А оттуда как зашипит!

Я назад попятился. Фу ты! Да это кошка!

Так вот куда кошки из города переехали!

Я стал звать:

– Кис-кис! Кисонька! – и просунул руку в нору.

А кисонька как заурчит, да таким зверем, что я и руку отдернул.

Ну тебя, какая ты злая!

Я пошел дальше и увидел, что много кроличьих нор раскопано. Это кошки пришли из города, раскопали пошире кроличьи норы,

кроликов выгнали и стали жить по-дикому.

#### IV

Я стал думать, как бы переманить кошку к себе в дом.

Вот раз я встретил кошку на берегу. Большая, серая, мордастая. Она, как увидела меня, отскочила в сторону и села. Злыми глазами на меня глядит. Вся напряжилась, замерла, только хвост вздрагивает. Ждет, что я буду делать.

А я достал из кармана корку хлеба и бросил ей. Кошка плянула, куда корка упала, а сама ни с места. Опять на меня уставилась. Я обошел стороной и оглянулся: кошка прыгнула, схватила корку и побежала к себе домой, в нору.

Так мы с ней часто встречались, но кошка никогда меня к себе не подпускала. Раз в сумерках я ее принял за кролика и хотел уже стрелять.

#### V

Весной я начал рыбачить, и около моего дома запахло рыбой.

Вдруг слышу – лает мой Рябчик. И смешно как-то лает: бестолково, на разные голоса, и подвизгивает. Я вышел и вижу: по весенней траве не торопясь шагает к моему дому большая серая кошка. Я сразу ее узнал. Она нисколько не боялась Рябчика, даже не глядела на него, а выбирала только, где бы ей посуше ступить. Кошка увидела меня, уселась и стала глядеть и облизываться. Я скорее побежал в дом, достал рыбешку и бросил.

Она схватила рыбу и прыгнула в траву. Мне с крыльца было видно, как она стала жадно жрать. Ага, думаю, давно рыбы не ела.

И стала с тех пор кошка ходить ко мне в гости.

Я все ее задабривал и уговаривал, чтобы перешла ко мне жить. А кошка все дичилась и близко к себе не подпускала. Сожрет рыбу и убежит. Как зверь.

Наконец мне удалось ее погладить, и зверь замурлыкал. Рябчик на нее не лаял, а только тянулся на цепи, скулил: ему очень хотелось



познакомиться с кошкой.

Теперь кошка целыми днями вертелась около дома, но жить в дом не хотела идти.

Один раз она не пошла ночевать к себе в нору, а осталась на ночь у Рябчика в будке. Рябчик совсем сжался в комок, чтобы дать место.

## *VI*

Рябчик так скучал, что рад был кошке.

Раз шел дождь. Я смотрю из окна – лежит Рябка в луже около будки, весь мокрый, а в будку не лезет.

Я вышел и крикнул:

– Рябка! В будку!

Он встал, конфузливо помотал хвостом. Вертит мордой, топчется, а в будку не лезет.

Я подошел и заглянул в будку. Через весь пол важно растянулась кошка. Рябчик не хотел лезть, чтобы не разбудить кошку, и мок под дождем.

Он так любил, когда кошка приходила к нему в гости, что пробовал ее облизывать, как щенка. Кошка топорщилась и встряхивалась.

Я видал, как Рябчик лапами удерживал кошку, когда она, выпавшись, уходила по своим делам.

## *VII*

А дела у ней были вот какие.

Раз слышу – будто ребенок плачет. Я выскочил, пляжу: катит Мурка с обрыва. В зубах у ней что-то болтается. Подбежал, смотрю – в зубах у Мурки крольчонок. Крольчонок дрыгал лапками и кричал, совсем как маленький ребенок. Я отнял его у кошки. Обменял у ней на рыбу. Кролик выходился и потом жил у меня в доме. Другой раз я застал Мурку, когда она уже доедала большого кролика. Рябка на цепи издали облизывался.

Против дома была яма с пол-аршина глубины. Вижу из окна: сидит Мурка в яме, вся в комок сжалась, глаза дикие, а никого кругом нет. Я стал следить.

Вдруг Мурка подскочила – и я мигнуть не успел, а она уже рвет ласточку. Дело было к дождю, и ласточки реяли у самой земли. А в яме, в засаде, поджидала кошка. Часами сидела она вся на взводе, как курок: ждала, пока ласточка чиркнет над самой ямой. Хап! – и цапнет лапой на лету.

Другой раз я застал ее на море. Бурей выбросило на берег ракушки. Мурка осторожно ходила по мокрым камням и выгребала лапой ракушки на сухое место. Она их разгрызала, как орехи, морщилась и выедала слизняка.

## VIII

Но вот пришла беда. На берегу появились беспризорные собаки. Они целой стаей носились по берегу, голодные, озверелые. С лаем, с визгом они пронеслись мимо нашего дома. Рябчик весь ошетинился, напрягся. Он глухо ворчал и зло смотрел. Володька схватил палку, а я бросился в дом за ружьем. Но собаки пронеслись мимо, и скоро их не стало слышно.

Рябчик долго не мог успокоиться: все ворчал и глядел, куда убежали собаки. А Мурка хоть бы что: она сидела на солнышке и важно мыла мордочку. Я сказал Володе:

– Смотри, Мурка-то ничего не боится. Прибегут собаки – она прыг на столб и по столбу на крышу.

Володя говорит:

– А Рябчик в будку залезет и через дырку отгрызется от всякой собаки. А я в дом запрусь. Нечего бояться.

Я ушел в город.

## IX

А когда вернулся, то Володька рассказал мне:

– Как ты ушел, часу не прошло, вернулись дикие собаки. Штук восемь. Бросились на Мурку. А Мурка не стала убегать. У ней под стеной в углу, ты знаешь, кладовая. Она туда зарывает объедки. У ней уж много там накоплено. Мурка бросилась в угол, зашипела, привстала на задние ноги и приготовила когти. Собаки сунулись, трое сразу. Мурка так заработала лапами – шерсть только от собак полетела. А они визжат, воют и уж одна через другую лезут, сверху карабкаются все к Мурке, к Мурке!

– А ты чего смотрел?

– Да я не смотрел. Я скорее в дом, схватил ружье и стал молотить изо всей силы по собакам прикладом, прикладом. Все в кашу замешалось. Я думал, от Мурки клочья одни останутся. Я уж тут бил по чем попало. Вот смотри, весь приклад поколотил. Ругать не будешь?

– Ну, а Мурка-то, Мурка?

– А она сейчас у Рябки. Рябка ее зализывает. Они в будке.

Так и оказалось. Рябка свернулся кольцом, а в середине лежала Мурка. Рябка ее лизал и сердито поглядел на меня. Видно, боялся, что я помешаю – унесу Мурку.

## X

Через неделю Мурка совсем оправилась и принялась за охоту.

Вдруг ночью мы проснулись от страшного лая и визга.

Володька выскочил, кричит:

– Собаки, собаки!

Я схватил ружье и, как был, выскочил на крыльцо.

Целая куча собак возилась в углу. Они так ревели, что не слышали, как я вышел.

Я выстрелил в воздух. Вся стая рванулась и без памяти кинулась прочь. Я выстрелил еще раз вдогонку. Рябка рвался на цепи, дергался с разбегу, бесился, но не мог порвать цепи: ему хотелось броситься вслед собакам.

Я стал звать Мурку. Она урчала и приводила в порядок кладовую: закапывала лапкой разрытую ямку.

В комнате при свете я осмотрел кошку. Ее сильно покусали собаки, но раны были не опасные.

## XI

Я заметил, что Мурка потолстела, – у ней скоро должны были родиться котята.

Я попробовал оставить ее на ночь в хате, но она мяукала и царапалась, так что пришлось ее выпустить.

Беспризорная кошка привыкла жить на воле и ни за что не хотела идти в дом.

Оставлять так кошку было нельзя. Видно, дикие собаки повадились к нам бегать. Прибегут, когда мы с Володей будем в море, и загрызут Мурку совсем. И вот мы решили увезти Мурку подальше и оставить жить у знакомых рыбаков. Мы посадили с собой в лодку кошку и поехали в море.

Далеко, за пятьдесят верст от нас, увезли мы Мурку. Туда собаки не забегают. Там жило много рыбаков. У них был невод. Они каждое утро и каждый вечер завозили невод в море и вытягивали его на берег. Рыбы у них всегда было много. Они очень обрадовались, когда мы им привезли Мурку. Сейчас же накормили ее рыбой до отвала. Я сказал, что кошка в дом жить не пойдет и что надо для нее сделать нору, – это не простая кошка, она из беспризорных и любит волю. Ей сделали из камыша домик, и Мурка осталась стеречь невод от мышей.

А мы вернулись домой. Рябка долго выл и плаксиво лаял; лаял и на нас: куда мы дели кошку?

Мы долго не были на неводе и только осенью собрались к Мурке.

## XII

Мы приехали утром, когда вытягивали невод. Море было совсем спокойное, как вода в блюде. Невод уж подходил к концу, и на берег вытащили вместе с рыбой целую ватагу морских раков – крабов.

Они – как крупные пауки, ловкие, быстро бегают и злые. Они становятся на дыбы и щелкают над головой клешнями: пугают. А если

ухватят за палец, так держись: до крови. Вдруг я смотрю: среди всей этой кутерьмы спокойно идет наша Мурка. Она ловко откидывала крабов с дороги. Подцепит его лапой сзади, где он достать ее не может, и швырк прочь. Краб встает на дыбы, пыжится, лязгает клешнями, как собака зубами, а Мурка и внимания не обращает, отшвырнет, как камешек.

Четыре взрослых котенка следили за ней издали, но сами боялись и близко подойти к неводу. А Мурка залезла в воду, вошла по шею, только голова одна из воды торчит. Идет по дну ногами, а от головы вода расступается.



Кошка лапами нащупывала на дне мелкую рыбешку, что уходила из невода. Эти рыбки прячутся на дне, закапываются в песок – вот тут-то их и ловила Мурка. Нащупает лапкой, подцепит когтями и бросает на берег своим детям. А они уж совсем большие коты были, а боялись и ступить на мокрое. Мурка им приносила на сухой песок живую рыбу, и тогда они жрали и зло урчали. Подумаешь, какие охотники!

Рыбаки не могли нахвалиться Муркой:

– Ай да кошка! Боевая кошка! Ну, а дети не в мать пошли. Балбесы и лодыри. Рассядутся, как господа, и все им в рот подай. Вон, гляди, расселись как! Чисто свиньи. Ишь развалились. Брысь, поганцы!

Рыбак замахнулся, а коты и не шевельнулись.

– Вот только из-за мамыши и терпим. Выгнать бы их надо.

Коты так обленились, что им лень было играть с мышью.

Я раз видел, как Мурка притащила им в зубах мышь. Она хотела их учить, как ловить мышей. Но коты лениво перебирали лапами и упускали мышь. Мурка бросалась вдогонку и снова приносила им. Но они и смотреть не хотели: валялись на солнышке по мягкому песку и ждали обеда, чтоб без хлопот наесться рыбьих головок.

– Ишь мамышины сынки! – сказал Володька и бросил в них песком. – Смотреть противно. Вот вам!

Коты тряхнули ушами и перевалились на другой бок.

Лодыри!

## Мышкин

Вот я расскажу вам, как я мстил, единственный раз в жизни, и мстил кровно, не разжимая зубов, и держал в груди спертый дух, пока не спустил курок.

Звали его Мышкин, кота моего покойного. Он был весь серый, без единого пятна, мышинового цвета, откуда и его имя. Ему не было года. Его в мешке принес мне мой мальчишка. Мышкин не выпрыгнул дико из мешка, он высунул свою круглую голову и внимательно огляделся. Он аккуратно, не спеша вылез из мешка, вышагнул на пол, отряхнулся и стал языком приводить в порядок шерсть. Он ходил по комнате, извиваясь и волнуясь, и чувствовалось, что мягкий, ласковый пух вмиг, как молния, обратится в стальную пружину. Он все время вглядывался мне в лицо и внимательно, без боязни следил за моими движениями. Я очень скоро выучил его давать лапку, идти на свист. Я, наконец, выучил его на условный свисток вскакивать на плечи – этому я выучил его, когда мы ходили вдвоем по осеннему берегу, среди высокого желтого бурьяна, мокрых рытвин и склизких оползней. Глухой глинистый обрыв, на версты без жилья. Мышкин искал, пропадал в этом разбойном бурьяне, а этот бурьян, сырой и дохлый, еще махал на ветру голыми руками, когда все уж пропало, и все равно не дождался счастья. Я свистел, как у нас было условлено, и вот уж Мышкин высокими волнами скачет сквозь бурьян и с маху вцепляется коготками в спину, и вот уж он на плече, и я чувствую теплую мягкую шерсть у своего уха. И я терся холодным ухом и старался поглубже запрятать его в теплую шерсть.

Я ходил с винтовкой, в надежде, что удастся, может быть, подстрелить лепорих – французского кролика, – которые здесь подикому жили в норах. Безнадежное дело пулей попасть в кролика! Он ведь не будет сидеть и ждать выстрела, как фанерная мишень в тире. Но я знал, какие голод и страх делают чудеса. А были уж заморозки, и рыба в наших берегах перестала ловиться. И ледяной дождь брызгал из низких туч. Пустое море мутной рыжей волной без толку садило в берег день и ночь, без перебою. А жрать хотелось каждый день с утра. И тошная дрожь пробирала каждый раз, как я выходил и ветер

захлопывал за мною дверь. Я возвращался часа через три без единого выстрела и ставил винтовку в угол. Мальчишка варил ракушки, что насобирали за это время: их срывал с камней и выбрасывал на берег прибой.

Но вот что тогда случилось: Мышкин вдруг весь вытянулся вперед у меня на плече, он балансировал на собранных лапках и вдруг выстрелил – выстрелил собою, так что я шатнулся от неожиданного толчка. Я остановился. Бурьян шатался впереди, и по нему я следил за движениями Мышкина. Теперь он стал. Бурьян мерно качало ветром. И вдруг писк, тоненький писк, не то ребенка, не то птицы. Я побежал вперед. Мышкин придавил лапой кролика, он вгрызся зубами в загривок и замер, напружинясь. Казалось, тронешь – и из него брызнет кровь. Он на мгновение поднял на меня ярые глаза. Кролик еще бился. Но вот он дернулся последний раз и замер, вытянулся. Мышкин вскочил на лапы, он сделал вид, что будто меня нет рядом, он озабоченно затрусил с кроликом в зубах. Но я успел шагнуть и наступил кролику на лапы. Мышкин заворчал, да так зло! Ничего! Я присел и руками разжал ему челюсти. Я говорил «тубо» при этом. Нет, Мышкин меня не царапнул. Он стоял у ног и ярыми глазами глядел на свою добычу. Я быстро отхватил ножом лапку и кинул Мышкину. Он высокими прыжками ускакал в бурьян. Я спрятал кролика в карман и сел на камень. Мне хотелось скорей домой – похвастаться, что и мы с добычей. Чего твои ракушки стоят! Кролик, правда, был невелик! Но ведь сварить да две картошки, эге! Я хотел уже свистнуть Мышкина, но он сам вышел из бурьяна. Он облизывался, глаза были дикие. Он не глядел на меня. Хвост неровной плеткой мотался в стороны. Я встал и пошел. Мышкин скакал за мной, я это слышал.

Наконец я решил свистнуть. Мышкин с разбегу, как камень, ударился в мою спину и вмиг был на плече. Он мурлыкал и мерно перебирал когтями мою шинель. Он терся головой об ухо, он бодал пушистым лбом меня в висок.

Семь раз я рассказывал мальчишке про охоту. Когда легли спать, он попросил еще. Мышкин спал, как всегда, усевшись на меня поверх одеяла.

С этих пор дело пошло лучше: мы как-то раз вернулись даже с парой кроликов. Мышкин привык к дележу и почти без протеста



отдавал добычу.

...И вот однажды я глядел ранним утром в заплаканное дождем окно, на мутные тучи, на мокрый пустой огородишко и не спеша курил папироску из последнего табаку. Вдруг крик, резкий крик смертельного отчаяния. Я сразу же узнал, что это Мышкин. Я оглядывался: где, где? И вот сова, распутив крылья, планирует под обрыв, в когтях что-то серое, бьется.

Нет, не кролик, это Мышкин. Я не помнил, когда это я по дороге захватил винтовку, – но нет, она круто взяла под обрыв, стрелять уже было не во что. Я побежал к обрыву: тут ветер переносил серый пушок. Видно, Мышкин не сразу дался. Как я прозевал? Ведь это было почти на глазах, тут, перед окном, шагах в двадцати? Я знаю: она, наверное, сделала с ним, как с зайцем: она схватила растопыренными лапами за зад и плечи, резко дернула, чтобы поломать хребет, и живого заклевала у себя в гнезде.

На другой день, еще чуть брезжил рассвет, я вышел из дому. Я шел наудачу, не ступая почти. Осторожно, крадучись. Зубы были сжаты, и какая злая голова на плечах! Я осторожно обыскал весь берег. Уже стало почти светло, но я не мог вернуться домой. Мы вчера весь день не разговаривали с мальчишкой. Он сварил ракушек, но я не ел. Он спал еще, когда я ушел. И пса моего цепного я не погладил на его привет; он подвизгнул от горечи.

Я шел к дому все той же напряженной походкой. Я не знал, как я войду в дом. Вот уже видна и собачья будка из-за бугра, вот пень от спиленной на дрова последней акации. Стой, что же это на пне? Она! Она сидела на пне, мутно-белого цвета, сидела против моего курятника, что под окном.

Я замедлил шаги. Теперь она повернула голову ко мне. Оставалось шагов шестьдесят. Я тихо стал опускаться на колено. Она все глядела. Я медленно, как стакан воды, стал поднимать винтовку. Сейчас она будет на мушке. Она сидит неподвижно, как мишень, и я отлично вижу ее глаза. Они – как ромашки, с черным сердцем-зрачком. Взять под нее, чуть пониже ног. Я замер и тихонько нажимал спуск.

И вдруг сова как будто вспомнила, что забыла что-то дома, махнула крыльями и низко над землей пролетела за дом. Я еле

удержал палец, чтобы не дернуть спуск. Я стукнул прикладом о землю, и ружье скрипело у меня в злых руках. Я готов был просидеть тут до следующего утра. Я знаю, что ветер бы не застудил моей злобы, а об еде я тогда не мог и думать.

Я пробродил до вечера, скользил и падал на этих глиняных буграх. Я даже раз посвистел, как Мышкину, но так сейчас же обозлился на себя, что бегом побежал с того места, где это со мной случилось.

Домой я пришел, когда было темно. В комнате свету не было. Не знаю, спал ли мальчишка. Может быть, я его разбудил. Потом он меня впотымах спросил: какие из себя совиные яйца? Я сказал, что завтра нарисую.

А утром... Ого! Утром я точно рассчитал, с какой стороны подходить. Именно так, чтоб светлеющий восход был ей в глаза, а я был на фоне обрыва. Я нашел это место. Было совсем темно, и я сидел не шевелясь. Я только чуть двинул затвор, чтобы проверить, есть ли в стволе патроны. Я закаменел. Только в голове недвижимым черным пламенем стояла ярость, как – как любовь, потому что только влюбленным мальчиком я мог сидеть целую ночь на скамье против ее дома, чтобы утром увидеть, как она пойдет в школу. Любовь меня тогда грела, как сейчас грела ярость.

Стало светать. Я уж различал пень. На нем никого не было. Или мерещится? Нет, никого. Я слышал, как вышла из будки моя собака, как отряхивалась, гремя цепью. Вот и петух заорал в курятнике. Туго силился рассвет. Но теперь я вижу ясно пень. Он пуст. Я решил закрыть глаза и считать до трех тысяч и тогда взглянуть. Я не мог досчитать до пятисот и открыл глаза: они прямо плядели на пень, и на пне сидела она. Она, видно, только что уселась, она переминалась еще. Но винтовка сама поднималась. Я перестал дышать. Я помню этот миг, прицел, мушку и ее над нею. В этот момент она повернула голову ко мне своими ромашками, и ружье выстрелило само. Я дышал по-собачьи и плядел. Я не знал, слетела она или упала. Я вскочил на ноги и побежал.

За пнем, распластав крылья, лежала она. Глаза были открыты, и она еще поводила вздернутыми лапами, как будто защищаясь. Несколько секунд я не отрывал глаз и вдруг со всей силой топнул прикладом по этой голове, по этому клюву.

Я повернулся, я широко вздохнул в первый раз за все это время.  
В дверях стоял мальчишка, распахнув рот. Он слышал выстрел.  
– Ее? – он охрип от волнения.  
– Погляди, – и я кивнул назад.  
Этот день мы вместе собирали ракушки.

**Б. Житков и Б. Шатилов**

## Адмирал

Было тихо, жарко. Над горячим песком и над морем волновалось море. Купальщики на пляже сняли с себя даже трусики. Щурясь и прикрывая головы кто носовым платком, кто просто рубахой, они смотрели вдаль, в море. В море что-то плухо бухало, а что, не было видно.

Голые купальщики изнывали от зноя, а старик – в черном пальто, в старой адмиральской фуражке большим белым блином с огромным козырьком – как бы вовсе не замечал и не чувствовал июльской духоты и зноя. Он взошел на песчаный пригорок, расставил, словно укрепил, ноги в песке, подперся палкой с резиновым набалдашником, надставил козырек стариковской рукой и маленькими едкими глазками впился в море. Он знал, что это бухает, знал, куда надо смотреть: недаром на голове у него была старая адмиральская фуражка с ремешком на двух золотых пуговках.

На старика в черном пальто было жарко смотреть. Купальщики посмеялись над ним и отвернулись от него. А ему и не надо было никого. Он сам с собой разговаривал сиплым басом. Говорил он вот что:

– Тэк-с, это, конечно, двенадцатидюймовочкой ахнули. Тэк-с... А это разрыв... – сказал он, увидев с пригорка то, что за морем не видели купальщики. Столб воды далеко у горизонта взлетел вверх, сверкнул на солнце и рухнул. Через минуту долетел грохот разрыва. – Тьфу ты! Да неужто со второго?

Старик заволновался, захлопал себя по карману пальто, а хлопать-то было нечего: большой медный бинокль лежал на своем месте. Все продал старик в голодные годы, не продал только вот этот бинокль. Этот бинокль подарил ему когда-то отец, когда он окончил морской кадетский корпус, подарил и сказал: «Ну, теперь гляди в оба!»

До адмиральского чина дослужился бинокль вместе с хозяином, и старик тайком называл его «ваше превосходительство».

– А ну-ка, «ваше превосходительство», глянем!

Старик так и впился в море, спокойное, с легкой ласковой зыбью. Он вертел ролик бинокля и с наслаждением пробегал глазами по

сверкающей водной равнине.

Вот уже 17 лет, с того самого дня, как сняли его с корабля матросы, он, старый моряк, ни разу не взглянул на море.

На приморской даче, на которой он жил и зимой и летом, окно, выходящее на море, он приказал завесить плотной занавеской еще раньше того, как он въехал в эту самую дачу, и строжайше запретил ее трогать. Каждый день, выходя на прогулку, он брал курс из дверей прямо от моря в берег, в сосновый лес, а с прогулки возвращался всегда той дорогой, которую сплошной цепью пересекали дачи и закрывали море. А сегодня вдруг лопнула старая тесемка, на которой 17 лет болталась зеленая занавеска, занавеска упала, и море – голубое, ясное – приветливо глянуло на старика в окно. Старик было выругался, приладил занавеску, хотел задернуть, но встал у окна, посмотрел на море да так и стоял с полчаса: оцепенело глядел не отрываясь.

Вдруг повернулся и стал поспешно одеваться, надел все, что висело на вешалке, словно собирался уйти в море и никогда не возвращаться. Он туго набил кисет табаком, сунул в карман щербатую «миледи» и «его превосходительство» и торопливо зашагал к морю.

И вот он стоял и смотрел в бинокль и чувствовал, как море переливает в него всю свою свежесть.

– Так и есть! Со второго прохлопали.

Старик ясно видел пробитый щит – плавучую брезентовую мишень, которую тащил на буксире небольшой катерок.

– Это Васька! Васька Осипов! – забормотал он волнуясь. – Узнаю письмо по почерку. Меня не надуете, дорогие товарищи! Комсомольцы-то у вас вроде для фирмы, а мишени-то старые комендоры дырявят. Думали, без нас, стариков, обойдетесь... А вот и не вышло-с. Ххе! Мелко плавали, дорогие товарищи! А ну, «ваше превосходительство», разрешите покурить!

Отставной адмирал бережно положил бинокль в карман, а из другого кармана вынул резиновый кисет и стал заправлять старую, выщербленную трубку. Он купил ее когда-то в Ливерпуле. До адмиральского чина она не дослужилась: годами не вышла, и старик называл этот деревянный огрызок «миледи». Адмирал любил хорошее общество.

Закурил он быстро и сейчас же приставил к глазам «ваше превосходительство». По горизонту маленьким черным прямоугольником плыл второй щит, пока еще целый. Старик впился в него как астроном в звезду, которую он только что открыл.

– Пошел, пошел! – хрипло шептал старик.

– Дедушка, прикурить можно?

Это спрашивал какой-то парень в синих трусиках, разминая пальцами папироску.

– Весь пляж обошел, ни у кого спичек нет. Честное слово!

– Пошел, пошел! – бормотал старик, не отрываясь от черного квадрата в море.

– Да чего же пошел-то? Что вам, жалко, что ли?

В это время раздался гул выстрела. Глухим вздохом доплыл он от горизонта к пляжу. Старик подскочил, вытянулся, словно вырос, и в самозабвении шепнул:

– А ну, вва-вва-вва... Тьфу! Чтоб ты пропал! – и старик плюнул в песок.

– Сумасшедший! – вскрикнул парень и невольно отшатнулся от старика.

Старик оглянулся.

– Да, да, сумасшедший! – закричал старик, размахивая биноклем. – С первого, с первого, черт побери! Сумасшедший выстрел!

Ахнул разрыв. Он громче и ярче прокатился по морю. А старик совал в глаза парню в трусиках свой заветный бинокль.

– Гляньте-ка, пляньте-ка, черт вас возьми! Там, у горизонта... Ну что? Рамка?... Рамка!.. Знаю, что рамка! А в рамке-то что?

– Да дыра никак.

– Дыра! Дыра! Так это все Васька Осипов! Он, негодяй! Меня не надуешь, молодой человек. Пусть вам, сосунам, эти комсомольские басни рассказывают. Двенадцатидюймовым калибром, да на такую дистанцию, да с первого удара – это Васька Осипов. Можете мне голову оторвать, если это не он. И это не иначе, как его коньяком обещали накачать наповал. Нет-с, старого ворона не надуешь, не надуешь, молодой человек!

Старик вырвал из рук парня бинокль и так замахал им у него перед носом, что парень в страхе попятился.

– Закурить все же можно? – робко спросил парень. Он с опаской смотрел на старика и, держа в зубах папиросу, издали, осторожно, словно боясь обжечься, тянулся к адмиральской трубке. Старик порывисто ткнул в воздух коробкой спичек. Парень закурил.

– Да-с, молодой человек, это бьет Васька Осипов, – сказал старик раздумчиво.

– А очень просто, что Васька, – сказал парень между двумя затяжками. – Если это с «Марата» бьют, так это факт – он.

– Ага! А я что говорил? И вам он тоже известен? – старик зацепил сухим пальцем как железным крюком за резинку трусиков. – Вы, молодой человек, еще вот в коротких штанишках щеголяете и не знаете, что этот Васька Осипов, когда мы с немцами воевали, плавал на минном крейсере «Новик» и ведь что каналья разделявал...

Парень раскрыл рот, хотел что-то сказать, но старик нахмурил брови и закричал:

– Не перебивать, и извольте слушать, когда вам говорят, молодой человек!

– Представьте себе: вечер, немцы напирают. У нас два корабля, а нам надо изобразить, что у нас целая эскадра, и затянуть всех этих Михелей, Бранденбургов да Кювенштюкеров – всех их, голубчиков, затянуть на минные поля; а сверху мгла, туман как потолок навалился, им аэроплан бы послать поглядеть, да не видать: мы под туманом, что мыши в подполье. Броненосец «Слава» – не знаю, теперь он у вас, может, и «Позором» называется, а тогда «Славой» назывался, – и вот «Слава» бьет двенадцатидюймовкой, бьет нарочно так, чтоб у колбасников в ушах трещало, чтоб казалось им, что у нас тут невесть сколько этих самых пушек. А они по «Славе» долбят, чугуном, что водой, поливают. Ввязались в бой. «Слава» отступает, и ни одной трубы на ней – все сбито, дым валит прямо на палубу. «Слава» сдает, запинается, а надо бой показать, затянуть на минные поля. Слышите, молодой человек? Видели мины – такие железные пузырьки под водой? Килем зацепишь – и... трах... все разворотит, и сразу в подводное плаванье – раков ловить. Так вот-с, «Слава» сдает, запинается, немцы могут расчухать всю ее хитрость и не идти за ней всем табуном. Чего за ней идти, если она уж чуть-чуть ухаёт: артиллерии недостает. От флагмана приказ «Новику»: выйти вперед на расстоянии выстрела и накачать немцам. «Есть! Пошли!» Осипов у



орудия снаряды подает, он тогда еще боцманом был. И вдруг – трах! – убивает комендора при орудии. Осипов на его место. Как начал садить, тут и безрукий руками разведет. Понимаете!..

Старик совсем присунулся к парню и, ударяя его в голую грудь медным биноклем, закричал:

– Понимаете, как пальцем тычет! Ни одного промаха! И это под огнем, заметьте, в спешке!

Старик тряс биноклем над головой парня. Бинокль сверкал на солнце медью и стеклами.

– Задним ходом отступаем, лавируем меж своими минами, и наконец ахнуло: сел немец на нашу капусту. Справа опять рявкнуло – другой нарвался! Так, не лазь в чужой огород! А Осипов гвоздит и гвоздит. Из боя мы вышли как ворона с пожара: ни труб, ни мачт. Пришли домой – Осипова к командиру требуют.

– Никак нет, – говорят, – не может.

– В лазарете?

– Никак нет!

– Контужен?

– Никак нет!

– Да что же с ним, черт возьми! Конвоём его привести!

– Никак нет, – говорят, – невозможно! Можно только на руках принести: пьян.

– Кто напоил?

– Самочинно, – говорят. – Разбил два шлюпочных компаса и спирт из них выпил. «Только для этого счастья, – говорит, – я и жив остался».

Горчайший был пьяница! Ну что с ним поделаешь, произвели в комендоры. Этого Осипова все у нас знали, да и немцам он дал себя знать. Вы перед ним мозгляк, молодой человек! Громадина, в плечах полсажени, рыжий как таракан, весь в веснушках, как клопами усажен; веснушки – во! Брови рыжие, и душа-то у него была какая-то рыжая. Но стрелять, действительно, мог из пушки по воробью, да еще и влет. Это он, Васька Осипов, садит сейчас по этим мишеням. Он! Узнаю письмо по почерку. Нет, меня не надуешь!

– Да когда же Васька-то был рыжим-то? – сказал парень.

– Всегда, всегда! – нетерпеливо закричал старик. – И, я вижу, не знаете вы этого Осипова. Понаслышке знаете.

Старик презрительно посмотрел на парня и отвернулся от него.

– А вон, никак, со стрельбы идут, – сказал парень.

Прищурясь, он смотрел вдаль: на горизонте показался дым. Он колыхался и волновался в жарком мареве моря.

– Если это «Марат», то факт: это Васька стрелял. Он на корабле по этой части спец, ударник. Дайте-ка глянуть.

Парень взял бинокль.

– «Марат» и есть. Так это Васька грохал. Честное слово, дедушка!

– То-то и есть, что Васька Осипов, – сказал старик, вырвал бинокль у парня и навел его на корабль. – «Дедушка, дедушка», – ворчливо бормотал он. – Все нами, стариками, держится. Нет-с, дорогие товарищи, без нас, стариков, не обойдетесь! Пришлось Ваське Осипову поклониться, и мне еще поклонитесь!

– Да какой же Васька – старик? – сказал парень. – Он старше меня всего на два года.

– Васька? Осипов?

– Осипов.

– Рыжий?

– Да нет, мы оба чернявые.

– Так не видал ты Осипова – и не ври.

– Да как не видал! Чай, он брат мой родной!

– Васька? Осипов Васька?

– Ну да.

– Это он бил по щиту?

– Факт – он.

– Тьфу!

Старик плюнул и с минуту молчал потерявшись.

– Пьет? – закричал он вдруг, в упор уставясь на парня.

– Что вы, дедушка! Там у них, на «Марате», все комсомольцы. И Васька – комсомолец.

Старик плюнул в песок, словно камнем бросил.

– Тьфу!

И зашлепал от моря. В расстройстве он забыл спрятать в карман «его превосходительство» и так и размахивал им до самого дома. А дома он швырнул «его превосходительство» на дырявый диван, подошел к окну, смотревшему в море, и рывком наглухо задернул занавеску.

---

---

**notes**

## **Примечания**

**1**

Ребра эти называются шпангоутами.

**2**

Это бревно, покрывающее шпангоуты, называется кильсоном.

**3**

Хорош русский.

**4**

Наргиле – кальян, прибор для курения.



Фок-мачта.

**6**

Грот-мачта.

7

Бизань-мачта.

Надстройка – по-морскому – бак.

9

Мушкеты – тяжелые, старинные ружья, кончавшиеся раструбом.

# 10

Трельяж – решетчатый навес. Он сводом перекрывает ют венецианской галеры.

Испанского.

Якши – хорошо.



Урус – русский.

Алла – бог.

Сутана – одеяние католических священников.

Затравка – отверстие в казенной (задней) части пушки или ружья, через которое поджигают заряд.

Теперь Коломбо – столица независимого государства Шри Ланка.

На дно, под воду.

Кутер – небольшое двухмачтовое судно.

Коржик – главный охотник.



Шкот – веревка, которой притягивается парус; «подобрать шкот» – больше натянуть его.

Голомень – по-поморски – открытое море.

Ноги у моржей и тюленей называются ластами – не то лапы, не то плавники.

Поморы – приморские жители русского Севера.

Малица – меховая рубаха с широко вшитыми рукавами.

Майна – польня.

Махалкой на Черном море рыбаки называют палку; ее втыкают в пробочный поплавок (бук), и она плавает стоя. Наверху прибивают флажок. Ее привязывают к рыбачьим снастям, чтоб найти их в море.

Табанить – грести назад.



Перемет – рыбачья снасть в несколько сот крючков.

Бушлат – матросское полупальто.

Виски – английская водка.

Что испугался?

Маяк на острове Федониси, против устья Дуная.

Бандериллы – стрелы, которые бросают в быка, чтобы раздражить его.

Греческая божба.

Лот – веревка со свинцовой гирей на конце; им измеряют глубину.



Линь – веревка лота.

Бак – носовая часть палубы.

Румпель – рычаг, который надевается на руль для поворота.

**40**

Верхняя часть борта.

Специальная лебедка для подъема якоря.

Штурвал – колесо с рукоятками, к которому идут тяги от руля.

Эйфелева башня находится в Париже. На ней был установлен очень сильный беспроводный телеграф.

Муссон – ветер в Индийском океане, который летом дует с юго-запада, зимой с северо-востока и разводит огромную зыбь.



Динамо-машина вырабатывает электрический ток, необходимый для подачи радиотелеграммы.

Атолл – коралловый остров.

Сорбонна – университет в Париже.

Городской голова – в царское время председатель городской управы.

По-турецки: «Ой, посмотри на меня...»

**50**

Тент – навес.

Штурвал – рулевое колесо.

Брас – снасть, которой поворачивают рею.